

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКИ



~~~~~  
socium.txt  
~~~~~

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Александр Раиса
АНТОНОВСКИЙ БАРАШ

Введение
в системно-коммуникативную
философию науки

~~~~~  
**socium.txt**  
~~~~~



ЛОГОС/ГНОЗИС
МОСКВА 2023

УДК [141.155:316.244](082)
ББК 87.3(0)-663я43+60.032.621.2я43
В62

*Книга рекомендована к печати с присвоением грифа
Ученым советом Института философии РАН*

НАУЧНЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Момджян Карен Хачикович, доктор философских наук, профессор;
Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук, профессор.

Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.

Введение в системно-коммуникативную философию науки

- Москва : Изд-во «Логос»/«Гнозис», ООО «НПТ», 2023. – 384 с.

ISBN 978-5-6046631-9-6 (серия socium.txt)

Исследованием проводится критический анализ основных теоретических положений системно-коммуникативного подхода. В качестве отправной точки рассматривается тезис о коммуникативном взаимодействии как субстрате любых общественных взаимодействий, фундаменте социального как такового, которая концептуально обоснована в работах Н. Лумана. Обсуждаются понятийный аппарат системно-коммуникативного подхода, реконструируется теоретический каркас системного анализа коммуникации на базе фундаментальных различий действия/переживания, Эго/Другого и сличения полей их комбинаций. Исследуются возможности применения системно-коммуникативного подхода к проблемам философии языка, философии науки и кризису коллегиальности в научной коммуникации.

АВТОРСТВО:

Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.: главы 1.1, 1.5; 2.1; 2.3

Антоновский А.Ю.: главы 1.2-1.4; 2.2, 2.4; 3.1-3.3.

Бараш Р.Э.: глава 1.6.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Антоновский Александр Юрьевич – доктор философских наук, главный научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1;
e-mail: antonovski@hotmail.com

Бараш Раиса Эдуардовна – кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник. Институт социологии ФНИСЦ РАН. Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5;
e-mail: raisabarash@gmail.com

© Указанные авторы. 2023.

© серия – **Lettera.org**

Введение в системно-коммуникативную философию науки

Раздел 1: ОСНОВЫ СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА	7
Раздел 2: СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ	175
Раздел 3: НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И КРИЗИС КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ	309
[Подробное содержание:]	379

Раздел 1:
ОСНОВЫ
СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА

Глава 1.1. Место введения: основы системно-коммуникативного подхода

Трансдисциплинарные идеи системно-коммуникативной теории (СКТ) в ее версии, предложенной Никласом Луманом, его учениками и коллегами¹, находят сегодня широкое признание и методологическое применение во многих социально-теоретических дисциплинах: в экономике, политологии, педагогике, искусствоведении, юриспруденции, психотерапии, религиоведении. Этот методологический подход (по крайней мере, в русскоязычной социальной теории) не всегда получает адекватную интерпретацию, которую можно было бы верифицировать и соответственно модернизировать с учетом современного состояния общества. Приходится признать и то, что один из авторов этой книги, будучи переводчиком ряда текстов системно-коммуникативной теории, и сам внес достаточно путаницы в предложенных им интерпретациях. В настоящей главе мы ставим задачу реконструкции структуры этой теории, а также покажем возможности применения СКТ к анализу научной и политической коммуникации в трансдисциплинарном контексте. СКТ предлагает детализированное описание современного общества, основываясь на его понимании как коммуникации, различающаяся типика которой (при всей ее инвариантности) определяет специфику основных социальных подсистем: политики, хозяйства, религии, науки, образования, интимных коммуникаций и искусства. Для решения поставленных задач мы обращаемся к трансдисциплинарным основаниям СКТ.

Атрибуции каузальности и фундаментальные переменные СКТ

Анализ структуры СКТ мы начинаем со схемы, которая, с одной стороны, описывает дифференциро-

¹ Некоторые репрезентативные работы по системной теории последних лет [см., напр.: Luhmann, 1998; Stichweh, 1918; Baecker, 2021].

ванное состояние современного общества, а с другой стороны, дает возможность сравнительного описания его основных подсистем. Речь идет о различениях *действия/переживания и Ego/Alter* (Я/Другой). Данные различения понимаются как инструменты наблюдения, не имеющих определенных (онтологически фиксируемых) коррелятов в социальной реальности. Различения действия/переживания и Я/Другой – это некие значения («индексикалы»), которые наблюдатели приписывают коммуникативным событиям или операциям¹.

Разнообразные перекрестно-табличные комбинирования данных переменных задают различающуюся типичу коммуникаций, характерную для автономных подсистем, образующих современное общество. Так формулируется гипотетико-дедуктивная теория, которая на основе ряда допущений, аксиом, представляющих несколько возможных комбинации переменных, представляет несколько моделей (идеальных типов) коммуникаций, которые можно сравнить с эмпирической реальностью, т.е. с фактически осуществляющейся коммуникацией, и, как следствие, опровергнуть или подтвердить. При этом речь идет о типе гипотетико-дедуктивной теории, в большей степени ориентированной на «предикцию» и анализ эмпирических следствий из теории, чем «аккомодацию» уже известных эмпирических данных.

Итак, на основе выше заданных различений оказываются возможны четыре формальных утверждения, которые с определенной полнотой и непротиворечивостью могут быть проинтерпретированы на содержательных коммуникативных описаниях современного общества:

¹ То, что в одном контексте может быть расценено как действие (например, молчание), и, соответственно, вызывает ответное действие, в другом, расценивается лишь как переживание, и не требует никакого ответа.

Другой переживает	Истина и ценности В науке переживания Эго (например, данные экспериментов, удостоверяющих истинность теоретических положений) должны подтверждаться переживаниями любого Другого. Ценности должны удостоверить общность чувств членов общества	Любовь Эго своими действиями пытается вызвать переживания Другого.
	Деньги—Собственность, Искусство Действия Другого (скажем, притязания на материальные блага) не вызывают ответных действий, а спокойно переживаются Эго, поскольку Другой имеет право собственности или платит. Художник действует, а зритель переживает	Власть Действия Другого влекут действия Эго, если они регулируются властью. Личные переживания должны быть устранены из сферы политической и военной коммуникации

1. Переживания Другого имплицитно переживания Эго. В этом случае научные коммуникации организованы посредством генерализирующего символического медиума² истины, выступающего средством достижения научного консенсуса.
2. Действия Другого имплицитно действия Эго. В этом случае политические коммуникации организованы посредством генерализированного символического медиума власти.
3. Переживания Другого имплицитно действия Эго. В этом случае интимные коммуникации организованы посредством символического генерализированного медиума любви.
- 2 Генерализирующая функция медиума состоит в обобщении однородных ситуаций, в которых используется медиум. Символическая функция медиума состоит в обеспечении согласия и акцептации в отношении самих по себе невероятных «предложений смысла» – подчиниться, купить товар, вступить в близкие отношения, признать неочевидное утверждение и т.д.

4. Действия Другого имплицитно переживания Эго. В этом случае экономические коммуникации организованы посредством символического генерализованного медиума денег.

Риском предположить, что четыре данных гипотетически-возможных каузальных взаимодействия играют в СКТ ту же самую функциональную роль, которую в физической теории играют так называемые «фундаментальные взаимодействия» (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное), лежащие в основании и объясняющие феноменологию и разнообразие физической реальности. С тем лишь различием, что в отличие от СКТ попытки вывести физические каузальности из одного принципа и объединить в рамках единой физической теории поля пока в полной мере не удаются. В этом смысле СКТ следует стандартам «хорошей теории», принятым сегодня в философии науки. В ней используются *всего* лишь два различения, которые составляют «аксиоматику» (и одновременно язык понятий) этой теории. Путем различных комбинаций эти переменные (различия) образуют все возможные эмпирически валидные принципы описания большинства (но не всех) подсистем современного общества. Рассмотрим подробнее, в чем же состоит их эмпирический или содержательный смысл, и то, как эти модели каузальности согласуются с социальной реальностью.

Теоретическая модель современного общества

Итак, путем «перекрестного табелирования» были сформулированы четыре «атрибуции каузальности». Само понятие «атрибуций каузальности» восходит к идеям австро-американского психолога Фрица Хайдера, который ввел ключевые для СКТ понятия *медиа и формы*¹. В его более поздней работе «Психология

межлических отношений» [Heider, 1958] концептуализируются фактические представления людей о причинах успеха или неуспеха своих и чужих действий. Так, преподаватель склонен выводить успех своих учеников из собственного «образовательного» действия, и, следовательно, связывает успех с функционированием системы образования, в рамках которой осуществляются данные действия. Между тем, неудачи учеников приписываются преподавателями «внешнему миру» образовательной системы, неисправимым свойствам личности учеников («переживаниям сознания»), не способных воспринимать причинные импульсы «образовательных действий».

В описываемой схеме означенные атрибуции не являются какими-то «реальными каузальностями», но реконструируются как типичные схематизации (можно было бы сказать «*volk-теории*») того или иного наблюдателя. При этом сами участники коммуникации – ученые, политики, предприниматели – применяют указанные различия не рефлексивно, а скорее рутинным образом, задействуя соответствующие символические генерализирующие медиа – деньги, власть, истину и т.д. – в качестве инструментального условия коммуникации. Вместе с тем консенсус-генерирующая функция и внутренняя структура этих медиа выступает своего рода «слепым пятном» их наблюдения.

Рассмотрим подробнее каждую из представленных атрибуций в контексте соответствующих коммуникативных систем:

Другой переживает – Эго переживает.

Если один из участников коммуникации (представленный переменной «Другой») формулирует научную гипотезу или теорию, то его «переживание» (экспе-

ха и т.д.), потенциала конфигураций, который представал в тех или иных конкретных оптических и акустических формах [Heider, 1927].

1 Эти понятия применялись прежде всего к процессу восприятия и требовали учета, помимо воспринимаемой формы, также и невоспринимаемого субстрата, среды (света, возду-

риментальных данных, результатов научного наблюдения, математических расчетов) должно удостоверяться или подтверждаться соответствующими «переживаниями» других участников, представленных в переменной «Эго»¹. Другими словами, результаты научного исследования интерпретируются наблюдателями как продиктованные (причиненные) реальностью. Сообщения ученых *инореферентны* в том смысле, что стилизуются наблюдателями так, как будто они, хотя и сформулированы наблюдателем, но в конечном счете каузированы внешним миром, intersubъективно представленным в восприятиях всех заинтересованных в результате участников научной коммуникации.

В этом случае научная истина выполняет функцию бинарного кода научной коммуникации в том смысле, что утверждение этого индекса по отношению к тому или иному предложению смысла (знанию) мотивирует участников признавать самые неожиданные и невероятные «селекции смысла» (достижения Другого), какими бы неочевидными (и в этом смысле не акцептируемыми) они ни представлялись Эго. В условиях коммуникативной конкуренции (за право высказывания, которое в формате является ограниченным ресурсом во временном измерении коммуникации) Эго был бы не склонен признавать чужие и при этом неочевидные достижения и утверждения (например, Земля вращается вокруг Солнца). Поэтому коммуникативное согласие (признание неожиданного, невероятного утверждения) без кристаллизации специальных коммуникативных предпосылок и само представляется невероятным. Именно провозглашаемое Другим *притязание на истинность* (по крайней мере, в рамках науки) *принуждает* Эго к воспроизводству переживаний (восприятий, наблю-

дений, экспериментов, а также к прочтению скучных, длинных, сложных текстов), удостоверяющих соответствующее невероятное утверждение [Луман, 2005].

Отсюда следует более общий тезис теории коммуникативных медиа. Бинарные коды (или медиа коммуникации – истина, власть, деньги, любовь) делают вероятной саму по себе невероятную коммуникацию тем, что обеспечивают *толерантность, консенсус и акцептацию* самых невероятных запросов на контакт или «селекций смысла». При этом важнейшим условием принятия невероятных коммуникаций является обращение *к ресурсам человеческого тела*. В случае научных коммуникаций телесно или физиологически фундированный процесс *восприятия* оказывается тем, что удостоверяет значение такого абстрактного символа или индекса как *истина*. Истина является индексом, который приписывается знанию в случае, когда переживания ученых не являются результатами их действий (= фабрикаций, манипуляций). Ведь описываемая наукой реальность наблюдается как независимая от самой коммуникативной системы науки, от действий ученых, поскольку переживания внешней реальности (восприятия, ментальные акты, представляющие собой операции психических систем или сознаний) образуют *внешний мир* коммуникативных систем. Эта внешняя (или инореферентная) реальность представляется наблюдателю как объективно данная, которую невозможно сфабриковать посредством действий, которые, однако, способны (в рамках другой коммуникационной типики) каузально воздействовать друг на друга, образуя иной – *самореферентный* (= внутрисистемный) процесс.

Другой действует – Эго Действует

Обратимся теперь к зеркально-противоположной констелляции приписываний каузальности. Вышеозначенное утверждение описывает *самореферентный* процесс взаимообуславливающих операций коммуникативных систем. Именно действия (или дея-

1 Различение между Эго и Другим соответствует различению между активным, иницирующим коммуникацию актором, и актором, лишь реагирующим своими действиями и переживаниями на действия и переживания инициатора коммуникации.

тельность составляющая коммуникации), в отличие переживаний интерпретируются – в рамках, по крайней мере одной из систем, как каузирующие и каузируемые друг другом. Такова, например, политическая система как некая зеркальная противоположность науке. В рамках этой системы Эго вынужден соподчинять свои действия действиям Другого, а сами действия принимают форму коллективно-обязательных распоряжений власти. Власть, как способ и средство обеспечить выполнение коллективно обязательных распоряжений, делает возможным длинные последовательности осетевленных событий. Благодаря власти множество осетевленных действий как бы выстраивается вокруг общественно-релевантных целей (строительства пирамид, ирригационных сооружений, управление государственным аппаратом, ведения войн). Относительно произвольно формулируемые и последовательно реализуемые цели характеризует именно политическую коммуникацию, которая в отличие от научной может (в определенных пределах) и не считаться с принудительной силой реальности, данной в интерсубъективных переживаниях сознания.

Такого рода «подчинение чужому произволу» в свою очередь выглядит как сама по себе невероятная коммуникация. Однако участникам коммуникации приходится считаться с неприятными альтернативами неподчинения абстрактной власти [Луман, 2001]. Относительно непроблематичное осуществление власти (как и в случае с наукой) обеспечивает специфический телесный процесс. При всей своей символичности и абстрактности, не требующей в типичном случае применения насилия для нормального протекания коммуникации, именно насилие как телесный процесс выступает неким «последним доводом властелина».

Другой действует – Эго переживает

В контексте этой «конstellляции приписываний каузальности»¹ Эго в своих переживаниях вынужден терпимо относиться к зачастую «вызывающим» действиям Другого, прежде всего к приобретению Другими всегда ограниченных материальных благ. Условием такой толерантности к «покушению» на ограниченные ресурсы, очевидно, является использование денег. Деньги в этом смысле (как истина и власть) выступают символическим средством обеспечения консенсуса и делают вероятным «несправедливое» (с точки зрения большого числа наблюдателей), а значит само по себе невероятное распределение ограниченных ресурсов. Также и в данном случае очевидная символичность и абстрактность денег удостоверяется *телесно*. Деньги принимаются к оплате и получают «эмпирическое удостоверение», если обеспечивают фактическое *потребление* участников коммуникации.

Другой переживает – Эго действует

Данная конstellляция в свою очередь описывает само по себе невероятное положение дел. Почему Другой в своих переживаниях должен испытывать особого рода предпочтение или чувства (любовь, привязанность, влечение) именно к данному *действующему* Другому? Ведь в его окружении, как правило, находятся сотни других гипотетических партнеров. Но и эта невероятная селекция может получить соответствующую мотивацию. Чтобы достичь желаемых переживаний со стороны Другого, Эго своими действиями вынужден учитывать и предвосхищать все возможные идиосинкразии своего партнера, выполнять его желания, какими бы странными и экстравагантными (противоречащими нормативным ожиданиям, морали и т.д.) они ни пред-

¹ Также и в искусстве Эго (как зритель или в широком смысле реципиент) признает и лишь эстетически переживает (не принимая деятельностного участия в искусстве) действия Другого (художника или творца).

ставлялись. Любовь как символический генерализирующий медиум интимной коммуникации делает возможным невероятный консенсус также и в социальной системе интимных коммуникаций. Очевидно, что и в этой области абстрактный медиум любви в конечном счете получает (или не получает) телесное подтверждение в форме физической сексуальной близости.

Подводя итог анализу «эмпирического смысла», наполняющего базовые переменные дистинкции СКТ (Эго/Другой, Действие/Переживание), позволим себе и здесь привести сравнение с базовыми основаниями современной стандартной физической модели. Согласно последней элементарные частицы, как известно, объединяются в два класса – переносчиков взаимодействий и составляющих материи. Базовые переменные коммуникации, в свою очередь, выказывают в чем-то аналогичные свойства и могут быть соответствующим образом классифицированы: если переменные (*Эго/Другой, переживания/действия*) образуют некую «субстанцию» или, лучше сказать, *материальное воплощение* коммуникации, то мотивирующие коммуникацию медиа коммуникативного успеха (деньги, любовь, власть, истина) можно уподобить особым переносчикам взаимодействий. Это своего рода *энергия* коммуникации, которые – наподобие фотонов и глюонов – словно *склеивают* коммуникативные операции (платежи, распоряжения, научные высказывания, интимные отношения) друг с другом, обеспечивая динамизм коммуникативного системообразования.

При этом сам Луман первоначально использовал не физическую, а химическую аналогию, уподобляя медиа коммуникативного успеха неким *катализаторам* коммуникации.

Эмпирический смысл системно-коммуникативной теории

Выше представленная теоретическая модель *основных систем общества*, вытекающая из четырех воз-

можных комбинаций переменных и четырех констелляций, на наш взгляд, хорошо согласуется с описываемой эмпирической реальностью. Представим несколько объяснительных положений, которые, на наш взгляд, могут быть верифицированы эмпирически, а значит позволяют критически оценить данную теорию на предмет аномалий и противоречий.

(1) *Общество – это множество коммуникаций.* Это значит, что коммуникация фактически состоит из действий (сообщений) и информации (переживаний). Сообщение в этом смысле выступает материальным субстратом общества и допускает эмпирическую фиксацию. Эго *понимает* сообщение Другого как отличное от *информации*, данную в *переживаниях* сознания, но воплощенную в материальном *действии* (сообщения).

(2) *Смысл коммуникативного запроса на контакт определяется коммуникантами с помощью различения инореферентных информации и самореферентных сообщений.*

- 1.1. Эго может понимать (исчислять) предложенную коммуникацию инореферентно. т.е. фокусироваться на информации. (Так, в предложении «идет дождь» первоочередное значение получает само данное в переживаниях внешнемировое событие, в данном случае фактическая погода).
- 1.2. Эго может понимать коммуникацию самореферентно и фокусироваться на факте самого сообщения, а не информации. (Так, высказывание «идет дождь» истолковывается, например, как мотивирующее действие к тому, чтобы остаться дома и продолжить коммуникацию)
- 1.3. Акцептация или отклонение коммуникации (образование системы) зависит от выбора того или другого – информационного (инореферентного) или интеграционного (самореферентного) смысла сообщения.

(3) *Смысл* сообщения как основание для системно-оброзования (коннекции коммуникации) определяется в *предметном* (то, о чем высказывание), *социальном* (за-чем и кому адресовано высказывание) и *темпоральном измерениях* (историческим и перспективистским контекстом высказывания). Чтобы общение продолжилось и возникла система, каждое сообщение должно получить определенность (соответствующее значение) в каждом из означенных измерений.

(4) *Коммуникативные системы надрегиональны и образуют мировое общество*. Операции обособившейся коммуникации (подтверждение научных истин, нормы международного права, международные транзакции, выбор партнера) не ограничены государственными границами.

(5) Структуры автономных систем выказывают инвариантные черты

– Медиа коммуникативного успеха (власть, деньги, любовь, истина и т.д.) делают возможным консенсус и обеспечивают – само по себе невероятное – принятие запроса на контакт.

– Медиа коммуникативного успеха претерпевают *инфляцию или дефляцию* (рост доверия или недоверия к власти в политике; инвестиционный бум или стагнация в хозяйстве; вера в научный прогресс или динайелизм; ожидание любви после брака или распад моногамной семьи и т.д.).

– Критерием и способом удостоверения абстрактности коммуникативных медиа (особенно в случае отклонения запросов на контакт) являются телесно-фундированные формы подкрепления таких запросов (насилие в политике; восприятие в науке; сексуальные отношения в интимной сфере; потребление в хозяйстве).

– Дефляции коммуникативных медиа делают возможными рецидивы к более ранним архаическим формам *недифференцированной* коммуникации (так, истинность научных суждений, критерии искусства, ин-

вестиции в экономики и т.д. могут определяться политическими решениями, а могут – религиозными). Этот рецидив, очевидно, претерпевает сегодня российское общество.

(6) *Системообразование в обособленных системах осуществляется через ведущие различия*. Системы состоят из моментальных, спонтанно возникающих и тотчас заканчивающихся, событий (операций): политических решений, экономических транзакций, научных высказываний, правовых актов, признаний в любви. Чтобы система продолжалась и воспроизводилась, требуется отбор и подсоединение все новых и при этом системно-однородных элементов. Соответственно, требуются селективные механизмы различения собственных и чужеродных операций. Таковыми механизмами выступают ведущие различия (бинарные кодирования) между истинным и ложным (наука), между потребным и не нужным (хозяйство), законным и незаконным (право), обеспеченным властью и оппозиционным, любимым и нелюбимым, поражающим воображение и неинтересным, массмедийно-новым и известным, сакральным и профанным.

(7) *Моментальный характер социальных событий лежит в основе эволюции коммуникаций*. Механизмы *изменчивости* обеспечиваются языковой частичкой «нет», делающей возможность отклонение в том числе и успешных в прошлом запросов на контакт. Механизмы *отбора* новообразованных коммуникаций обеспечиваются бинарным кодированием подсоединяющихся операций (новых истин, новых политических решений, предложений на рынке и т.д.). *Закрепление* и стабильное воспроизводство новообразованных типов предложений смысла обеспечивается функциональной дифференциацией систем (науки, хозяйства, политики), в рамках которых возникают устойчивые комплексы ожиданий (исследовательские программы, политические устройства, рыночные экономические уклады и т.д.)

(8) *Рациональность системы обеспечивается способностью к наблюдению второго порядка.* Речь идет о способности «различать различия»: фиксировать собственные различия и базирующийся на них системный процесс во внешнем мире данной системы. Так, наука (в лице эпистемологии, социологии науки и т.д.) тематизирует истинность и сам научный процесс. Политика (в лице оппозиции) рефлексивизирует корректность применения власти и способа принятия политических решений.

Аномалии в поле СКТ

Вышеприведенная стройная схема реконструирует те или иные способы наблюдения социальной реальности. Но как всякая схема она, безусловно, не ухватывает всего многообразия социальной или коммуникативной реальности. Кратко перечислим ряд аномалий, рассогласованностей или асимметричностей, которые, на наш взгляд, не укладываются в данную схему «приписывания каузальностей»:

– Так, с одной стороны, те или иные притязания на *истинность* знания требуют его *акцептации* и в этом смысле *фактического участия* в данной научной коммуникации. Между тем деньги как способ обеспечения консенсуса требуют всего лишь *толерантности* со стороны наблюдателей, которые могли бы возмутиться чрезмерно роскошными формами потребления (суперкары, дорогие виллы и т.д.), но *не являются участниками* данной экономической коммуникации.

– Не все системно-интегрированные коммуникации и их ведущие различия укладываются в предложенную классификацию каузальностей. Так, правовая подсистема общества с ее ведущим бинарным кодом *законное/незаконное* не представлена ни в одной из клеток таблицы. То же самое можно сказать о самых *разнообразных* социальных движениях, которые испытывают трудности в выработке *единого* бинарного кода.

– Система религиозной коммуникации, в свою

очередь, также не представлена в таблице, и кроме того, по видимости, не опирается на отчетливые телесно-фундированные способы удостоверения символического генерализирующего бинарного кода *веры*.

– Данная теория, избегая прямых утверждений (при всей ее апелляции к эмпирической реальности, на которую она пытается опереться) дефинитивно отказывается от возможности ее фальсификации. Ведь речь идет об «атрибуции причин» тем или иным наблюдателям, а вовсе не об описании фактических каузальностей и выстраиваемых на основе них закономерностей. Как следствие, обнаружение фальсифицирующих эмпирических обстоятельств (например, появление других исчислений, см. ниже следующую аномалию) не фальсифицирует теорию, а лишь указывает на какую-то особую ситуацию этого наблюдателя.

– Не исключены *обратные каузальности*, которые, однако, никак не прописываются в теории. Так, в политической системе Другой своими действиями (обязательным к исполнению решением) запускает согласующиеся с этим решением действия Эго. Но как быть с допустимым в этой системе переменных и фактически реализующимся возможным миром, где политически нижестоящий Эго (избиратель, рядовой член организации и т.д.) своими действиями или переживаниями (голосованиями, участием в опросах и т.д.) каузирует действия или переживания вышестоящего начальства?

Наука общества:

восприятие, знание, истина, эволюция науки

Осуществленная выше реконструкция структуры СКТ требуется нам для понимания науки как системы мирового общества. Подход СКТ уникален, поскольку делает возможным анализ науки исходя из более общей теории мирового общества и его подсистем. Между тем, известные гранд-теории науки и методологические подходы к анализу и эволюции науки (Томаса Куна, Имри

Лакатоса, Карла Поппера, Венского кружка) в большинстве своем анализируют науку из самой себя, не основываясь на возможностях сравнительного анализа с другими общественными подсистемами.

Поскольку *осмысленность* подсоединяющихся системных операций (= способность обеспечить коннекции платежей, решений, научных суждений и т.д.) определяется в «пространстве» трех измерений, приобретают большую четкость эпистемические понятия, в которых описываются научные коммуникации. Речь идет, прежде всего, о понятии научной *истины, знания, новизны*, как и об их непросто соотношении.

Так, истинность, очевидно, представляет собой некий *добавочный* индекс для определения (и без того) «истинного» научного знания (поскольку *ложное* знание попросту не является знанием). Но чем объясняется такого рода удвоение? Разве одного индекса (*episteme* противопоставленное *doxe*) было бы недостаточно?

Эта избыточность может получить объяснение, если индекс *знания* понимать как значение или сообщение лишь в одном, а именно в *предметном* (функционально-дифференциалистском)¹, измерении научной коммуникации. Получение знания в результате научного исследования, собственно, и является функцией научной коммуникации, основанием для ее отдифференциации как автономной типики общения [Луман, 2016].

Напротив, истина, в контексте СКТ, выполняет специфическую *медиальную* функцию обеспечения коммуникативного успеха и является позитивной стороной бинарного кода *истинное/ложное*. Это *ведущее бинарное различие*, задействованное в науке, маркирует согласие и признание полученного знания не столько в предметном, сколько в специфическом *социальном* измере-

нии научной коммуникации. При этом, как истина, так и знание, чтобы быть принятыми в качестве текущих индексов того или иного предложения научного смысла, должны получить третий, не менее важный индекс, а именно – значение новизны в *темпоральном* измерении научной коммуникации.

Такого рода представление об (относительной) независимости индексов *знания, истины и новизны* как значений, которые приписываются смыслам научных операций (= запросов на контакт) в случаях, когда фиксация позитивных сторон данных различий обеспечивает их *подсоединение и образование системы коммуникаций*, является результатом совсем недавней эволюции. Так, еще сравнительно недавно значение истинности имело другой смысл и задачу, а именно – обеспечивало воспроизводство знания, защиту от забвения или «несокрытость» (*aleteia*) сообщенного знания [Хайдеггер, 1991: 8–27]. Истинность как «несокрытость» отвечало за сохранение полученного знания и его систематизацию в форме больших компендиумов (систем знания). Энциклопедия Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера, а также монументальный труд Александра фон Гумбольдта «Космос» представляют собой хорошие примеры такого рода функции – всеобщей систематизации и аккумуляции наличного знания.

Сегодня представляется очевидным, что оценка такого рода притязаний на всеобщую систематизацию научного знания уже не могут осуществляться с помощью механизмов бинарного кодирования *истины/ложь*. В особенности это относится к научным парадигмам, которые, как известно, согласно тезису Томаса Куна, содержат внутренние критерии истинности своих положений и в этом смысле не требуются внешних истинностных оценок [Кун, 1977: 195–199, 207].

Эволюция научной коммуникации – в форме отдифференциации автономных эволюционных механизмов – изменчивости, отбора и стабилизации знания – существенно меняет эту типичу воспроизводства,

1 Дифференциация социальных систем представляет собой специализацию и замыкание коммуникаций вокруг соответствующих предметных областей или задач: обеспечении коллективно-обязательных решений, научных исследований, экономических трансакций и т.д.

формулирования и оценки его получения [Луман, 2017; Кэмпбелл, 2012]. Так механизмы изменчивости и отбора нового истинного знания (в виде научных статей) теперь функционируют автономно. Это значит, что изменение наличного корпуса знания в виде научной критики существующих парадигм осуществляется не зависимо от того и даже в противовес тому, что рекомендуют внешние фильтры отбора научного знания (эксперты журналов, комиссии распределяющие гранты и субсидии и т.д.). С другой стороны, и механизмы отбора (прежде всего, научных статей в научных журналах) получают автономию от системно-стабилизированного знания. Так, в процессе «нормальной науки» формулируется новые предложения смысла без того, чтобы производились радикальные изменения всего корпуса стабильного знания¹. В результате такой эволюции сегодня именно небольшая научная статья, приведенная к форме единого тезиса (компактного предложения смысла, допускающего однозначное *Да* или *Нет*, принятие и отклонение), становится основной единицей (операцией) научной коммуникации.

Таким образом, данный эволюционный концепт СКТ задает типологию видов научного знания. Во-первых, можно говорить о вариативности знания в виде случайных гипотез, инсайтов, сумасшедших догадок, т.е. всего того, что Р. Мертон называл «серендипностью» [Merton, 2004], а в классических трудах по философии науки это определялось как «этап открытия», предшествующий этапу обоснования знания; во-вторых, об обоснованном истинном знании, отбираемом посредством экспертных коммуникативных фильтров ведущих научных журналов; и в-третьих, наконец, о парадигмальном, стабилизированном знании, образуя-

1 Аналогичным образом (так же и в контексте сравнительной аналогии с политической системой) в современном дифференцированно обществе смена власти осуществляется, как правило, без того, чтобы нарушалось стабильное функционирование политической системы в целом и менялось бы государственное устройство.

щем основную мишень для новых критических инвектив и новых вариаций.

Наука: инореференция через самореференцию

Эта эволюционная модель, на наш взгляд, предлагает элегантное решение двух известных семантических парадоксов. Так, парадокс стандартного понимания знания [Gettier, 1963] поставил под вопрос так называемую «стандартную» интерпретацию знания как *истинного, обоснованного мнения* [Sellars, 1956]. Было предложено несколько примеров «истинного, обоснованного мнения», не являющегося знанием. Так, высказывание «часы показывают шесть часов» (возьмем тривиальный пример), утверждаемое в шесть часов и обосновываемое показаниями на часах, представляется истинным, обоснованным мнением. Но этот результат может быть получен и в результате случайного совпадения, если часы были бы сломаны или не заведены. В последнем случае речь идет о некоем парадоксальном «знании неизвестного знания». Впоследствии было придумана масса новых определений знания, обходящих данных парадокс, но каждый раз обнаруживался новый геттьеро-подобный пример.

Основное внимание в попытках разрешения парадокса уделялось поискам *четвертого* признака знания, дополняющего индексы *истинности, обоснованности, убежденности* в знании и выводящего из данной парадоксальной ситуации. Понятийность СКТ, в свою очередь, может предложить свой вариант разрешения парадокса Геттиера.

Как утверждалось выше, наука определяется как коммуникативная система, обладающая особым типом – системно-коммуникативной – рациональности. Такого рода рациональность состоит в способности наблюдателя (= системы коммуникаций) фиксировать в его внешнем мире различия, которые нерелексивно использовались самим этим наблюдателем (самой системой). Применительно к науке речь, очевидно, идет о

знании того, что другие наблюдатели знают или не знают о некотором предмете, или другими словами – о знании актуального состояния наличного знания. Так, инореферентному (т.е. информационно-значимому, новому и неожиданному) утверждению о некоем *предмете* исследования должно быть предпослано (как правило, в форме цитирования или критики) самореферентное утверждение о том, что *другие наблюдатели* знают или не знают о данном предмете. Поэтому всякое притязание на научный приоритет (новое истинное знание) включает в себя и самореферентное отнесение: возможное знание о том, что могло бы быть известно более компетентному наблюдателю (в данном случае о том, насколько корректно функционируют часы). Именно на это указывает СКТ в специфической констелляции каузальных атрибуций – «переживание Другого подтверждается переживанием Эго».

Парадокс Геттиера возникает как раз в тех случаях, когда знание Другого еще не удостоверено восприятием Эго или другими более компетентными наблюдателями, и относится к *первому* классу выше предложенной эволюционной классификации знания. В этом случае инореферентное наблюдение не артикулирует в достаточной степени самореферентное и рефлексивное утверждение об актуальном (несовершенном) состоянии знания, о знании других компетентных наблюдателей, находящихся на других позициях и способных знать нечто неизвестное первому наблюдателю (о состоянии часов).

В этом, по-видимому, состоит смысл высказывания И. Ньютона: «Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов» [цит. по: Merton, 1985]. Наблюдатель второго порядка фиксирует, прежде всего, ограниченность обзора наблюдателя первого порядка – его слепое пятно. Как уже было сказано, инореференции научной коммуникации предпосылается самореференция, получающая форму критического ци-

тирования оппонентов и предшественников. (Впрочем, сегодня гиперкомплексная наука столкнулась с рядом трудностей в ее возможностях осуществлять такого рода рациональную функцию наблюдения второго порядка¹).

Макс Вебер в своем знаменитом манифесте [Weber, 2017], в свою очередь, обратил внимание на парадоксальный характер научных утверждений. С одной стороны, они претендуют на истину, и именно это отличает объективность истинностных высказываний от ценностных суждений. С другой стороны, срок жизни научных истин 10 – 40 лет, а значит, объективность истинности релятивизируется во времени.

Но и в этом случае различие автономных смысловых горизонтов (темпорального и социального) если не снимает, то отчасти объясняет данный парадокс. Как уже утверждалось выше, в *темпоральном* измерении научной коммуникации определяется индекс *новизны* того или иного предложения смысла. Одновременно в *социальном* измерении научной коммуникации (атрибуцией истинности со ссылкой на актуальные теории и методы) определяется *консенсус и признание* того или иного научного предложения. Оба типа индексов могут получать различные – позитивные или негативные – значения (времени и консенсуса) и в каждой конкретной (*эмпирически осуществляющейся*) коммуникации не обязательно согласуются друг с другом.

1 Сегодня механизм отбора и распределения истинности в дисциплинарно-специализированном знании дает сбой. Современная наука стала настолько комплексной и дисциплинарно-специализированной, что перестала быть доступной для самой себя. От 50 до 80 процентов научных текстов вообще не цитируются, не перерабатываются в другие тексты [Meho, 2007]. Экспертиза не успевает осуществлять свою фильтрующую функцию. Огромное число научных текстов – как запросов на контакт – не получают коммуникативного ответа [Антоновский, 2023].

Политическая коммуникация:

самореференция без инореференции

Как мы показали выше, политическая система контрдикторна научной коммуникации в том, что касается склонности (политически ангажированных) наблюдателей атрибутировать причины их действий и переживаний. Действие – в его отличие от переживания – подразумевает целевую или произвольную компоненту. Поэтому в исполнении собственных действий политический актор вынужден в каком-то смысле «вытеснять» личные переживания (внутреннее несогласие, собственные резоны и т.д.), ориентируясь на уже принятые коллективно-обязательные решения и подчиняясь им. В этом смысле политическая коммуникация преимущественно самореферентна (= относительно безразлична к реалиям ее внешнего мира, данного в *переживаниях* акторов, вынужденных подчиняться машинерии политических решений)¹.

Такого рода политическая самореферентность, впрочем, может фиксироваться наблюдателями (самими политическими акторами) как инореферентная интерпретация реальности. За инореферентную («объективную») интерпретацию реальности выдаются коммуникативные сообщения (описания, объяснения, докладные записки, социологические опросы и т.д.), ориентированные на самореферентную максимизацию собственной власти путем подстраивания под потенциальные коллективно-релевантные действия и решения, которые *ожидаются* от вышестоящих властных инстанций. Другими словами, знание о реальности и соответствующие сообщения производятся или *фабрикуются*;

1 Конечно, и наука самореферентна в том смысле, что всякому инореферентному суждению о предмете исследования (о внешней реальности) предпосылается самореферентное суждение об актуальном уровне знания в виде цитирования и критики коллег. Но эта трансформация инореференции в самореференцию как раз и защищает от ошибок в инореферентных научных суждениях и обеспечивает их акцептацию.

представления о реальности оказываются в этом смысле результатом произвольного действия, а не переживания внешнего мира, как это типично для научной коммуникации; не восприятие как телесный процесс удостоверяет истинность коммуникативных сообщений в политической системе, а возможность насилия, которая входит в расчет политически ангажированных акторов и наблюдателей (политиков или их советников), в случае коммуникативной конфронтации, отклоняющейся от их самореферентной наблюдательной перспективы.

Для оценки своеобразия текущего момента политическим акторам, в условиях отсутствия свободных массмедиа и оппозиции, которые способны поставить под вопрос само ведущее различие политической системы (а именно – власть, как различие власти и оппозиции), нет надобности обращаться к ученым, экспертам, удостоверяющим собственным восприятием восприятие политических акторов. Ведь это не соответствует характерным для политического наблюдения «атрибуциям каузалности».

Проистекающая отсюда недоступность внешнего мира словно компенсируется возможностями произвольного политического действия как коллективно-обязательного решения, обладающего собственными средствами «продавливания» и утверждения волюнтаристских целепостановок.

С точки зрения СКТ, политические (коллективно-обязательные) решения дефинитивно ориентированы на максимизацию власти в *социальном* измерении коммуникации и зачастую независимы от содержания этих решений в *предметном* измерении, а также от того, какие последствия это несет для внешнего мира политики (граждан, экологии и т.д.) в темпоральном измерении коммуникации. В этом смысле значение социального (самореферентного) горизонта политической системы, как следует из вышеприведенной схемы, чрезвычайно гипертрофировано и доминирует в

сравнении со значениями в других горизонтах коммуникации. Подсоединение следующей операции получает свой смысл исключительно в контексте сохранения или упрочения собственной власти. Однако рефлексия и рациональность системы (см. выше пункт о специфической системной рациональности), способность осуществить рациональное *re-entry* в условиях отсутствия оппозиции и социальных движений существенно ослаблена. Re-entry, как способность наблюдателя ввести в поле своего рассмотрения собственное ведущее различие, а именно власть как различие власти и оппозиции, зафиксировать «объективно» (т.е. со стороны) «слепые пятна» политического наблюдения, в особенности ее неспособность эффективно функционировать в условиях авторитаризма (= доминирования политики над другими системами коммуникаций) не осуществляется; сама эффективность и политические последствия решений власти, наблюдаемые из внешнемировой перспективы, не становятся темой парламентских обсуждений. Ведь за это ответственна оппозиция, критикующая власть, но незадействованная в самореферентной машинерии политических решений и именно поэтому способная к рациональной рефлексии, политическому *восприятию* реальности и самой власти как внешнего мира политической системы. В этих условиях ограниченной рациональности актуальная политическая коммуникация «смотрится в зеркало» самосозданных и политически ангажированных массмедиа и провластных движений и обнаруживает там только саму себя в том виде, в каком ей комфортно себя наблюдать. Именно эту дефинитивную слепоту политической системы, не компенсируемую дополнительными к ней наблюдательными перспективами других – более восприимчивых к реальности наблюдателей (науки, массмедиа, оппозиционных движений) – следует признать источником военно-политических и экономических ошибок современной власти.

Библиография (1.1):

- Антоновский А.Ю. Зачем науке лузеры? О перепроизводстве научного знания и его функции // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 2. С. 75–93. DOI: 10.5840/eps202360226
- Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И.З. Налетова, общ. ред. и послесловие С.Р. Микулинского, Л.А. Марковой. 1977. М.: Прогресс.
- Кэмпбелл Д. Эволюционная эпистемология // Кэмпбелл Д. Эволюционная эпистемология: антология / науч. ред. и сост. Е.Н. Князева; гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. 2012. М.: СПб.: С. 141–178.
- Луман Н. Власть / пер. с нем. А.Ю. Антоновского. 2001. М.: Праскис.
- Луман Н. Истина, знание, наука как система / пер. с нем. А.Ю. Антоновского. 2016. М.: Логос.
- Луман Н. Медиа коммуникации // Луман Н. Общество общества: [в 5 ч.]. Ч. 2 / пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. 2005. М.: Логос.
- Луман Н. Эволюция науки // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 215–233. DOI: 10.5840/eps201752240
- Хайдеггер М. О сущности истины / пер. с нем. З.Н. Зайцевой // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. 1991. М.: Высшая школа. С. 8–27.
- Baecker D. Kommunikation als Selektion. *Schlüsselwerke der Systemtheorie*. Baecker D. (eds). 2021. Wiesbaden: Springer VS.
- Gettier E. Is Justified True Belief Knowledge? *Analysis*. 1963. Vol. 23. N 6. P. 121–123.
- Heider F. Ding und Medium. *Symposium: Philosophische Zeitschrift für Forschung und Ausprache*. 1927. Vol.1. P. 109–157.
- Heider F. *The psychology of interpersonal relations*. New York: John Wiley & Sons. 1958. DOI: 10.4324/9780203781159
- Luhmann N. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 1998.
- Meho L.I. The Rise and Rise of Citation Analysis. *Physics World*. 2007. Vol. 20. N 1. P. 32–36.
- Merton R.K., Barber E. *The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. 2004. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Merton R.K. *On the Shoulders of Giants*. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1985.
- Sellars W. Empiricism and the Philosophy of Mind. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. I*, H. Feigl, M. Scriven (eds.). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 1956. P. 253–329.
- Stichweh R. Introduction: How to Conceive Global Function Systems? *Soziale Systeme*. 2018. Vol. 23, N 1–2. P. 3–14. DOI: 10.1515/sosys-2018-0001
- Weber M. *Wissenschaft als Beruf*. 2017. Berlin: Matthes & Seitz Verlag.

Глава 1.2. *Теория социальных взаимодействий* *Питирима Сорокина как прообраз* *системно-коммуникативной теории*

Питирим Александрович Сорокин – один из немногих отечественных мыслителей, кто мог бы претендовать на статус классика социальной теории [Jeffries, 2002: 2009]. Стоит заметить, однако, что его теоретический вклад в развитие социальной мысли связывают, главным образом, с культурно-историческим подходом, с его вкладом в организационную теорию [Peltonen, 2018] и религиоведение [Uzlaner, Stoeckl, 2017]. Мы рассмотрим некоторые идеи Сорокина, получившие систематическое изложение в так называемый «позитивистский этап» его творчества, в книге «Система социологии». Эта книга, столетний юбилей которой мы отметили в 2020 году, содержала в себе проект самоутверждения трансдисциплинарно-ориентированной социальной теории. К сожалению, работа так и не была переведена на английский язык. И после эмиграции в США Сорокин существенно меняет фокус своего научного интереса в пользу, главным образом, культурно-исторических и культур-социологических исследований.

Столетний юбилей этого выдающегося исследования служит хорошим поводом вспомнить о Питириме Сорокине именно как об одном из основателей социологии как строгой науки, поразмышлять о значении и перспективах этого уже несколько подзабытого проекта – отечественной версии позитивистского обоснования социологии. Небезынтересно было бы проследить процесс рождения российской социологии, которая с помощью и в лице Сорокина пытается защитить самостоятельность, отмежеваться от конкурирующих за ее поле дисциплин и зафиксировать собственное уникальное место в комплексной иерархии социальных наук.

Позднее, в период американской эмиграции, в Сорокин сыграл ключевую роль в организации факультета социологии Гарвардского университета 1930-1931

гг. подобно тому, как десятью годами ранее он организовал социологический факультет Петроградского Университета). Однако, несмотря на все его значение как теоретика и организатора науки, гораздо большее влияние, в конечном счете, приобрела структурно-функциональная версия социальной теории, на многие десятки лет утвердившаяся в качестве теоретической парадигмы для целого корпуса социальных наук. Развивавший ее молодой исследователь Толкотт Парсонс собрал вокруг себя группу ученых, предложивших комплексную и трансдисциплинарно-ориентированную теорию общества, использующую достижения актуальной на то время культурной антропологии и социальной психологии. Развернувшаяся латентная, а зачастую, и явная война концептов между функционалистской теорией Парсонса и культурно-историческим подходом Сорокина [Buxton, 1996] закончилась полной и безоговорочной победой функционализма. Ирония же всей этой ситуации состояла в том, что ранее разработанная Сорокиным концепция взаимодействия (как признавал и сам Сорокин [Coser, 1977: 490],) предвосхитили, а в чем-то и существенно опередили структурно-функциональную теорию, при том что сам мыслитель ее сурово критиковал [Sorokin, 1963: 251]¹. При этом, и структурный функционализм Парсонса и концепция социокультурной динамики Сорокина, обосновывая притязания теоретической социологии на собственный объект, исходили не столько из предметной, сколько из проблемно-ориентированной установки. Они решали не только теоретические проблемы (определения объекта социологического анализа, содержание ключевых социологических понятий), но фиксировали проблему самого общества, аналитически реконструировали – в

1 То, что концепция Сорокина конгенитальна актуальной системно-коммуникативной версии социальной теории [Luhmann, 1997; Stichweh, 2015; Beaker, 2006], не осталось незамеченным, но, тем не менее, этот временной приоритет связывают, скорее, с поздними исследованиями Сорокина² [Pitási, 2014: 28]

кантовском смысле – условия возможности социального порядка («Гоббсову проблему»). Но если Парсонс обосновал собственное решение, апеллируя к фактическому воспроизводству общества через базовые AGIL-функции, универсально воспроизводившиеся на всех уровнях системы действия, то Сорокин фиксировал некие «духовные и метафизические источники порядка» [Pitasi, 2014: 29].

Однако ранее в «Системе социологии» Сорокин обосновывал «дисциплинарные права» социологии иначе, имея в виду не столько конституирующую ее проблему, сколько конституирующий ее предмет, а именно – «взаимодействие». Ниже мы попытаемся воспроизвести основные идеи этого проекта, исходя из того, что ключевое для Сорокина понятие «взаимодействием» обладает теми же содержанием и объемом, что и понятие «коммуникации» в системно-коммуникативной теории общества. Наша скромная задача состоит в том, чтобы посмотреть, какие идеи Сорокина, сформулированные в его «русский» период, предвосхитили достижения современной социальной теории, прежде всего, в ее системно-коммуникативной версии.

Битва за предмет и автономию социологии

Не успев родиться, социология, по мнению Сорокина, столкнулась с угрозой лишения ее собственного дисциплинарного домена. В нем, по видимости, не осталось ничего, что бы ни входило в предметный интерес той или иной конкретной дисциплины (экономической науки, социальной антропологии, социальной психологии и т.д.). Требовалось защитить права на собственный участок в континуальном когнитивном пространстве внешнего мира науки, а значит – обеспечить легитимность социологии как полноценной социальной дисциплины. Питирим Сорокин воспринимает этот вызов со всей серьезностью – как научно теоретическую и научно-организационную проблему. В этом смысле

и отвечать на этот вызов ему приходится дважды. В «Системе социологии» он теоретически обосновывает ее уникальный, еще не занятый другими дисциплинами – специфический домен «взаимодействия». Практически же он воплощает свой проект, организуя факультеты социологии в Петроградском (1919-1920) и Гарвардском (1930-1931) университетах.

На наш взгляд, то уникальное обстоятельство, что русский эмигрант занял лидерские позиции в процессе институционализации американской (и по большому счету, всей мировой) социологии не является чем-то естественно понятным, но это должно получить объяснение. Во всяком случае, вряд ли речь здесь идет о простой игре случая и не может описываться понятием «серендипности», придуманным его «неверным учеником» Робертом Мертоном [Merton, Barber, 2004]). Наша гипотеза состоит в том, что именно трансдисциплинарный характер социальной теории Сорокина, и как следствие, «перформативное» влияние его теоретического концепта на других ученых Гарварда, могли бы объяснить успешную реализацию научно-организационного проекта Сорокина и ту поддержку, которую он встретил в США.

В свой ранний период дисциплинарные притязания социологии Сорокин выводит не столько из ключевой проблемы социального порядка, сколько из уникальности ее предмета. Ее предмет – это «взаимодействия между людьми». И хотя речь идет об отношениях людей, сам человек как действующий и взаимодействующий индивид отходит в этом концепте на второй план. Концептуализируется и получает теоретический приоритет «категория межличностных отношений» [Сорокин, 1920: 8]. Каков же онтологический статус этого «между»? Очевидно, по крайней мере, то, что это «между людьми» само не является человеком, не представляет социальную группу или социальную систему, но обозначает некий уникальный класс объектов исследования – процессов взаимодействий. Уже здесь

Сорокин заявляет о выходе к фронтиру трансдисциплинарности, обосновывая это тем, что такого рода процессы «взаимодействия между» изучаются в самых разных исследовательских областях (в «биосоциологии», «фитосоциологии» и т.д.).

Утверждение автономии социологии Сорокин начинает с универсального позитивистского тезиса о «научности социологии». Во-первых, «социология может и должна быть наукой теоретической, изучающей мир людей таким, каков он есть. Всякий нормативизм из социологии, как науки, должен быть изгнан. Истина должна быть разъединена от Добра, Справедливости и т. п. принципов», [Сорокин, 2020: IX.]. Во-вторых, она должна быть объективной¹ и «превратиться из науки о «психических реальностях, в изучающую явления, доступные наблюдению, имеющие определенное внешнее бытие, допускающие... измерение». В-третьих, «социология хочет быть опытной и точной наукой, она должна прекратить философствование», отказаться от философски умозрительных трактатов» [Сорокин, 2020: X.].

Границы автономии социологического домена Сорокин пытается «застолбить», отражая экспансию конкурирующих дисциплин. Он энергично отмечает «энергетический подход» Вильгельма Оствальда, в котором отношения индивидов редуцируются к физико-химическим действиям ньютоновских сил («сотрудничество есть сложения сил», а «организация – равновесие сил»). Отбрасывает Сорокин и иные более рафинированные виды «механицизма», включая взгляды Карла Маркса (как мы помним, ключевое понятие «труд», т.е. механическая работа, определялся физическим временем как столь же механическим мерилем его стоимости), а также все виды биологического редуци-

онизма². Притязания психологии на домен социологии отклоняются Сорокиным по основанию различности объектов. Психика и сознание суть объекты психологии, а «между-психические процессы общения, взаимные акции и реакции людей ее не интересуют». «Что именно происходит в душе сумасшедшего для социолога не важно» [Сорокин, 1920: 16]. Его интересует лишь «симптомы, по которым общество признает человека сумасшедшим и общественные следствия сумасшествия». Задолго до Мишеля Фуко Сорокин приходит к мысли об общественном происхождении душевных недугов. Именно общество решает, что признавать нормальным, а что психически девиантным, а значит, и сам факт психического отклонения есть контингентный, социально и культурно исторически обусловленный факт.

Однако на завершающем такте своей «апологии социологии» Сорокин неожиданно оправдывает притязания других социальных наук на социологический домен. «Возьмем ли мы политическую экономию, или науку права, или науку о религии, или дисциплину, изучающую искусство, все они, как и другие социальные науки, изучают явления человеческого взаимодействия» [Сорокин, 1920: 21].

Уже в этом парадоксальном тезисе мы можем зафиксировать прямую аналогию с ключевым дифференциалистским тезисом системно-коммуникативной теории. Эта теория рассматривает обозначенные Сорокиным типы коммуникации (хозяйственные, правовые, религиозные) как объекты конкретных дисциплин («хозяйство общества», «политику общества», «науку общества», «право общества», «религию общества», «искусство общества» и т.д.,) и включает их в свой домен [Luhmann, 1998]. Но значит ли это, что социоло-

1 Примечательно, что этот позитивистский тезис Сорокин провозглашает практически одновременно со знаменитым (и содержательно аналогичным) тезисом о недопустимости «ценностных суждений» в научных исследованиях и преподавании [Вебер, 2019].

2 «...представители «биологической школы», ... пытающиеся рассматривать социологию как часть биологии, например Waxweiler, принуждены выделять явления человеческого взаимодействия в самостоятельный класс, отличный от других видов взаимодействия организмов» [Сорокин, 1920: 11].

гия есть некоторое множество или корпус специальных дисциплин? «Является ли социология простым ярлыком, обозначающим совокупность всех социальных дисциплин, или же она имеет самостоятельное существование, как независимая, не сливающаяся ни с одной из социальных наук отрасль знания?» [Сорокин, 1920: 22].

Нет, никоим образом! По мнению Сорокина, она сохраняет свое уникальное объектное поле даже после того, как его поделили между собой означенные социальные дисциплины. «Специализация и дифференциация наук ... не только не исключают, а напротив, требуют синтетическую науку» [Сорокин, 1920: 19].

Теорема Петражицкого, наблюдение второго порядка и понятие трансдисциплинарности

Этот трансдисциплинарный тезис о «генерализирующей социологии» Сорокин обосновывает, ссылаясь на «теорему Петражицкого». Существо последней состоит в – претендующем на закономерность – утверждении, что всякая специальная наука требует метанауки, фиксирующей инвариантный (родовой) объект или его модель. Эта модель – в той или иной спецификации – всегда реализуется на некотором множестве специальных дисциплин. Так, к ботанике и зоологии примыкает мета-наблюдающая или «генерализирующая дисциплина» – общая биология. Например, теория нравственности, по мнению Петражицкого, требует теории права, а теория права и теория нравственности требуют некоторой обобщающей теории, скажем, социологии права, и т.д.¹.

Ссылаясь на теорему Петражицкого, Сорокин формулирует концепт наблюдения второго и последующих порядков. Эта идея генерализирующей, трансдисциплинарно ориентированной науки сегодня получила

общее признание в системно-коммуникативной эпистемологии, выделяющей два типа трансдисциплинарных наук, «фиксирующих инвариантности, позволяющие охватить классы проблем нескольких дисциплин, сначала казавшиеся гетерогенными... С одной стороны, речь идет о моделях и понятиях (находящихся в распоряжении формальных дисциплин, прежде всего, математики и логики), которые имеют дело с трансцендентальными концептами, повышающими степень интеграции научной системы, обеспечивают доступ и понимание передового научного знания... Второй тип трансдисциплинарных концептов мы встречаем в понятийных системах «структурализма» и «общей теории систем», отличающихся от формальных дисциплин тем, что они своим происхождением обязаны специфическим дисциплинарным контекстам и областям происхождения специфических феноменов (язык, организмы), которые используются как феномены-парадигмы» [Stichweh, 2013: 25].

Примечательно, что, обосновывая свой тезис, Сорокин привлекает достижения современной ему философии естествознания. Что, очевидно, противоречит самоустановленному запрету на всякое философствование. В частности, используется махова-лейбницианская идея «экономии усилий» или «экономии мышления». Сорокин прямо связывает теоретическую социологию в том числе и с мнемонической функцией. Он эксплицитно ссылается на законы Ньютона в их интерпретации Эрнстом Махом, хотя имя последнего по понятным причинам нигде не называет: «Ньютон совершил лишь переход от сил между телами конечных размеров к рассмотрению сил между бесконечно малыми частицами. Переход сопряжен с такой экономией умственной энергии», которая компенсирует неспособность памяти «удерживать каждый установленный единичный факт» и «запас наблюдений резюмируется в краткой формуле» [Сорокин, 2020: 29].

1 Сама теорема звучит так: «Если есть n видов сродных предметов, то теоретических наук, вообще теорий должно быть $n+1$; напр., при наличности 2-х видов требуется $2+1 = 3$ » т.е. «еще одна дисциплина, излагающая свойственное общему роду». [Петражицкий, 1905: 80]

Именно Махова мнемонически-техническая функция «экономия усилий» становится одним из основных алиби социологии, которая с одной стороны, претендует – в этой функции – на уникальность и автономию, а с другой стороны, как мета-наблюдающая дисциплина, «представляет» конкретные достижения и «единичные факты» других социальных наук [Сорокин, 2020: 31-32].

При этом трансдисциплинарность в исполнении Сорокина выказывает и специфичность. Ее задачи более широки. Они не сводятся к обобщению различных явлений посредством рамочного понятия взаимодействия. Особое значение придается выявлению взаимозависимостей между специальными (обобщаемыми социологией) дисциплинами: «Различные разряды явлений взаимодействия, изучаемые отдельными науками, напр., явления экономические, религиозные, правовые, эстетические и т. д., в действительной жизни не отделены друг от друга, а неразрывно связаны и влияют одни на других...Заработная плата рабочих, напр., зависит не только от отношений между спросом и предложением, но и от известных моральных идей. ... Разделение труда определенным образом связано с явлениями солидарности. ... Экономическая организация общества зависит часто от форм религиозных верований. ... Географические условия определенным образом влияют и на организацию производства, и на строй семьи, и на обычаи народа» ... Поэтому любой «специалист-экономист ... вынужден выступать как социолог, а значит не «специалист» ... И каждый специалист есть всегда и социолог» [Сорокин, 1920: 33].

Структура теоретической социологии

К важным достижениям молодого соперника Сорокина – Толкота Парсонса – принято относить то качество его теории, которое позволила связать микроуровень социологического анализа (теорию действия

в смысле Макса Вебера) с макроуровнем больших социальных систем (идею разделения общественного труда Эмиля Дюркгейма). «Именно Парсонс со всей ясностью понял, что действие нельзя отделить от системы [Luhmann, 2002: 21]. Но в «Системе социологии» Питирима Сорокина, в рамках его «социальной аналитики», эта идея была выдвинута и обоснована гораздо раньше:

«Предметом социальной аналитики является изучение строения (структуры) социального явления и его основных форм, этот отдел распадается на два основных подотдела: 1) на социальную аналитику, изучающую строение простейшего социального явления, разложение его на элементы, на систематику основных его форм) и 2) на социальную аналитику, изучающую строение сложных социальных единств, образованных путем той или иной комбинации простейших социальных явлений» [Сорокин, 1920: 38].

При этом, как мы указали выше, Сорокин не просто опережает Парсонса, он осуществил ту самую сдвигку в «системных референциях», которую позднее осуществил Никлас Луман, переходя от анализа системы действия как элементарного социального явления, в своих массивах образующего «зернистый субстрат общества», к анализу коммуникации, как элементарной формы существования общества. Так, говоря о «взаимодействии» Сорокин, на наш взгляд, ведет речь о коммуникации почти в том же смысле, как ее понимал Никлас Луман.

Структурно «взаимодействие» у Сорокина описывается ссылкой на «взаимодействующих лиц» (аналогично дистинкции *Ego/Alter Ego* у Никласа Лумана). Динамически «взаимодействие» у Сорокина распадается на последовательности «действий/раздражений» и «внутренних состояний – переживаний» (аналогично дистинкции действия/переживания Никласа Лумана).

На наш взгляд, эта структура предвосхищает те самые «конstellации атрибуций» (*Ego/Alter*; Действие/

Переживание), позволяющие – в их разных анатомических комбинациях – описывать типологию коммуникативных макросистем (политики, науки, хозяйства, религии, искусства).

Перед тем, как анализировать структуру взаимодействия Сорокина, воспроизведем в общих чертах подход Лумана к макросистемам коммуникаций. Коммуникативные системы выстраиваются из подсоединяющихся друг к другу элементов (сообщений). Это происходит путем выстраивания собственной сложности системы в процессе редукции сложности внешнего мира. Но каждая система делает это по-своему, используя уникальные смысловые бинарные коды, которые и обеспечивают «подсоединение системных операций». Так политик, как участник (Его) политической коммуникации, в рамках которой принимаются политические решения, субординирует свои действия с действиями некоторого более высокопоставленного Другого (Alter Его). Напротив, исследователь (Его), как участник научной коммуникации, удостоверяет и обосновывает свои научные сообщения, координируя свои переживания (в самом широком смысле этого слова – наблюдения, восприятия внешнего мира и т.д.) с наблюдениями и восприятиями других ученых, или обобщенного Другого (Alter Его). Это не значит, что наука состоит из «переживаний» как элементов научной коммуникации. Она лишь «стилизованна» под коммуникацию, где подсоединение сообщений обосновывается ссылками (атрибуциями) на переживания, что роднит ее с разного рода ценностной коммуникацией, основанной на интегрирующей силе апелляции к тем или иным ценностям (ценностно-спланивающим переживаниям).

В этом смысле, наука занимает верхнюю левую ячейку в таблице из четырех типовых констелляций (*Ego/Alter Ego* и действие/переживание). Каждая из этих четырех логически возможных констелляций характеризует то, как участники самых разных систем (науки, системы интимных отношений, хозяйства, искусства,

политики и т.д.) приписывают соответствующие значения своим сообщениям, обеспечивая их интеграцию в системные последовательности.

	Эго переживает	Эго действует
Другой переживает	Истина и ценности В науке переживания <i>Эго</i> (например, данные экспериментов, удостоверяющих истинность теоретических положений) должны подтверждаться переживаниями любого <i>Другого</i> . Ценности должны удостоверить общность чувств членов общества	Любовь <i>Эго</i> своими действиями пытается вызвать переживания <i>Другого</i> .
Другой действует	Деньги–Собственность, Искусство Действия <i>Другого</i> (скажем, притязания на материальные блага) не вызывают ответных действий, а спокойно переживаются <i>Эго</i> , поскольку Другой имеет право собственности или платит. Художник действует, а зритель переживает	Власть Действия <i>Другого</i> влекут действия <i>Эго</i> , если они регулируются властью. Личные переживания должны быть устранены из сферы политической и военной коммуникации

Согласно схеме, четыре возможные комбинации четырех базовых элементов (переживания/действие, Я/Другой) воспроизводятся у Лумана в соответствующих макросистемах и задает их типологию.

Это прорывная идея Лумана, связывающая структурные конституэнты элементарной коммуникации на микроуровне и специфику систем коммуникаций на макроуровне, была почти дословно предвосхищена Питиримом Сорокиным применительно к понятию взаимодействия.

«Явление взаимодействия людей дано тогда, ... когда изменение психических переживаний или внешних действий одного индивида вызывается переживаниями и внешними актами другого (других)» [Сорокин, 1920: 44]

«Игра артиста В доводит до неистовства — z-жу А»

Здесь воспроизводится элементарная структура коммуникации:

Другой действует Эго переживает.

«Декрет комиссара В, призывающий А на военную службу, и заставляет идти в комиссариат»

Здесь воспроизводится элементарная структура политической коммуникации:

Другой действует Эго действует.

И далее Сорокин сначала эксплицитно фиксирует означенные элементы или составляющие «взаимодействия»:

- 1) Наличие двух или большого числа индивидов, обуславливающих переживания и действия друг друга;
- 2) Наличие действий, посредством которых они обуславливают взаимные переживания и поступки;
- 3) Наличие проводников¹, передающих действие или раздражение актов от одного индивида к Другому;

И затем, эксплицитно фиксирует переход от элементарного уровня коммуникации взаимодействия на макроуровень общественной жизни:

«Всякий исследователь того, что называют явлениями общественной жизни, ... должен найти простейший случай их проявления, упрощенную и маленькую модель их, изучая которую, он получил бы возможность смотреть на все более сложные факты, как на комбинацию этих простейших случаев» [Сорокин, 1920: 87]

Утверждение Сорокина о том, что те или иные конstellляции переменных коммуникации («взаимодействия») задают типологию макросистем, могло бы – в случае рецепции современниками – положить начало системно-коммуникативной теории, но этого, к сожалению,

1 В выше представленной модели переменных взаимодействия Никласа Лумана, как мы видели, присутствуют еще и соответствующие «генерализирующие коммуникативные медиа» (деньги, власть, истина и т.д.), интегрирующие и придающие смыслы внутрисистемным коммуникациям (в хозяйстве, политике, науке и т.д.).

нию, не случилось. При этом Сорокин предлагает номенклатуру не только коммуникативных макросистем (экономики, искусства, религии, права, науки), но и указывает на некие «недозревшие» формы социальности, которые сегодня принято называть социальными движениями протеста [Luhmann, 1996].

«На отношения взаимодействия распадаются все социальные отношения, начиная с отношений экономических, и кончая отношениями эстетическими, религиозными, правовыми и научными. ... Разложив взаимодействия на составные части, мы разложим тем самым на части самые сложные социальные явления. ... Из комбинаций процессов взаимодействия можно соткать любое общественное явление, начиная с галдежа толпы, и кончая систематической борьбой мирового пролетариата» [Сорокин, 1920: 81]

Именно такое понимание микромикровзаимодействия наталкивает Сорокина на современную идею системно-коммуникативной социологии науки: коммуникативной интеграции – дисциплинарно-разобобщенной – науки на основании ее, с одной стороны элементарной субстратности, а с другой стороны, слоевой иерархичности. Иерархичность науки предполагает, что некоторые базовые уровни замещаются в восходящем порядке более зрелыми, с методологической и теоретической точек зрения, и в этом смысле более авторитетными дисциплинами: физикой, химией, биологией. Тогда как на верхних этажах размещаются более молодые – социология, психология и т.д. Эта иерархическая структура помогает более молодым дисциплинам опираться на уже апробированную методологию поиска их элементарных объектов (атомов, клеток) и задействовать формы социальноструктурной и ролевой организации, утвердившиеся в более зрелых науках. Вот, как Питирим Сорокин формулирует связь элементарной субстратности и иерархичности наук:

«Социолог ... должен воспользоваться опытом других наук: химии и биологии. Подобно химику, раз-

ложившему весь пестрый мир неорганической природы на атомы, подобно биологу, изучающему явления жизни на клетке, социолог должен найти своего рода «социальную клетку», исследуя которую, он тем самым получил бы знание основных свойств общественных явлений; мало того, подобно химику, объясняющему все сложные предметы и явления неорганического мира комбинацией атомов и их соединений — молекул, подобно биологу, сумевшему разложить все организмы на их составные части — клетки и рассматривающему первые, как комбинацию вторых, подобно им простейшее явление, выделяемое социологом, должно быть таково, чтобы оно давало возможность смотреть на все общественные явления, как на комбинацию подобных случаев» [Сорокин, 1920 : 78].

Эта дисциплинарно-интегративная функция «концептного трансферта» из зрелых дисциплин в становящиеся дисциплины спустя сто лет стала общим местом системнокоммуникативной социологии науки: «Иерархия наук ... есть важный фактор гомогенизации научного поля. Иерархизация дисциплин интенсифицирует обмен между дисциплинами, и ведет к тому, что трансферты техник, моделей и теорий типически осуществляется в направлении... преимущественно из hard-дисциплин в soft-дисциплины... Как правило, движение осуществляется из более в менее продвинутые дисциплины, и формальные компетенции, порожденные в одной области, получают значимость в новых дисциплинах» [Stichweh, 2013: 30]¹

1 Термин антигуманизм указывает на «радикально антигуманистический, радикально антирегиональный и радикально конструктивистский» характер коммуникативной теории [Lee, 2000: 323], устраняющей из своего предметного поля людей и их сознания, как не составляющих вышеозначенный «зернистый субстрат» общества, а образующий его «внешний мир».

Депсихологизация «внутренних состояний» и социологический «антигуманизм»

Из четырех переменных или «конstellаций атрибуции» («переживание/действие, Эго/Другой»), конститутивных для реконструкции микромакросвязей, наиболее проблематичным полюсом, особенно для позитивистски-ориентированной социальной теории, выступает «переживание» или «внутреннее состояние». Русский этап эволюции идей Сорокина принято рассматривать как позитивистский, но нам представляется, что это было бы некоторым упрощением. Его понимание «переживания» напоминает более позднюю «теорию идентичности» аналитической философии сознания Смарта и Плэйса [Smart, 1959] и функционалистской теории сознания в стиле Хилари Патнема. В частности, Сорокин обосновывает тезис, что всякое переживание так или иначе выражено внешним образом, поведенчески, действенно, а их различие есть лишь следствие интерпретации, определяемой из той или иной наблюдательной позиции. То, что самому переживающему открывается в виде квалиа, внешнему наблюдателю открывается как нейрофизиологический процесс. Переживание может быть скрыто от наблюдения, но даже и в этом случае на него может так или иначе реагировать Другой: «психический процесс и процессы в мозгах неотделимы друг от друга» [Сорокин, 1920: 48].

Сорокин рассматривает идеи Ч. Дарвина, Н. Лосского, Л. Петражицкого и их обоснования способностей акторов к интуитивной реконструкции ментальных актов собеседника как своего рода эволюционные достижения, как условие выживания и эволюционного отбора человеческого коллектива. И все-таки, солидаризируясь с Бехтеревым, он приходит к выводу о том, что «Чужое Я», как таковое, остается недоступным. Гарантий доступа не дает ни интуиционизм, ни аналогия, ни вчувствование. Как следствие, в реконструкции внутренних состояний актору приходится довольствоваться лишь

объективациями (речью, жестами и мимикой) как – относительно достоверными – выражениями внутренних состояний¹⁸.

Эта дискуссия о статусе ментальных состояний действующих («участников взаимодействий») в форме дилеммы субъективизм/объективизм, как известно, существенно повлияла на становление социологии. «Спрашивается, на чью сторону в этом споре должны мы стать? К которому из двух течений должны мы примкнуть?» [Сорокин, 1920: 63]. Предложенное им решение может пониматься в системно-коммуникативном смысле. Сорокин признает, что психические состояния сами по себе недоступны внешнему наблюдению, но в отличие от типового бихевиориста в такого рода недоступности он как раз и усматривает их релевантность для коммуникации. Ведь эта латентность, с одной стороны, провоцирует взаимодействие (= коммуникацию), а с другой стороны, делает возможным то или иное понимание действия участника взаимодействия. «... нелепо было социологу совершенно игнорировать субъективно-психическую сторону человеческой деятельности ... ведь мы «на каждом шагу ставим диагнозы; в роде таких: Х не в духе—; У что-то загрустил—, L гневается—, А в восторге—, С хочет сладкого—, Д замышляет подлость— и т. д. И наши диагнозы оправдываются ... и в большинство случаев понимаем Друг Друга... ежедневные и самые обычные факты говорят за то, что мы можем познавать чужие психические переживания на основе их внешних проявлений и чаще всего познаем правильно» [Сорокин, 1920: 68].

В приведенных примерах речь, очевидно, идет о неких типовых или функциональных состояниях (в

смысле Х. Патнема), которые задают определенные программы или алгоритмы поведения. Эти алгоритмы связывают и объясняют прошлые и будущие действия в рамках взаимодействия, делают возможных их предсказания, планирование собственного ответного поведения, обеспечивают так называемую «системную рекурсивность». Если использовать язык системно-коммуникативной теории, речь идет о социальных ожиданиях.

В этом смысле такие «психические явления как любовь, привязанность, тяжелое и неожиданное горе, ужас потери», как стандартные социальные ожидания, служат руководством к тому, как действовать в определенных случаях, где типические переживания вызывают типические действия. Эти состояния суть недостающая переменные, подстановка которых служит «ключом к декодированию» знаков и символов, данных оптически и акустически.

Так понятое «внутреннее переживание» на языке современной системно-коммуникативной теории выступает в функции выбора информации в сообщении. Понимание предложенного запроса на контакт возможно только в том случае, если через ссылку на внутреннее состояние мы поймем, как произнесенное сообщение связано с его возможными внутренне-атрибутируемыми интерпретациями. Внутренние ли состояния «Недовольства, равнодушия или импульсивности» стоят за выражением «выйди вон»? «Досаду, злость или восторг» вызывает выражение «черт побери»? – приводит Сорокин соответствующие примеры извлечения информации из сообщения. Коммуникативное понимание (= связывание посланного сообщения Другого с извлекаемой из сообщения информацией) как раз и осуществляется путем – неизменно гипотетической – реконструкции внутренних состояний – посредников между сообщением и извлечением информации или смысла.

При этом «внутреннее состояние» именно в силу своей неопределенности делает необходимым дальнейшее взаимодействие (в форме вопрошания, уточнения,

1 Примечательна ссылка Сорокина на высказывание Павлова, который «за 13 лет ни разу не воспользовался психологическим пониманием нервной деятельности для успеха дела». [Сорокин, 1920: 60] Рискнем предположить, что печально известные эксперименты Павлова над беспризорниками [Yushchenko, 1928] были со-обусловлены этим «методологическим безразличием» к «внутренним состояниям» детей.

продолжения) и одновременно выступает условием многообразия внешних выражений, т.е. свободы действий. «Нервная система, – пишет Сорокин – как ткацкий станок шьет по стандартным образцам, но на каждый импульс может давать (в зависимости от ткача) разный продукт» [Сорокин, 1920: 74].

Такого рода – априори-недостовверные, амбивалентные и неопределяемые извне – «внутренние состояния» являются предпосылками и делают возможным свободный, но при этом системно-канализированный характер взаимодействия (или коммуникации). Тем самым постулируется важнейшая либеральная идея свободной коммуникации, исключаящей случаи в форме «Профессор диктует, секретарь воспроизводит» [Сорокин, 1920: 70]. На системно-коммуникативном языке это предполагало бы однозначную определенность информации посланным сообщением, что сделало бы избыточным всякую коммуникацию и всякое понимание¹.

Эта концептуализация Сорокиным «внутренних состояний» как информационных ключей к декодированию интерпретационно стандартных и проблемных сообщений, обеспечивающих понимание в рамках взаимодействия, приводит к тем же самым «антигуманистическим» следствиям, в которых сегодня упрекают и системно-коммуникативную социологию [Schimank, 2005: 59-76] «... индивид как индивид никоим образом не может считаться микрокосмом социального макрокосма. Не может потому, что из индивида можно получить только индивида и нельзя получить ни того, что называется «обществом», ни того, что носит название «общественных явлений» ... индивид как индивид не

дает никакого основания для существования особой науки – социологии. Как физическая масса (он изучается физико-химическими науками, как организм – биологией, как обладающее сознанием или психикой существо – психологией. Социологии с индивидом делать нечего и потому она была бы излишней. Индивид не может быть искомой моделью того, что носит название общественных явлений» [Сорокин, 1920: 79].

«Проводники взаимодействия» или теория генерализированных медиа коммуникации

Идея обобщенных коммуникативных медиа – важнейшая часть системно-коммуникативной теории, являющейся результатом трансдисциплинарных заимствований достижений психологии и нейрофизиологии. Понятие медиа, которое сегодня стало обиходным, в развернутой теоретической форме концептуализировано австро-американским психологом Фрицем Хайдером (в докладе «Вещь и медиум» в 1927 году) [Heider, 2005]. В этой форме данное понимание медиа стало интегративной частью социологии Н. Лумана [Luhmann 1997: 190-413].

Сорокин развивает собственную трансдисциплинарную концепцию медиа, в которой роль транслятора отводится неким «проводникам». «Соприкосновение с рецепторами осуществляется не непосредственно, а лишь путем эманации особых сил (колебания эфира, действующие на зрительные органы, колебания воздушных волн, влияющие на органы слуха и т. д.)» [Сорокин, 1920: 84]. «Без проводников психика абсолютно не передаваема. Даже прямые физические прикосновения, посредством которых другому «передают те или иные психические переживания (напр., жесты ласки, движения угрозы, «приветливая улыбка», «поцелуй любви» и т.д.) даже они являются не прямой передачей психики, а передачей опосредствованной, передачей чрез проводники, каковыми в данном случае являются тела сопри-

1 Футуристические образы такого «некоммуникативного общения», в котором информация будет однозначным образом определяться посланным сообщением, а значит, не требовать понимания, как связывания информации с сообщением, сегодня действительно рассматриваются как возможные следствия разного рода нейрокомпьютерных интерфейсов [Backer, 2006: 37].

касающихся людей и движения их органов» [Сорокин, 1920: 116].

При этом в качестве проводника взаимодействия может выступить все, что угодно: устный язык, письмо, печать, электричество, самые разные акустические или оптические медиа. Основание их типологии заключается не в субстрате, а в сущностных параметрах или функциях, прежде всего, в специфических способах преодоления пространства и особенно времени, в оптимизации динамики общения. Как и в системно-коммуникативном подходе, Сорокин различает медиа распространения коммуникации (делающие взаимодействие более вероятным на больших расстояниях пространства-времени) и медиа коммуникативного успеха (деньги, власть, истина, вера и т.д.), обеспечивающие вероятность акцептации самых невероятных запросов на контакт в рамках макросистем коммуникации (притязаний на чужой продукт в хозяйстве, сверхсложных, скучных и непонятных формулировок в науке и т.д.).

1. Символическая функция проводников

«Люди взаимодействуют друг с другом и физически, и психически, несмотря на громадные расстояния, отделяющие их друг от друга и несмотря на громадное время, лежащее между ними». «Общаться могут живые и мертвые. Умерший своим завещанием (актом) вызывает переживания у наследников» [Сорокин, 1920: 117]. Из этого тривиального обстоятельства Сорокин выводит понятие «символического значения проводника». Между физической формой сообщения и его символическим значением (информацией) нет жесткой связи. «Лоскут красной материи — это сообщение, но то, какой смысл из него извлекают, зависит от контекста понимания: времени, сообщества, предмета» [Сорокин, 1920: 121]. Именно символический смысл медиума обеспечивает причинную связь поведения и переживаний. Каузальную роль играет не столько само первоначаль-

ное психическое состояние человека, вывесившего красный флаг, но скорее запущенные тем самым социальные ожидания, связанные с этими символами. Эти ожидания, как носители кристаллизованных смыслов, по существу, представляют собой социальные структуры, задающие определенные ответы со стороны воспринимающих лиц, т.е. не случайным образом канализируют взаимодействия.

2. Генерализирующая (социально-обобщающая) функция проводников

Проводники обобщают не только тем, что символизируют и типизируют ситуации, задавая рамки и контексты для коммуникаций; не только индексируют — как символы — информацию, содержащуюся в сообщениях (красный цвет — символизирует информацию в посылаемом сообщении). Такого рода смыслы-символы должны воспроизводиться на регулярной основе, что только и обеспечивает обобщение или интеграцию того или иного сообщества: «необходимо еще одно дополнительное условие, наличность более или менее однообразного проявления (символизирования) одних и тех же переживаний взаимодействующими индивидами, что в свою очередь дает возможность правильного, однообразного толкования этих символических раздражений каждому из них» [Сорокин, 1920: 122].

В понятии «символической воспроизводимости» Сорокин видит одно из решений проблемы социального порядка. Ни закрытость психики, ни вариативность истолкований символов и смыслов сообщений не препятствуют упорядоченности взаимодействий и поддержанию определенного социального порядка. «Понятно, что «чужая душа-потемки» — что разгадать подлинное ее переживание не так легко, а внешние символы всегда можно толковать различно, что мы и видим напр., в судебных прениях сторон. Здесь сплошь и рядом защитник и обвинитель, исходя из одних и тех же символов,

(поступков обвиняемого) рисуют совершенно противоположные картины переживаний» [Сорокин, 1920: 123]. Именно символизм и воспроизводимость (в данном случае правовой) нормы обеспечивают понимание и консенсус. Так Сорокин вплотную подходит к понятию «символических генерализирующих медиа коммуникации» – ключевому концепту современной системно-коммуникативной теории.

Дифференциации форм взаимодействия в зависимости от формы медиа

Представляется, что предложенное Сорокиным понятие проводников, по меньшей мере, с точки зрения их функционала, почти эквивалентно понятию медиа системнокоммуникативной теории. Медиа ограничивают большие массивы реальных, потенциальных и одновременно осуществляющихся слабо связанных элементов или событий (предложений языка, массивы коммуникаций, распоряжений, платежей, истинностных высказываний, художественных актов и т.д.), которые – посредством наложения на них соответствующих форм – организуются в системные последовательности. Или словами Сорокина: «Общественная жизнь людей, взятая в целом, похожа на громадный и непрерывно циркулирующий поток слов и их сочетаний, идущих от человека к человеку, от одних к другим» [Сорокин, 1920: 127].

Чтобы эта тотальность общественных взаимодействий могла упорядочиваться и дифференцироваться в рамках обособленных микросистем, требуется редукция или упорядочивание этих массивов возможных событий с помощью тех или иных специальных «проводников» (например, акустических): «Любая встреча людей, всякий разговор между ними, любое собрание: научная лекция, политический митинг, парламентские, судебные и всякие иные заседания, религиозная проповедь, взаимодействие учителя с учениками, разговоры в

семье, на рынке и т. д. все это иллюстрации функционирования звуковых проводников и их социальной роли» [Сорокин, 1920: 128].

Современная системно-коммуникативная теория реконструирует общественное развитие как некий ответ на – случающиеся время от времени – относительно внезапные «коммуникативные катастрофы». Под ними понимаются трансформации коммуникативных медиа распространения информации. Эволюция этих медиа предстает как выстраивание и перестраивания все более сложных иерархий. Так, задействование акустических медиа коммуникаций (звуковое распространение и устно-языковая вербализация смыслов) дополняют функционал оптических медиа (свет как «передатчик» взаимовосприятий и основа для языка жестов). Письменность меняет правовые, политические, экономические основы коммуникации, но затем, в свою очередь, дополняется еще более «революционными» коммуникативными медиа: печатью, телекоммуникацией, компьютерным обменом сообщениями и т.д.). Экспансия новых медиа рассматривается в этой теории как решение определенной интеграционной задачи – минимизации предшествующих конфликтов, что не исключает генерирования новых. Одна из таких «коммуникативных катастроф» была связана с появлением новых оптических медиа, т.е. письменности, «взорвавшей древний мир секретов и табу». Другая катастрофа была спровоцирована книгопечатанием, повлекшим религиозные войны и социальные революции [Baescker, 2006: 11]¹).

Письменность и печать, по мнению Лумана, позволили нейтрализовать конфликтогенерирующей по-

1 «Письменность взрывает мир этих табу, делая морализацию чем-то очевидным и тем самым обеспечивая ее обособления, всегда с учетом того, от кого приходят сообщения. ... Печать стала следующей катастрофой, ведь теперь тексты стало возможным сравнивать друг с другом, а значит – систематически критиковать – благодаря их воспроизводству, так что «критика» в большей чем когда-либо степени становится новой формой эвристики».

тенциал акустических медиа, т.е. устного языка. Этот конфликтный потенциал был связан с тем, что по мере развития языка и перехода от «картинных» (конкретных, аналоговых) презентаций реальности к более абстрактной (последовательно-временной) вербализации сообщений кристаллизовались и соответствующие возможности социальной динамики. С одной стороны, новые ресурсы языка (временные формы глаголов и т.д.) позволили описывать процессы и изменения, с другой стороны, сама пропозициональная форма предложения предоставляла возможность его отрицания, а значит, отклонять предложенные запросы на контакты [Luhmann, 1997: 205-291] Сорокин развивает свою концепцию «проводников» именно в этом русле. Акустические проводники родовых обществ обеспечивали трансляцию аналоговых («картинных») образов, которые дает богатую элементами статическую картину восприятия, но не описывают процессы изменения. Слова выражают константные явления и в этом смысле отождествляются с вещами. Все трудности трансформации взаимодействий связываются с этим обстоятельством.

«Языки низших обществ всегда выражают их идеи объектов и действий так, как эти предметы и события воспринимаются глазами и органами слуха; ... здесь нет слов и жестов для выражения идей и переживаний абстрактных, а есть слова и жесты только для передачи абсолютно-конкретных, единичных вещей и событий; отсюда—богатство первобытного языка существительными, предлогами и глаголами; язык представляет картинное воспроизведение, как бы рисунок, предмета или события» [Сорокин, 1920: 172].

Одновременность актов восприятия и их устных вербализаций в родовых обществах обеспечивали консенсус, поскольку жизненные миры взаимодействующих индивидов существенно не различались. Конкретность языка не позволяла выходить за пределы конкретных восприятий окружающего мира здесь и сейчас. В отношении конститuent «взаимодействия»

это означало следующее: идентичность содержаний переживаний (внутренних состояний) и вербальных выражений обеспечивали схожесть Эго и Другого, предметов и символов, переживаний и действий (в том числе, действий-сообщений). Другими словами, примитивные языки небольших сообществ обеспечивали взаимную уверенность соплеменников в том, что некоторый Другой говорит и действует в соответствии с тем, что он думает и переживает, что и обеспечивало согласие и социальный порядок. Новый – оптический – медиум («свето-цветовые проводники» в терминах Сорокина) делают возможным различие предмета и его вербального представления. Иначе говоря, в письменном языке слова становятся абстракциями, переменными, не связанными с конкретным восприятием. В итоге, помимо возможности утаивания намерений появилась возможность более свободного обращения со словами как переменными естественного языка. В письменных описаниях появляется возможность вербального моделирования реальности отдельно от самой реальности, апробирования комбинаций слов без комбинирования предметов.

С возрастанiem сложности общества и глобализации пространства, занимаемого одним сообществом, устный язык, прежде конкретно, детально и узнаваемо для каждого описывавший мир, очевидно, утрачивает функцию социальной интеграции. Именно письменность во всех ее производных (письменное право, письменные распоряжения власти, художественные и научные тексты, деньги), компенсирует этот дефицит интеграции и связывает сообщество на огромных пространствах. Хранилищами оптических медиа («световых проводников» в терминах Сорокина) и средством аккумуляции социальной памяти (и в этом смысле важнейшей культурно-исторической вехой, в долгосрочной перспективе обеспечивающей «взаимодействия» в пространственно-временном континууме) становятся

библиотеки. С их помощью выкристаллизовались медиа коммуникативного успеха, сделавшие возможными новые типы невероятных взаимодействий или коммуникаций. Эту выдающуюся социально-интегративную роль оптических проводников и библиотек, как их хранилищ, фиксирует Сорокин. «Всякая библиотека с этой точки зрения может рассматриваться, как огромнейшая, сложнейшая телефонная станция, в которой, посредством книг, ежедневно сотни людей «соединяются—е множеством авторов, живых и мертвых, и неслышно ведут между собою беседу» [Сорокин, 1920: 130].

Сто лет спустя эта идея оптического медиа как условия кристаллизации современного системно-дифференцированного общества становится общепринятой. «Гарантии стабильности общества печати уже не могут обеспечиваться семьями и региональным своеобразием. Ни династии, ни границы территорий уже не могут сдерживать этот тип беспокойства и неустойчивости. На их место (конечно, не делая их избыточными) заступают, согласно Луману, библиотеки и функциональные системы. Библиотекари создают рубрики, в рамках которых политика распознает себя как политику, бизнес — как бизнес, наука — как науку, искусство — как искусство, религия как религию» [Baescker, 2006: 14].

Письменность (как и в целом оптические медиа или «световые проводники») меняет структуру социального времени и выводит взаимодействия за пределы ограниченной жизни человека и его индивидуальной памяти. Возникает феномен «телекоммуникации» в самом широком смысле, в которой участниками коммуникации становятся тексты (т.е. сами коммуникации), а люди — со всеми их пространственно-временными ограничениями становятся всего лишь «контактными звеньями цепи проводников» (Сорокин), обеспечивают телепередачу текстов-коммуникаций по этим звеньям.

Новые медиа распространения коммуникации (письменность, печать, телекоммуникация) оказывают

ся важнейшими условиями кристаллизации новых медиа коммуникативного успеха (власти, истины, денег и т.д.) и в конечном счете — обособления коммуникативных систем. Эти процессы Сорокин реконструирует далее в своем труде «Система социологии». Но здесь мы вынуждены закончить реконструкцию трансдисциплинарного проекта Питирима Сорокина. Сорокину удалось предвосхитить многие идеи одной из самых влиятельных социальных теорий, зафиксировать важнейшие предпосылки кристаллизации современного коммуникативно-дифференцированного общества. Используя достижения современного ему естествознания, психологии, философии, лингвистики, эволюционной теории, он сформулировал позитивную программу системно-коммуникативного подхода к исследованию общества, которая реализовалась и тем самым верифицировалась лишь десятилетия спустя в рамках системно-коммуникативной теории Никласа Лумана. Эта программа включала в себя анализ минимального проявления общества, которое получила название «взаимодействия», а мы с полным правом можем отождествить с современным понятием коммуникации. Соответствующие конstellляции элементов этого «социального атома» задавали типологию макросистем мирового общества, а корреляции между микро и микроуровнями получили убедительное описание и обоснование. Сорокин предложил собственную теорию «медиа распространения коммуникации», которые он назвал «проводниками». Разработал типологию, описал функции и свойства символических средств и условий коммуникации, которые позднее концептуализировались как «медиа коммуникативного успеха». Приоритет Сорокина в означенных областях исследования следует восстановить, что предполагает дальнейшую работу по реконструкции его наследия с особым вниманием к российскому периоду его творчества.

Библиография (1.2):

- Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности: эмоциональная психология. СПб.: 1905. 311 с.
- Ющенко А.А. Условные рефлексы ребенка. Опыт изучения физиологии больших полушарий ребенка секреторно-двигательным методом. Госиздат. 1928 (Из лаборатории проф. Н. И. Красногорского).
- Луман Н. Медиа коммуникации / пер. с нем. А. Глухова, О. Никифорова. М.: Логос. 2005.
- Сорокин П. А. Система социологии. Петроград: Издательское товарищество «КОЛЮС». 1920.
- Baecker D., Luhmann N. Einführung in die Systemtheorie. Frankfurt: Carl-Auer-Systeme Verlag. 2002.
- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
- Jeffries V. Integralism: The promising legacy of Pitirim Sorokin // In *Lost Sociologists Rediscovered*. New York: Mellon Press. 2002. Pp. 99–135.
- Jeffries V. The scientific system of public sociology: The exemplar of Pitirim A. Sorokin's social thought // In *Handbook of Public Sociology*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 2009. Pp. 107–122.
- Uzlaner D., Stoeckl K. The legacy of Pitirim Sorokin in the transnational alliances of moral conservatives // *Journal of Classical Sociology*. 2017. 18 (2). Pp. 133–153.
- Peltonen T. Revisiting the sociological origins of organization theory: the forgotten legacy of Pitirim Sorokin // In *Origins of Organizing*. Edward Elgar Publishing. 2018.
- Buxton W. Snakes and ladders: Parsons and Sorokin at Harvard. In *Sorokin & Civilization: A Centennial Assessment*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 1996. Pp. 31–44.
- Coser L. A. *Masters of Sociological Thought*. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1977.
- Pitasi A. The Sociological Semantics of Complex Systems // *Journal of Sociological Research*. 2014. 5 (1). Pp. 203–213.
- Merton R. K., Barber E. *The Travels and Adventures of Serendipity. A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. Princeton University Press: Princeton. 2004.
- Stichweh R. *Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen*. Transcript Verlag: Germany. 2013.
- Lee D. The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann // *Sociological Theory*. 2000. 18 (2). Pp. 320–330.
- Luhmann N., Hellmann K.U. *Protest: Systemtheorie und Soziale Bewegungen*. Vol. 1256. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1996.
- Luhmann N. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. 2 Bde. 1997. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann N. *Einführung in die Systemtheorie*. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg. 2002.
- Luhmann N. *Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen*, Suhrkamp, Frankfurt. 1996.
- Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes // *Philosophical Review*. 1959. 68. Pp. 141–156.
- Baecker D. Niklas Luhmann in the Society of the Computer. In *Cybernetics & Human Knowing: A Journal of Second-Order Cybernetics, Autopoiesis, and Cyber-Semiotics*. 2006. 13. Pp. 25–40.
- Schimank U. *Luhmanns analytischer Anti-Humanismus: Eine halbierte Theorie der modernen Gesellschaft*, In *Differenzierung und Integration der modernen Gesellschaft*. Springer. 2005.
- Heider F., Baecker D. *Ding und Medium*. Kadmos Verlag. 2005.
- Stichweh R. Comparing Systems Theory and Sociological Neo-Institutionalism: Explaining Functional Differentiation. In: Holzer B., Kastner F., Werron T. (eds.) *From Globalization to World Society. Neo-Institutional and Systems-Theoretical Perspectives*. New York, NY; London: Routledge. 2015. P. 23–36.

Глава 1.3. *Критика проекта социальной онтологии Брайана Эпштейна из перспективы системно-коммуникативной теории*

Детерминация и основание социальных фактов не могут пониматься как асимметричные, поэтому обосновывается симметричный характер отношений между детерминируемым комплексным фактом и детерминирующими их онтологическими основаниями, а описывающие их суждения предлагается полагать эквивалентными. Также доказывается необходимость привлечения философско-научной методологии, ресурсов философии языка и эпистемологии для решения вопроса об обоснованности проектов «онтологической фиксации», которые авторы предлагают рассматривать как научную классификацию. Понимание онтологии социального возможно лишь при выходе за её пределы, а любые классификации могут быть идиосинкразиями отдельных классификаторов или наблюдателей, научно неравноценных и требующих эпистемологической оценки. Эпистемология позволяет судить о необходимости или, напротив, искусственности, классификации, и вопрос об онтологическом основании социального факта должен решаться по аналогии. Соответственно поиск таких онтологических оснований не возможен без предварительного разрешения эпистемологической задачи: какие классификации (фиксации) «природных» или «социальных видов» структурно-необходимы (в том смысле, что их свойства проистекают из внутренней структуры), а какие — произвольно конструируются наблюдателем, исходя из его идиосинкразии или локально-исторической, культурной или идеологической позиции.

Коллективный дух как социальный факт

Насколько реализуема сверхзадача поиска и обоснования групповых интенций (диспозиций, желаний, установок), которые бы отличались своим онтологиче-

ским и фактическим статусом от индивидуальных желаний и полаганий? Именно эту задачу ставит, на наш взгляд, Брайан Эпштейн, разрабатывая авторский проект онтологии социальных фактов, подключаясь тем самым в той или иной степени к авторитетной коллективистской социологической традиции в стиле Эмиля Дюркгейма.

Если французский социолог связывал то или иное «солидарное состояние» с материальностью или вещным характером социальных фактов, например, с коллективной обязательностью грамматики языка, но, прежде всего, с принудительностью правых доктрин [Durkheim, 1984], то Брайан Эпштейн предлагает несколько иной путь утверждения социальной онтологии коллективных состояний.

В своем стремлении демистифицировать эмпирически недоступные нам состояния «коллективного духа» (групповые интенции) он проводит свое базовое различие между некаузальной (структурной, уровневой) детерминацией и детерминацией каузальной, между структурностью и причинностью. При этом внутри каждой стороны различения проводятся дальнейшие внутренние дистинкции: между комплексными и составляющими их простыми фактами; между комплексными и составляющими их простыми причинами.

В каком-то смысле он решает ту же проблему, что и Дюркгейм, который, следуя либеральной установке, пытался совместить свободу индивида с каузальной принудительностью и необходимостью социальных фактов. В этом контексте утверждает свои онтологические дистинкции и Брайан Эпштейн. С одной стороны, групповые состояния (комплексные социальные факты типа «баскетбольная команда с собственной интенцией») существуют как бы сами по себе, независимо от породивших их причин. Ведь они конституируются внутренними элементарными состояниями, т.е. более простыми социальными фактами: индивидуальными

желаниями игроков. С другой стороны, обнаруживаются и другие социальные факты или факторы, оказывающие каузальное воздействие, но их анализ должен быть осуществлен отдельно.

Однако онтологический вопрос о структуре комплексного социального факта из конституирующих его более простых элементов не так прост. Мы не можем, например, не спросить о том, как групповая интенция («настроенность команды на победу») составляется из индивидуальных желаний членов команды; как и о том, что заставляет нас составлять факты именно так, а не иначе. Почему желание команды мы выводим из желаний игроков? Мы должны опереться на какое-то правило или обобщение (правила фиксации в смысле Эпштейна), заставляющее нас так или иначе связывать эти два разноуровневых феномена — настроенность команды и настроенность игроков.

Ведь кто-то может возразить и заявить, что групповые интенции эмерджентны, внезапны, в той или иной степени автономны от индивидуальных желаний игроков команды. И в этом случае, уже сами индивидуальные желания могут быть детерминированы групповой интенцией как их онтологическим основанием. В рамках эмерджентистского истолкования связи коллектива и индивидов уже индивидуальное желание может рассматриваться как более комплексный факт. Ведь оно составляется как из индивидуальной части, автономно генерируемой сознанием индивида, так и из интериоризованной коллективной обязательности, как это многократно формулировалось в самых разных доктринах от Фрейда (с его различием Я/Оно) до Дж. Г. Мида (с его различием I/me).

В этом смысле фиксации фактов (т.е. правила для составления комплексных фактов из более простых) сами по себе не являются онтологически укорененными в реальности, и допускают, как мы покажем ниже, очень широкие степени свободы у наблюдателя, осуществля-

ющего эту фиксацию или связывание разноуровневых (комплексных и простых) социальных фактов.

К сожалению, Эпштейн, оставаясь социологом, не выходит на более масштабный уровень анализа, не использует классические разработки философии науки, которую очень занимает проблема «онтологических» уровней в строении реальности и соответствующих научных теорий [Hesse, 1996; Harré, 1975]. Однако для анализа предельных оснований социологии привлечение ресурсов философии науки было бы бесполезным. Попробуем сделать это за Эпштейна.

Структура уровней социальных фактов – эпистемологический взгляд

Классической иллюстрацией различия теоретических уровней, на каждом из которых фиксируются онтологически различные, но супервентно связанные явления и процессы, является пример молекулярно-кинетической теории газов (МКТ). Так, на некотором глубинном микрофеноменальном уровне МКТ фиксирует онтологические основания экспериментальных термодинамических законов (Бойля, Шарля, Гей-Люсака), которые в свою очередь описывают макрофеномены (связи макрофеноменов: температуры, давления, объема).

Так, те или иные экспериментальные данные (например, так или иная температура газа) имеют своим глубинным коррелятом или онтологическим основанием (но не причиной!) соответствующую среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул этого газа.

Такая корреляция двух разноуровневых фактов фиксируется (совершенно в смысле той самой фиксации основания, по Эпштейну) в соответствующем уравнении, связывающим абсолютную температуру и среднюю кинетическую энергию молекул. Данная супервентная связь между микропараметрами объекта (средней кинетической энергией молекул) и его макрофеноменаль-

ными свойствами (температурой) очевидно не является каузальной. Ведь каузальность подразумевает взаимодействие как причину для изменения свойств. Так изменение температуры будет причинным следствием взаимодействия газа с более горячей средой и его нагревания вследствие увеличения числа столкновения молекул со стенками сосуда.

Супервентные и каузальные связи социальных фактов

Можем ли мы наложить эту схему различения микро и микроуровней на область социальной теории? В определенной степени эта работа уже была проделана социологами-классиками [Weber, 1904; Coleman, 1989]. Комплексные социальные институты или состояния (капиталистическое хозяйство, религиозная система верований, т.е. комплексные социальные факты в терминологии Эпштейна) обнаруживают свои онтологические основания на более глубоком элементарном микроуровне (на уровне индивидуальных переживаний и установок). Иллюстрацией здесь могут быть, например, описанные М. Вебером психологические установки «внутримировой аскезы» и проистекающие из неё индивидуальные действия накопительного характера.

С точки зрения М. Вебера, протестантская этика оказывает каузальное воздействие, порождая капиталистическое хозяйство. Но сама эта каузация не осуществляется и не может фиксироваться непосредственно, но требует выявления причинных взаимодействий на некотором элементарном уровне. Так, установка внутримировой аскезы (как элементарное основание в смысле Эпштейна) супервентно связано с некоторым комплексным состоянием на макроуровне (религиозной системой протестантизма).

Индивидуальное накопительное действие в свою очередь является одним из элементарных микрофеноменальных онтологических оснований комплексного макрофеномена — капиталистического хозяйства.

Причинные отношения между психологической аскетической установкой и соответствующим социальным действием на микроуровне являются онтологическими основаниями (и одновременно объясняют) причинную связь между макрофеноменами (религией и хозяйством)¹.

Возвращаясь к онтологическому тезису Эпштейна, теперь можно уточнить понятие онтологическое основания:

Основание — это редукции макроэффектов к их микроманифестациям.

Каузация — это объяснение непроясняемых (на макроуровне) причинных связей причинными взаимодействиями на глубинном элементарном уровне.

Фиксация — это обобщение (регулярность, научный или правовой закон, норма или правило), связывающая макрофеноменальные и микрофеноменальные уровни (между температурой и энергией молекул, внутримировой аскезой и религиозной системой, индивидуальными действиями и капиталистическим хозяйством).

1 В интерпретации Джеймса Коулмана [Coleman, 1989: 291-294] это макро-микрофеноменальная социальная онтология выглядит так:



В этом смысле религиозная система как комплексный социальный факт может быть «разложена» или сведена к микросостояниям, индивидуальным полаганиям, переживаниям индивидов в соответствии с религиозной доктриной; в свою очередь, такое комплексное макросостояние как капиталистическая экономика, в свою очередь, состоит из массивов индивидуальных действий накопительного характера и «онтологически основывается» на них как раз в смысле Эпштейна.

*Можно ли говорить о детерминации в отношении
комплексных и простых социальных фактах?*

Несмотря на несколько экстравагантное терминологическое облачение, речь у Эпштейна, как показано выше, идет о классических теоретических проблемах социальной теории. Неясности возникают при рассмотрении деталей, примеров и иллюстраций.

При этом сам автор концепции ключевую проблему вполне обоснованно связывает с вопросом о том, «существуют ли вообще такие групповые интенции». И понятие «онтологическая детерминация» помогает ему зафиксировать искомые и столь проблематичные субъектные свойства коллективов и групп — как непричинные, но структурные производные от элементарных и доступных эмпирической фиксации состояний (переживаний и действий индивидов).

И все-таки, эта попытка переноса простой и очевидной фактуры действий и переживаний на более абстрактный (и трудно фиксируемый эмпирически) уровень групп и коллективов посредством привлечения понятия детерминации не кажется нам удачной. Понятие детерминации, очевидно, предполагает асимметричность отношений между простыми и комплексным феноменами, между детерминирующим и детерминируемым.

С нашей же точки зрения, это противоречит дефинитивной в-себе-идентичности социального объекта, фиксируемого из двух разноуровневых перспектив наблюдения. Так, например, говорят об идентичности состояний мозга и индивидуальных переживаний в сознании [Place, 2004; Smart, 2007]: то, что во внешней наблюдательной перспективе нейрофизиолога представляется активацией нейронных ансамблей, во внутренней перспективе переживающего лица выступает в виде феноменального образа (боли, желания, восприятия и т.д.). Но сказать, что один аспект феномена, рассмотренный из одного, внешнего, ракурса наблюдения детерминирует другой аспект (в себе идентичного) феномена из

другого внутреннего ракурса, противоречило бы в этом случае асимметричному смыслу понятия детерминации.

Обратимся к примеру баскетбольной команды самого Эпштейна. На макрофеноменальном уровне команда осуществляет последовательно реализуемое рациональное поведение и действительно выглядит квази-субъектом. Так, как будто у нее есть собственные цели, желания их реализовать и понимание того, как они связаны со средствами целеосуществления. На феноменальном микроуровне это же «целевое» поведение команды реализуется в виде взаимного согласования индивидуальных целей и разделенных функций отдельных игроков. Игрок дает пас согласно своим полаганиям и желаниям, ожидая от других соответствующих действий (в соответствии с их желаниями и полаганиями).

Коллективное действие (как комплексный социальный факт) в этом смысле действительно детерминировано индивидуальными действиями. Но при этом и коллективное действие (реализующиеся как следствие специфически общих для команды ожиданий типа «если я даю пас, то ожидаю, что ты его примешь») точно также детерминирует индивидуальные действия. Такого рода (ролевые, но не только) взаимные ожидания являются социальными, а не индивидуальными, собственно, и составляют то, что называют социальной структурой.

Поэтому, на наш взгляд, вместо приписывания группам и коллективам целеполаганий, можно было бы говорить о социальных правилах, нормах, взаимных ожиданиях, которые ориентируют контингентные отношения между индивидами. В этом случае уже было бы осмысленно говорить об асимметричных детерминациях. Поскольку в этом случае можно разграничить область собственно социальных фактов (из чего бы ни выстраивать социальную онтологию — из действий или коммуникаций, образующих социальные системы), с одной стороны, и область психической реальности, с другой. Последняя понималась бы как особого рода пси-

хическая, а не социальная система, состоящая из переживаний, полаганий, желаний и иных ментальных актов, конституирующих иную онтологию.

Лингвоаналитическое понимание социальных фактов

Неудачность понятия детерминации наглядно выражается в его дальнейших уточнениях Эпштейном. В примерах с Асадом, Цезарем и Чингисханом понятие детерминации далее получает уточнение в понятиях основания и фиксации. Так, фактические действия Асада, по мнению Эпштейна, «основывают» особого типа социальный факт — «Асад является военным преступником» [Epstein, 2016: 154]. И в этом случае, речь, очевидно, идет об идентичности (лишь по видимости) двух социальных явлений: действиях Асада как бы самих по себе и действиях Асада в наблюдательной перспективе составителей соответствующих кодексов, в которых эти действия определяются как преступные.

Детерминация и в этом случае, очевидно, является симметричной, а отношения между двумя аспектами в себе идентичного явления эквивалентны. Так, интерпретация с точки зрения уголовного кодекса делает его действия преступными. Но сами его действия требуют от наблюдателей соответствующей интерпретации. В этом смысле «основание» представляется взаимным, нельзя сказать, что одно «основывает» другое, без того, чтобы второе не основывало бы первое. Мы имеем дело с дефинитивной или аналитической эквивалентностью (конечно, с точки зрения фиксирующих эту эквивалентность наблюдателей).

В сущности, речь идет об — основанном на синонимии — аналитическом суждении:

«Асад, совершающий военные преступления, является военным преступником».

В этом смысле странным выглядит утверждение, что первая часть из двух, составляющих предложение синонимов, «основывают» вторую часть этого аналити-

ческого предложения. (Как было бы странно говорить о том, что средняя кинетическая энергия молекул тела является «основанием» температуры этого тела, или — в общей форме: о том, что наблюдение из одной перспективы «основывает» наблюдение из другой перспективы, как в вышеприведенном примере с нейрофизиологом).

Как и в случае с понятием детерминации, уточняющее его понятие основания не может пониматься ассиметрично, как это представлено у Эпштейна. На наш взгляд, предложение «Асад есть военный преступник» эквивалентно суждению «Асад совершил (хотя бы одно) преступление в Сирии», ведь референтом обоих этих суждений является идентичная в себе реальность. (Собственно, об идентичности простого и комплексного фактов явно и неявно утверждает и сам Эпштейн).

Эквивалентность суждений мы понимаем в том смысле, что в случае истинности или ложности одного из суждений соответственно истинным или ложным оказывается и другое. Семантически-эквивалентные суждения имеют «общую пропозицию», хотя и представлены в разной синтаксической форме. Именно наличие такой «общей пропозиции», в свою очередь, свидетельствует о том, что речь идет об одном и том же факте, по-разному представляемую языком.

Поэтому предположение об основании одного факта на другом само представляется необоснованным.

Парадокс ассиметричной эквивалентности социальных фактов и его разрешение

Брайан Эпштейн совершенно справедливо задается вопросом об условиях оснований комплексного социального факта: «Один из вопросов о фактах, таких как x является военным преступником, это вопрос о его основаниях: в силу чего этот факт имеет место? [...] Мы можем спросить, что делает эти факты условием для того, чтобы быть военным преступником? Почему в число военных преступлений входят такие-то зверства против гражданского

населения? Почему некоторые действия против солдат противника считаются военными преступлениями, а некоторые нет? Что в мире и в нас создает условия для их являться военным преступником?» [Epstein, 2016: 157].

По утверждению Эпштейна, данные условия являются следствием соответствующих конвенций. Эти конвенции (нормы, законы, обобщения) характеризуются далее как условия фиксации социальных фактов.

В общем и целом, мы готовы с этим согласиться, но в более радикальном — конструктивистском — смысле. Социальные факты зависят от наблюдения социальных фактов и конструируются этими наблюдениями.

Впрочем, и у самого Эпштейна «условия фиксации» конституируют социальную онтологию. А значит, именно наблюдения (как способы фиксации фактов и их онтологических оснований) основывают и обосновывают социальные факты.

Это представляется нам выходом из того парадокса, который возникает, когда один более известный (со-размерный нам, эмпирически легко фиксируемый) факт делается основанием или фундаментом (и соответственно, асимметризуется) для других, труднее фиксируемых и неочевидных фактов, вопреки их почти очевидной эквивалентности.

Что обуславливает этот парадокс эквивалентности асимметричных суждений? На наш взгляд, это вызвано самой практикой последовательного формирования такого рода обобщений, а также языковыми ловушками, в которую попадают наблюдатели, осуществляющие «фиксацию оснований»

Так, в практическом плане вначале некий наблюдатель, фиксируя социальный факт некоторого преступления, формулирует гипотетическое предположение, о том, что именно Асад является военным преступником. И лишь потом начинает искать основание своих предположений, обосновывая соответствующее обобщение «Асад является военным преступником».

Здесь, на наш взгляд, мы и сталкиваемся с языковой ловушкой, которая заставляет нас второе суждение считать более общим, а значит, основанным на конкретных фактах. При этом понятие «военный преступник» рассматривается как переменная (пусть даже военное преступление было всего одно), описывающее разные факты как константы, которые пробегает данная переменная.

Именно это фактическая последовательность наблюдений создает ту самую кажущуюся асимметрию основания, где один факт, входя в множество последовательно устанавливаемых других, словно обосновывает собой некое мнимое обобщение.

Именно в этом смысле наблюдение конституирует социальную фактичность. Онтологическая неукорененность социальных фактов самих по себе, их зависимость от наблюдений (теорий, обобщений, нормативности, дистинкций, формулируемых тем или иным наблюдателем, например, кодификатором уголовного или международного права или политическим наблюдателем) становится очевидной, как только Эпштейн расширяет историческую перспективу своих иллюстраций. Рассмотрим в этом расширенном историческом контексте пример Чингисхана.

Зададимся вопросом, почему наша актуальная наблюдательная перспектива 2022 года делает Чингисхана военным преступником независимо от соглашений и конвенций, как это утверждает Эпштейн? Почему для определения социального факта «Чингисхан есть военный преступник» достаточно лишь самих событий — его зверств и расправ? Что особенного в этой нашей наблюдательной темпоральной локализации в XX или XXI веке (за исключением того, что это именно наша темпоральная локализация), чтобы она принуждала признавать ее в качестве нормативно-определяющей на все времена?

Ведь только в нашу эпоху возникает само понятие военного преступления. Задумаемся о том, как можно

было бы трактовать Чингисхана в той контрфактической ситуации, когда бы с Землей в XIV веке случилась катастрофа космического масштаба? Ведь в этом случае не возникло бы никаких соответствующих нормативных определений (военных преступлений и военных преступников). Можно было бы говорить об объективном социальном факте «Чингисхан является военным преступником», если ни в одном сознании он не считался бы таковым по самим условиям этого мысленного эксперимента? Ведь его действия считались бы относительно нормальным поведением соответствующей культуры, а не нормативно-предосудительным поведением или уголовным деянием.

Какой же выход из этой парадоксальной ситуации, когда социальная фактура определяется наблюдателем и, соответственно, в иной наблюдательной перспективе должна быть переформатированной (соответственно актуальной эпохе, культуре, этике, праву и обычаю), предлагает сам Эпштейн?

Сами так называемые фиксации он, в свою очередь, трактует как социальные факты, и этим объективирует само их наблюдение. Подобно тому, как это имеет место в физике, где осуществление наблюдения меняет (и этим определяет, овеществляет) объективные свойства объекта наблюдения: «отдельно от оснований — пишет Эпштейн — существуют факты, которые определяют условия, необходимые для того, чтобы совершенное было военным преступлением. Таковы факты соглашения, конвенции, кодекса или еще чего-либо. Этот другой набор фактов я буду называть фиксаторами» [Epstein, 2016: 157]. Попробуем разобраться, что же такое фиксации социальных фактов.

Фиксации социальных фактов как их классификации

На наш взгляд, фиксации, используя более понятное словоупотребление, можно было бы понимать в качестве классификаций тех или иных событий, прида-

ющим им ту или иную семантику. Фиксации (классификации) связывают семантически неполные, и в этом смысле еще неклассифицированные наблюдения (типа «Асад применил зарин») с другими наблюдениями, приписывающими этому факту соответствующую семантику, исходя из некоторого общего утверждения или обобщения. В данном случае таким обобщающим принципом выступает суждение: «Применение отравляющих веществ является военным преступлением».

Однако, на наш взгляд, такая объективация и фактуализация самого наблюдения (фиксаций, конвенций и т.д.) не делает наблюдаемые события объективными (независимыми от наблюдения) фактами. Так, одна фиксация конвенции (например, современная историческая интерпретация) представляет египетского фараона преступником; другая (надпись на старинной стеле, рассказывающая о том, сколько и как именно он уничтожал жителей покоренных стран) за те же самые деяния представляет его в качестве выдающейся личности. Фиксации — это исторически, культурно, нормативно определенные классификации, которые сами по себе, безусловно, могут рассматриваться как социальные факты, но не делают другие факты независимыми от их наблюдений.

Социальная онтология —

философский или социологический проект?

«Поразительно, насколько ограничен репертуар социальных фактов, которые обычно изучают теоретики. Мало спросить, что такое корпорация, или что такое социальная группа? Социальный мир включает в себя широкий спектр фактов, которые могут быть основаны удивительно разными способами», — пишет Эпштейн [Epstein, 2016: 162].

Вопрос демаркации социальных и несоциальных фактов, безусловно, важнейший в данном проблемном контексте. Но он-то и остается у Эпштейна без ответа. Разграничение области социального и внесоциального

требует некоторой внешней, скорее, философской, а не исключительно внутри-социологической интерпретации.

И здесь не обойтись без экспликации семантики базовых категорий (общества, социальности и ее форм и видов). Недостаточно ограничиваться заявлением о том, что социальный мир — это очень широкая категория, не проясняя ни содержания, ни объема означенного понятия. Как и не обойтись, претендуя на онтологические обобщения, без постановки методологических вопросов о том, в какой охватывающей реальности локализована социальная реальность; каковы элементарные манифестации самой социальной реальности (общества), составляющие элементный субстрат этой реальности (действия? коммуникации? социальные ожидания? индивиды? социальные роли или функции?); какова внутренняя структура означенных элементарных манифестаций социального?

Только в контексте этих вопросов можно было поставить вопрос об онтологии социальных фактов, соотнося их с означенными внутренними и внешними структурами социального мира. По крайней мере, так решаются онтологические вопросы в сопредельных научных дисциплинах. (Философствующие) биологи думают над тем, что такое жизнь, а потом ищут его элементарные формы, виды или элементы жизни (клетки, гены и т.д.). (Философствующие) физики ищут глубинный «зернистый субстрат» материального мира.

Насколько факты независимы от своих причин?

Онтологическая установка Эпштейна требует составления реестров онтологических оснований тех или иных комплексных фактов: «Баскетбольная команда как социальная группа» онтологически «раскладывается» на следующие основания:

1. «Баскетбольная команда существует»
2. «Баскетбольная команда состоит из определенных игроков»

3. ...

4. ... и т.д.

На наш взгляд, этот подход не совсем согласуется с общенаучной методологией интерпретации научных фактов. Ведь научные факты так или иначе зависят от глубины фокуса и разрешающей способности наблюдательных инструментов, которые применяются при их фиксации в самом широком смысле, а значит — и от причин, которые фиксируются в зависимости от детализации рассмотрения¹.

Так, пример самого Эпштейна показывает, что каждое предложение в реестре оснований онтологического факта («баскетбольная команда как группа» определяется каузальным контекстом этого факта. Основание «команда существует» не висит в воздухе, а зависит от того, кто сгенерировал это высказывание. Скажем, тренер, высказывающий это суждение и комплекующий команду, исходит из того, что «она существует» как некоторая команда здесь и сейчас и благодаря его управлению. А собственник или акционер команды, не участвующий прямо в комплектации, может иметь мнение о том, что данная команда существует лишь де-юре, а де-факто утратила командный дух и в этом смысле — больше не существует.

Впрочем, и следующее суждение из предложенного реестра онтологических оснований («команда состоит из таких-то игроков») получает свой смысл в контексте своего каузального контекста: кого-то взяли, а с кем-

1 Если мы фиксируем некий факт «перед нами окно, разбитое мячом», мы не можем определить с границами описания этого факта без формулирования причин, которые его произвели. «Окно, разбитое мячом, с разлетевшимися осколками» являлось бы одним из оснований факта «окно, разбитое мячом». Но чем детальнее мы описываем этот факт, тем больше разнообразных причин нам нужно принять во внимание. Так, если мы хотим зафиксировать детальный разлет осколков, мы должны учитывать дополнительные причины, определившие скорость и траекторию полета мяча (направление ветра, силу удара ноги, крики игроков и т.д.).

то контракт был расторгнут. Каждое уточнение данного факта, требует уточнения всего широчайшего универсума рассуждения, в данном случае включающий и тех, кого не взяли, то, по каким причинам был осуществлен отбор.

В этом смысле, реестр онтологических оснований, детальность и точность в их описании, определяется большим или меньшим множеством причинных факторов, и не может формулироваться независимо от причин. И поэтому, в разных каузальных контекстах смысл в себе идентичного высказывания будет разным. Предложение «Команда существует» в перспективе тренера как ее непосредственного создателя может быть истинным, а в перспективе лиц, опосредованно определяющих ее состав (собственника, рекламодателя, акционера, болельщика и т.д.) это утверждение представится ложным. В перспективе тренера команда существует, а в перспективе, скажем, болельщиков, давно уже нет. В общеметодологическом смысле это означает, что моделирование социального мира через поиск его онтологических оснований каждый раз должно также учитывать соответствующий реестр причин и наблюдательные перспективы, из которых осуществляется фиксация социального факта.

В данном случае, применительно к общественным установкам и ожиданиям, находит выражение некий вариант или лучше сказать коррелят тезиса Дюгема-Куайна, согласно которому различные теории (в данном случае социальные правила, конвенции, установки, правовые нормы) недоопределены фактами, которые в свою очередь оказываются теоретическим нагруженными. Социальные факты, как и любые научные факты, конструируются исходя из означенных социальных предустановок, обобщений и перспектив.

Так, историк баскетбола будет исходить из континуальной предустановки, и несмотря на смену игроков, стилей, тактик и фактического успеха или фиаско той

или иной команды, будет придерживаться континуалистского убеждения в непрерывном «существовании» данной команды (поскольку причины ее существования в его перспективе не будут связаны с ее конкретными достижениями), и значит — утверждать собственную онтологию.

Тренер соответствующей команды, напротив, свяжет «существование» определенной команды с ее конкретными успехами (как причинными факторами, с наличием «командного духа»), и будет понимать это существование дискретно, в зависимости от ее конкретных составов и фактических успехов и, не в последнюю очередь, от собственных заслуг.

В этом смысле мы не можем согласиться с тезисом Эпштейна о том, что «для моделирования социального мира поиск оснований обычно важнее, чем поиск фиксаторов». Одно без другого попросту невозможно, структура фактов неотделима от причинно-следственной структуры, которую выбирает наблюдатель, конструируя социальные факты.

*Заключение: социальная онтология:
социальные и природные виды*

Мы не разберемся с вопросом об онтологии социального, если не выйдем за ее пределы. Трудно понять, что есть социальный факт, не разобравшись с тем, что есть научный факт как таковой. Между тем, научные (и в том числе социальные) факты не могут фиксироваться без указания на то, что фиксируемое в факте событие является проявлением регулярности или обобщения (пусть даже эта регулярность в данный момент и неизвестна). Так, если температура тела имеет определенное зафиксированное значение, то исходя из начальных условий и соответствующих законов, любое идентичное тело в этих условиях должно иметь данную температуру¹.

¹ Конечно, наука фиксирует в том числе и уникальные научные факты, в том числе исторические («идеографические») или являющиеся следствиями эволюционного развития.

В этом смысле классификации (основания фиксации), как подведение фактов под обобщения, могут схватывать как «природные виды» (металлы, воду, химические элементы и т.д.), так и «социальные виды» («военных преступников», «спортивные команды»), но могут быть идиосинкразиями отдельных классификаторов [Kripke, 1982; Борхес, 2012] или наблюдателей. Эти классификации конструируют разные факты, но эти конструкции, очевидно, научно неравноценны, и должны получить эпистемологическую оценку.

Онтология не может не предваряться эпистемологическим по своей сущности вопросом об основаниях классификаций, о правилах группирования единичных фактов, о том, есть ли у этих классификаций «объективные» или необходимые основания. Применительно к социальной онтологии, это был бы вопрос о том, какие «зернистый субстрат» или «социальные виды» (по аналогии с «видами природы») лежат в основании сферы социального: массивы социальных действий, социальные группы, коммуникации, социальные роли, социальные нормы? В этом контексте именно эпистемология может судить о том, какие классификации «необходимы» (поскольку следуют из логики самих «социальных видов»), а какие искусственны, ошибочны, произвольны или экстравагантны подобно знаменитой классификации Борхеса¹.

Так, эмпирический факт «данная жидкость является водой» основывается на онтологическом основа-

Однако сам Брайан Эпштейн, очевидно, имеет в виду именно воспроизводимые факты, поскольку процедура фиксации подводит единичные события (например, «Асад совершил преступление») под обобщения и соответствующий вывод («Все, кто совершил военные преступления, суть военные преступники», «Асад совершил преступление», «Следовательно, Асад — военный преступник»). Очевидно, существуют обобщающие правила о том, что считать преступлениями, и что считать военными преступлениями.

1 Включившего в один «природный вид» животных — принадлежащих императору, забальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен и нарисованных тонкой кисточкой, издавна кажущихся мухами.

нии, что данная жидкость имеет элементарную структуру H_2O и поэтому является водой — соответствующим «природным видом». Но и вопрос об онтологическом основании социального факта должен решаться по аналогии — как вопрос о принадлежности Асада «социальному виду» «военных преступников»². Но поиск таких онтологических оснований не возможен без предварительного разрешения эпистемологической задачи: какие классификации (фиксации) «природных» или «социальных видов» структурно-необходимы, в том смысле, что их микросвойства свойства проистекают из внутренних структур, а какие — произвольно конструируются наблюдателем, исходя из его идиосинкразии или локально-исторической, культурной или идеологической позиции.

Библиография (1.3):

- Durkheim E. *Les Règles de la méthode sociologique*. Paris: Les Presses universitaires de France. 1894. (In French).
Hesse M. *Models and Analogies in Science*. Notre Dame: University of Notre Dame Press. 1966.
Harré R. *The Principles of Scientific Thinking*. London: Macmillan. 1975.
Weber M. *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*. 1904. № 20. S. 1—54; 1905. № 21. S. 1—110. (In German).
Coleman J.S. Weber and the Protestant Ethic. A Comment on Harnes. *Rationality and Society*. № 2 (1). P. 291-294. 1989.
Place U.T. *Identifying the Mind*. New York: Oxford University Press. 2004.
Smart J.J.C. *The Mind/Brain Identity Theory*. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. [First published Jan 12, 2000; substantive revision May 18, 2007]. Режим доступа: <https://plato.stanford.edu/entries/mind-identity/>
Epstein B. A Framework for Social Ontology // *Philosophy of the Social Sciences*. 2016. Vol. 46(2). P. 147-167.
Kripke S. *Wittgenstein on rules and private language: An Elementary*

2 Конечно, такая классификация является продуктом социального института и не является каким-то научным законом, но будучи однажды сформулированной и получившей intersubjective признание, она может рассматриваться социальными теоретиками по аналогии с классификацией природных видов. И вопрос принадлежности к данному социальному виду можно решить соответствующим образом.

Exposition. Cambridge (Mass.): Harvard University Press. 1982.
Борхес Х.Л. *Аналитический язык Джона Уилкинса* // Философия философии. Тексты философии. М.: Академический Проект; Фонд «Мир». 2012.

Глава 1.4. *Альтернативные проекты системно-теоретического описания общества*

Человек существо социальное. Но то, что стоит за этим описанием, в разных теоретических традициях представлено по-разному. Так, в структурно-функционалистских подходах социальность понималась как проблема социального порядка, зачастую рассматривалась в отрыве от самого человека и получала соответствующие коннотации (солидарности, интеграции, коммуникации и т.д.). В то же время «понимающая» социология, фокусирующаяся на обобщенных смыслах действий или установках индивидов, в свою очередь, проблематизировала условия возможности консенсуса и порядка, отталкиваясь от ситуации самого индивида. «Понимающие» подходы, по мнению авторов, делают возможным более широкий взгляд на проблему социального порядка, который в этом смысле не редуцируется исключительно к системным (материальным, экономическим, административным) факторам, мотивациям или ориентирами, но предполагают иные основания рационального, общественно-консенсусного поведения. Исследовательская цель – операционализация социальной природы человека через более широкое понятие консолидации и деконсолидации (связывающее системный микроуровень и индивидуальный микроуровень социального анализа), а также реконструкция суммы консолидационно значимых факторов. Так, авторы обращаются к теории рационального выбора Дж. Коулмана и Х. Эссера и соответствующему пониманию человеческой рациональности, нацеленной на максимизацию в том числе «нематериальной прибыли». При этом источники и условия нематериальной консолидации авторы связывают с аккумуляцией самых разных форм «социального капитала», обеспечивающего доверие людей к его держателям. Концепция коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса даёт авторам основания считать нематери-

альным условием социальной консолидации «публичную сферу» как пространство структурных сцеплений «жизненно-мировых» ожиданий акторов и политической системы, в своей повестке зачастую игнорирующей «недорerefлексированные темы» и «недопредставленные сообщества». Ориентируясь на теорию Э. Гидденса, авторы рассматривают в качестве методологического инструмента анализа нематериальной консолидации его концепт «двойной герменевтики». Последняя обеспечивает обмен морально-нормативными истолкованиями политических событий и решений между интеллектуалами, учеными, политиками и обычными гражданами, в свою очередь способными к «рефлексивному мониторингу» действий и решений «вышестоящих инстанций». В качестве другого условия социальной консолидации рассматриваются так называемые «экспертные системы знания», обеспечивающие социальный консенсус и стандартизирующие коммуникацию. Идеи П. Бурдьё о «социальном пространстве» дают основания считать фактором де-консолидации общества рассогласования между контрадикторными типовыми габитусами (стилями жизни, типами потребления, социальными ожиданиями) в гетерогенном социальном пространстве. В итоге, кристаллизуется комплексное и синтетическое понятие социальной консолидации, конкретизирующее абстрактное понятие социальной природы человека.

Понятие консолидации –

обоснование и семантические трудности.

Природа и механизмы социальной консолидации образуют ключевую проблему социально-философской рефлексии и при этом по-разному понимаются ведущими теоретиками. Если до середины XX века социальная консолидация рассматривалась преимущественно через «рациональную призму» [Smelser, 1962] как обусловленная оценкой людьми материальной составляющей своего жизненного порядка, то современные концепты

социальной теории, прежде всего, теория рационального выбора Дж. Коулмана и Х. Эссера, идеи коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, «двойной герменевтики» Э. Гидденса и «социального пространства» Э. Бурдьё, исследуют главным образом нематериальные условия общественной консолидации.

В рамках теоретических парадигм, исходящих из приоритета «нематериальных» факторов социальной консолидации, общество интерпретируется как многомерный и многоуровневый объект, на различных уровнях которого возможны и реализуются процессы консолидации и деконсолидации. Так, на верхнем уровне анализа общество предстает в виде множества социальных макросистем (хозяйства, политики, права, образования и т.д.). На среднем уровне эти макросистемы фрагментированы на «составляющие» их организации. На нижнем аналитическом уровне в фокусе исследовательского внимания оказываются непосредственные контакты людей, интеракции *face-to-face*, как спонтанные, так и подчиняющиеся социально-ролевым ожиданиям. Такое вертикальное деление, конечно, не исключает и традиционных, скорее горизонтальных классификаций на социальные классы, движения, устойчивые сообщества, случайно или неслучайно интегрированные группы.

Однако прежде чем замерять плотности социальных связей в рамках того или иного заданного выше уровня «социального пространства», прежде чем фиксировать ту или иную степень социального консенсуса, как это делают практикующие социологи, было бы целесообразно уточнить соответствующие понятия (социальной сплоченности, солидарности, консенсуса, интеграции, консолидации), в которых принято описывать социальные связи и которые зачастую используются нерефлексивно, интуитивно как естественно-понятные и не требующие аналитического прояснения. Такого рода понятия солидарности, интеграции, коммуникативного консенсуса и т.д., утвердившиеся рамках функцио-

листской традиции (линия Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. Лумана) имеют своим референтом те или иные формы социальности, характеризуют общество или стадии его развития, формы социальной дифференциации¹. Все перечисленные понятия, безусловно, оказываются теоретическими коннотациями категории социальности, и каждое реферирует особое отношение человека и общества. Мы, однако, оставляем «за скобками» классическую функционалистскую традицию, идущую от дюркгеймового концепта «солидарности», зиммелевской идеи «социальных форм» и «социальных кругов», и будем использовать более нейтральное и человеко-размерное понятие консолидации, тяготеющее к понимающей социологии в стиле М. Вебера, А. Шюца и Дж. Коулмана и учитывающие установки и ожидания самих индивидов. При этом мы ограничиваемся аспектом нематериальных факторов консолидации, которые мы будем анализировать в контексте так называемых гранд-теорий, что позволит рассмотреть проблему и понятие нематериальной консолидации не саму по себе или *ad hoc*, а в некоторой когерентной связи с другими понятиями и утверждениями социальной теории, и в этом смысле – как эмпирически обоснованную и претендующую на верификацию в широком контексте социальной теории в ее актуальных версиях.

Выбор методологических рамок концептуали-

1 Так, Э. Дюркгейм с помощью разработанного им понятия исторически типизирует именно общества, эволюционирующие от механической к органическому типу солидарности. Т. Парсонс использует понятие интеграции как одну из четырех функций социального действия, интегрирующее не людей, а социальные роли в рамках социальной системы, в то время как человек в его теории утрачивает единство, будучи раздробленным на адаптивную, когнитивную и социально-ролевые функции (на способности совершать манипуляции, ставить цели и социализироваться). В свою очередь, коммуникация ключевое понятие теории Н. Лумана, в свою очередь, описывает не общающихся индивидов и их установки, но образование коммуникативных систем на основе системных кодов, где индивиды-участники – как внешний мир коммуникации – как бы извне «исчисляются» принадлежность тех или иных коммуникаций к соответствующим системам.

зации всегда остаётся за исследователем, но «объяснительная сила» нематериальных факторов консолидации, на наш взгляд, более всего подтверждается в рамках теории рационального выбора Дж. Коулмана, теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, в концепциях структуриации Э. Гидденса и социального пространства П. Бурдьё.

Хотя индивиды в большинстве выбирают кооперацию, и консолидация общества является для них позитивным ориентиром, понятие консолидации вызывает семантические трудности, поскольку претендует на некую универсальность, и с трудом поддается определению, так как довольно трудно зафиксировать положения дел, которое бы противоречило этой всеобщей консолидации. Ведь даже позиция абсентизма (воздержания от публичного представления социальной позиции, от участия в общественных мероприятиях и коллективных действиях, включая «голосования»), как показал П. Бурдьё, в конечном счете неотличима от «позиции участия» в общественной жизни, т.е. является позицией «за общество», а не против [Bourdieu, 1991]. С другой стороны, и конфликтно-ориентированные позиции и высказывания, например, протесты против того или иного режима, государственного устройства или злоупотреблений тоже не могут быть представлены как антиобщественные установки [Луман, 2007].

Поэтому возникает необходимость в понятии, которое бы зафиксировало некоторое нежелательное «антиобщественное» состояние (аномии или социальной патологии в смысле Дюркгейма), без которого желательное состояние «консолидации», состояние «хорошего общества», очевидно, не имело бы смысла. Как отмечал М. Олсон, это искомое *негативное* понятие могло бы описывать самые разные социальные состояния: аномии, социальной индифферентности, социопатии, абсентизма, неприятия общественной морали, общество фрирайдеров, не желающих вносить свой вклад в создание и поддержание «коллективных благ», но поль-

зующихся ими [Olson, 1971]. Это может быть состояние поляризации или глобального раскола общества вдоль фундаментальных общественно-значимых политических или экономических альтернатив. Или, как думал Г. Зиммель, деконсолидация общества на некотором макроуровне (в «больших социальных кругах») может быть следствием чрезмерной консолидации «малых социальных кругов», чрезмерной привязанности к локальным сообществам, соседствам, общинам, локальным этническим диаспорам и т.д.

Таким антонимом к консолидации, характеризующим некое «нежелательное» положение дел, вполне может оказаться и «нормальное состояние» социальной дифференциации. В этом состоянии глобальные «социальные узы» или связи, охватывающие общество в целом и контролирующие обособившиеся коммуникативные системы (науку и религию, интимность и политику, и т.д.), оказываются избыточными. Но – парадоксальным образом – это обстоятельство как раз и минимизирует конфликты. Акторы и организации заняты своим делом в соответствии со своей ролью в организации или функцией в обособленной системе (хозяйстве, науке, образовании, религии) и дефинитивно не вмешиваются в дела других коммуникативно-обособленных систем. Состояние такого демобилизованного – и в этом смысле «нормального» – общества автономизированных коммуникаций, интеракций и организаций может оказаться гораздо более консолидирующим и консолидированным, чем состояние мобилизации, провоцируемое одной из (пусть и ведущих) социальных сил, одновременно провоцирующих раскол общества.

Прежде чем зафиксировать нематериальные факторы консолидации, нужно выяснить, что же общество понимает под *деконсолидацией*. Конечно, индивиду, находящемуся в фокусе социологического наблюдения (с точки зрения дистинкции *консолидация/деконсолидация*) определенность его собственного состояния в этой наблюдательной перспективе должно представляться на

интуитивном уровне (на уровне его «рефлексивного мониторинга действия», словами Э. Гидденса).

В рамках парадигмы, предложенной Э. Гидденсом, индивид понимает себя как успешного или неуспешного, востребованного или невостребованного, ощущающего социальный комфорт или дискомфорт, и связывает это не только с личной активностью, но и с общественной ситуацией – здорового или больного, «плохого» или «хорошего общества». Причем, для этого ему не требуется знания означенных выше тонких социологических дистинкций. Его «герменевтика первого порядка» (в интерпретации Э. Гидденса), усвоенная из массмедиа и школьной программы, дает ему достаточно понятийных ресурсов, чтобы зафиксировать собственные страхи, связываемые с текущим общественным состоянием, генерирующим те или иные угрозы для него лично и для общества в целом. Эти способности ориентироваться в своей и общественной ситуации в целом позволяют реконструировать и описать социальный алармизм, связанный с такого рода субъективными угрозами гипотетической деконсолидации. Уже на этом уровне можно выявить первичные типовые жизненно-мировые представления о деконсолидации в рамках вышеозначенных коннотаций этого концепта. Не последнее значение имеет и то, насколько эти субъективные интуиции (конечно, с точки зрения наблюдателя-социолога) действительно отражают реальные угрозы.

В этом контексте существенно то, связывают ли индивиды глобальные деконсолидирующие события (скажем, распад государства и утрату страновой идентичности как личного культурного ущерба) с ухудшением их собственного социально-экономического положения как действительной опасности, угрожающей их здоровью или самому их существованию; или же они выводят личную ситуацию за скобки личных экономических или «экзистенциальных» страхов. И именно в последнем случае оправданно говорить о нематериальных факторах деконсолидации.

Проблема степени корреляции социального алармизма с реальной опасностью, которую может наблюдать как реальность и соглашаться с ней также и метанаблюдатель (социолог, ученый, интеллеktуал), является серьезной проблемой и давно фиксируется социологами. Так, многие исследователи проблематизировали задачу изучения степени общественных опасений, переживаемых и вербализируемых как реальные, но носящих виртуальный характер. Как писал Э. Гидденс, в секулярной среде низкая вероятность высоких рисков ощущается как фортуна. Чем больше опасность, тем более контрфактичнее она является, «апокалипсис маячит впереди, но не происходит, апокалипсис сегодня это долгоиграющий сериал» [Гидденс, 2011: 272-274].

Классические подходы к проблеме нематериально-обусловленной социальной консолидации

Одной из наиболее адекватных теорий, используемых для анализа процесса социальной консолидации под влиянием нематериальных факторов, кажется *«теория рационального выбора»* Дж. Коулмана-Х. Эссера [Pähler, 2005]. Эта теория предполагает, что *рационально-мыслящие индивиды способны исчислять полезность («прибыль») собственного действия или решения (включая деятельностьную поддержку или оппозицию власти), соотнося эту «прибыль» с ущербом или издержками, которые при этом возникают* [Coleman, 1990]. В этом смысле консолидированные действия индивидов могут исчисляться как материальная или нематериальная «прибыль» (так называемые «жесткие» или «мягкие стимулы»), которой индивиды могут рационально обмениваться, извлекая в ходе такой координации и кооперации некую «добавочную стоимость» без ущерба для своих контрагентов (принцип Pareto-Superior).

В этом случае, в терминологии Х. Эссера [Esser, 1999], участвующий в коллективном (консолидированном) действии индивид это RREEMM (Resourceful,

Restricted, Evaluating, Expecting, Maximizing Man), то есть *«Креативный, но Ограниченный в знании, Оценивающий альтернативы в соответствии со своими предпочтениями, определенный социальными Ожиданиями и Максимизирующий прибыль Человек»*, который деятельностно поддерживает или отклоняет сложившиеся практики, институты, инициативы и решения власти, программы и идеологии. И в этом смысле укрепляет либо ослабляет консолидированное состояние общества, ориентируясь на материальные и нематериальные мотивы. Материальные факторы (жесткие стимулы) включают в себя (узко)утилитарные приобретения или избегание издержек, (прежде всего, максимизации собственности, денег, комфорта). Нематериальное «приобретение», есть все то, что связано со слабыми (или в другой терминологии, «мягкими») стимулами [Opp, 1994: 13] и включают в себя некие морально-значимые действия, действия альтруистического характера, а также активности, направленные на облегчение страданий или общего положения тех или иных сообществ (женщин, афроамериканцев, ЛГБТ и т.д.).

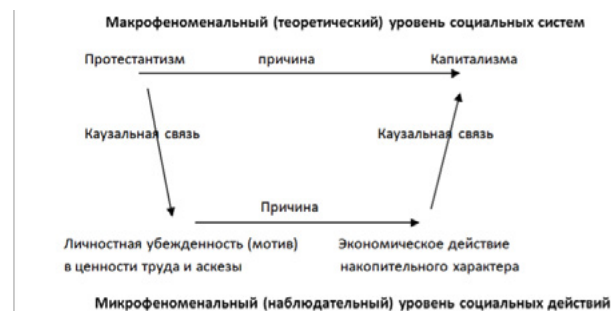
В такого рода «мягком смысле» максимизация прибыли подразумевает обретение удовлетворенности от совершенных действий «ради другого», т.е. ради сообществ, пораженных в правах, недопредставленных в представительных органах, не акцептируемых обществом в их самопонимаемой идентичности. Эти действия «ради другого» давали бы «слабые», но тем не менее ощутимые формы гратификации (общее социальное одобрение, позитивная оценка со стороны референтной группы, моральное самоудовлетворения от совершенного акта), а значит, в свою очередь должны учитываться наравне с «жестко-стимулируемыми» действиями «ради финансовой прибыли», «избежания административных и уголовных наказаний» и т.д.

Логика массовизации нематериальных факторов консолидации общества

Подход Дж. Коулмана и Х. Эссера основан на специфическом решении проблемы перепада микро и макроуровней в причинном объяснении активности индивидов. В частности, его авторы ставят два вопроса:

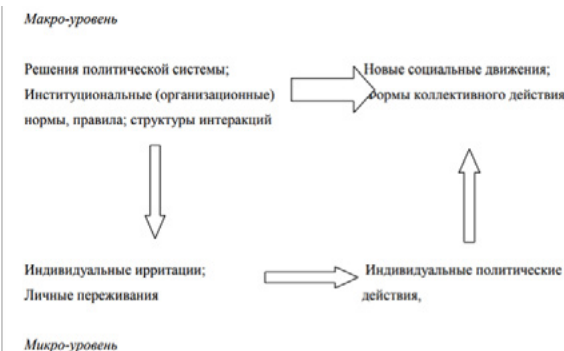
- 1) как нематериальные мотивации (которые определяют действия и решения индивидов *на микроуровне*) вызываются к жизни, интериоризируясь в сознании индивидов как ценности? Ведь они очевидно детерминированы системно, т.е. теми или иными социальными системами, институтами, глобальными идеологиями, культурой, религией, локализованными на *макроуровне* и понимаемыми как независимые от индивидуальных действий причинные факторы.
- 2) требует объяснения и процесс «омассовления» индивидуальных действий (на микроуровне), их превращение в коллективные действия и решения, что в свою очередь, вызывает обратные воздействия на *макроуровень*.

Объяснить эти связи между двумя возможностями была призвана модель «лодки Коулмана», которая связывает микроситуацию (системы, идеологии, ценностные доктрины), которые затем через оценку ситуации действителем запускают логику отбора его индивидуальных действий. «Отобранные» им действия в свою очередь подчиняются некоторой логике их массовизации, и как следствие, обратно воздействуют на макроструктуры, создавая эффекты консолидации и деконсолидации. Изображение ниже показывает, каким образом модель «лодки Коулмана» применяется им как иллюстрация причинного воздействия учения протестантизма на генезис капитализма в знаменитом труде М. Вебера [Coleman, 1989].



Каждая стрелочка на схеме указывает на тот или иной причинный тип связи (или отдельные логики) факторов на макро и микроуровнях. *Логика ситуации* связывает размышления и переживания индивида с макроусловиями, которые он вынужден учитывать (1) и затем реализовывать, выбирая (2) из тех или иных возможных собственных действий. *Логика массовизации* нематериальных факторов (3) состоит в том, что исчисленные индивидами действия (на основе критерия *полезности/издержек*) словно «накапливаются» (по аналогии с действиями экономического характера в концепте Вебера), становятся социально-ожидаемыми и, наконец, вызывают макроэффекты.

Классическая схема «лодки Коулмана», призванная визуализировать макрозависимости путем обращения к микроуровню действий и переживаний индивидов, может быть представлена в виде следующей модели:



В интерпретации Дж. Коулмана, первый микрофактор фиксирует: 1) активности политической системы, принимающей особые («судьбоносные») решения ради своего сохранения и воспроизводства (о том, как толковать «два срока подряд», «о рокировке тандема», об отмене региональных выборов, о наказаниях за неуважение к власти и т.д.); 2) институциональные правила (например, правила коммуникации в публичной сфере, разного рода права и свободы, но также и правила проведения общественных мероприятий, запреты и разрешения протестных акций, цензура СМИ, правовой режим НКО и т.д.); 3) традиционные структуры интеракции (т.е. типичные типы коммуникация в рамках традиционных сообществ (церкви, профессиональных и иных сообществах), участие в которых делает возможным организационно-оформленные прерогативы для их членов, но также и те удовлетворение и gratification, которые индивид обнаруживает в интерактивном общении с членами этих сообществ). Парадигма Дж. Коулмана предполагала, что вся эта совокупность микрофакторов каузально определяет психическую реакцию (переживание) и индивидуальное восприятие «мягких стимулов» (в этом и проявлялась редукция микросистемных реалий к мотивационной системе психики индивида). Затем, такого рода «психические состояния» каузально определяют индивидуальные «политически-ориентированные» действия, которые в свою очередь, принимая массовый характер, приводят к кристаллизации «новых социальных движений» и соответствующему коллективному протестному действию на микроуровне.

Такие микрофеномены могут проявляться как в единичных феноменах (падение рейтингов первых лиц и самих «государственных институтов», как коллективных акторов), так в институциональных сдвигах (появление новых социальных систем, например, «новых социальных движений», политического активизма, волонтерства), утверждения неолиберальных установок,

где омассовленные действия ответственных индивидов «перенимают» функции организаций и органов, способных решить общественные проблемы. Монополия институтов государственной власти на политические решения и инклюзию на макроуровне приводит к сужению возможностей самореализации для индивидов на микроуровне, формированию установки на самореализации в узких (разрешенных) сферах общественной жизни, омассовлению соответствующих действий (волонтерства, активизма), и как следствие, генерирует новые микроэффекты (*новые социальные движения* как новая коммуникативная система). В конечном счете ответственность за поддержку недопредставленных или «пораженных в правах и возможностях самореализации» сообществ, как и функции рефлексии экологических проблем и техногенных опасностей переносятся с институтов (формальных организаций, госорганов и органов власти) на индивидов, интегрированных в неформальные сообщества или движения. Новые мотивации и социальные ожидания меняются под воздействием массовой утраты доверия к институтам и приводят к поддержке институтов (в конечном счете, коммуникативных систем) нового типа (движениям).

Социальный капитал и доверие как нематериальные факторы консолидации общества

Понятие «**социального капитала**», вводимое Дж. Коулманом, включает в себя *комплекс многообразных факторов*: социальные связи, доверие, нормы и ценности, информацию, а также, особый замкнутый (а сегодня это, прежде всего, социально-сетевой) характер коммуникаций. Именно перечисленные явления можно понимать как нематериальные условия консолидации общества. Замер их значений позволяет предположить степень социальной консолидации на разных уровнях общественных иерархий.

Использование для анализа социальной консоли-

дированности понятия «социального капитала» «облегчает» понимание сути коллективных действий, которые без перечисленного выше набора условий потребовали бы затратной процедуры удостоверения надежности соучаствующих в общем деле контрагентов. Так, невозможно построить дом без того, чтобы будущие жильцы, заранее заплатившие застройщику, доверяли бы ему, ведь ему удалось заработать не только не только «материальный», но и «социальный капитал», т.е. доверие будущих клиентов. Коллективное действие невозможно без ресурса социального доверия, обеспечивающего достижение коллективных целей [Coleman, 1988: 102].

В интерпретации Дж. Коулмана, социальный капитал не является юридически обязывающим и – как хрупкая и рискованная социальная связь – консолидирует нижние и верхние уровни социальных иерархий, где последние рассчитывают на соответствующую поддержку нижних. Возникает вопрос, можем ли мы заметить *социальный капитал* правящей власти, оппозиции, основных государственных и общественных институтов? Понятие социального капитала как раз и характеризует «медиум доверия», который консолидирует общество, связывает держателей социального капитала (суммы векселей, полученных за поставленную услугу). В терминологии теории рационального выбора Дж. Коулмана социальный капитал включает в себя в том числе и некоторое число нематериальных услуг, в каком-то смысле компенсирующих дефицит *материальных* достижений власти (РСІ, комфортная среда жизни, экология, безопасность и т.д. в области которых успех не столь очевиден).

Модель Дж. Коулмана предполагает, что в обмен на обеспечение гражданам ряда нематериальных условий жизни (экология, безопасность, свобода выбора, тайна частной жизни и пр.) власть может ожидать ответной «нематериальной» лояльности, в первую очередь, в формате электоральной поддержки. В этой наблюдательной

перспективе, безусловно, не учитываются «издержки» потребителя услуг или стоимостей, предоставленных и «выплаченных» властью. Например, в этой калькуляции (по крайней мере в оптике правящих элит) очевидность «прибыли» никак не соразмеряется с ценой и значением ряда «издержек», которые приходится нести облагодетельствованным лицам. В этот список входят запреты на активное и реальное участие в политической жизни, бегство капитала и интеллекта, нерабочее состояние социальных лифтов, коррупция, клановость и монополизация экономики приближенными «группами».

Очевидно, что общественная консолидация производится лишь при условии сохранения доверия как главное условие ликвидности социального капитала. Утрата доверия (ключевого нематериального фактора консолидации) приводит к инфляции социального капитала. Граждане могут перестать «принимать к оплате» условные «векселя» (например, ожидания властью электоральной поддержки) как потерявшие валидность, причем независимо от действительной ценности оказанной властью услуги. Ведь в отличие от юридически валидных векселей договор о сотрудничестве между обществом и властью является виртуальным. Последняя почти лишена возможности прибегать к санкциям в случае объявления его ничтожным. В этом случае дефляция социального капитала будет измеряться постепенным уменьшением в общественном сознании ценности «предоставленных услуг». Будет терять в интенсивности и алармизм, связанный с перспективами все более гипотетической дезинтеграции.

*Информация – нематериальный фактор
общественной консолидации*

Информация как уникальное знание (но лишь для некоторого данного временного момента), оказывается не менее важным фактором консолидации. Но информация способна нести в себе и конфликтообра-

зующий потенциал, раскалывая общество. Так, сообщения массмедиа рассматриваются как информация (т.е. имеют содержание новизны, информируя о том, как обстоят дела «на самом деле»). В то же время они могут трактоваться как сообщения, мобилизующие против некоторой реальной или гипотетической угрозы, а значит, пониматься как выражающие не столько информационно, сколько консолидационно значимое содержание. Обладание такого рода уникальными знаниями в двух означенных ипостасях (информационном и консолидационным), в свою очередь, является средством аккумуляции социального капитала.

В интерпретации Дж. Коулмана, информационный потенциал, присущий социальным отношениям, является важной формой социального капитала. «Информация важна как основа для действий. Но получение информации стоит дорого. Как минимум, оно требует [общественного] внимания, которого всегда мало» [Coleman, 1988: 104].

Именно на этой информационной функции и специализируется реальная оппозиция (лишенная возможности аккумулировать капитал общественно-полезных решений), как бы накапливая социальный капитал, снабжая разоблачающей информацией публику, которая сама никогда бы данной информацией не овладела. Эту накопительную тактику, очевидно, использует «Фонд борьбы с коррупцией», аккумулируя заслуги (тоже своего рода «векселя»), валидность которых исчисляется в произведенных им затратах на общественно-полезную работу, которые ждут своего часа, чтобы в некоторой ситуации – например, выборах, митингах или сетевой аккламации – быть предъявлены к оплате в форме (соответствующей электоральной, протестной или сетевой) поддержки. Но теперь этот социальный капитал «облегчает коллективное действие» («providing a basis for action») другого рода. Речь идет о нематериальных факторах консолидированного протеста.

Коммуникативная замкнутость как нематериальный фактор консолидации

Последним по очередности, но не по значению, условием функционирования социального капитала и, по совместительству, нематериальным фактором общественной консолидации, выступает, согласно Дж. Коулману, **«социально-сетевая замкнутость»** («Closure of Social Networks»). Именно она обеспечивает эффективность той или иной нормативности, сплачивающей сообщество, и выступает условием наложения «внешних эффектов» на девиантов. По словам Дж. Коулмана, во многих социальных структурах, представления о социальной норме очень условны [Coleman, 1988: 108], и ожидания и оценки эффективности той или иной деятельности или идеологии лишь тогда будут обеспечивать их массовую поддержку, если они аккумулируются в сообществе через замкнутые сети. Если сеть разомкнута, «энергия возмущения», призванная санкционировать отклоняющееся поведение, уходит на разогрев окружающего воздуха, а не канализируется и не накапливается в закрытых системах и в этом смысле выражает свойства социальной энтропии.

В современном обществе эту проблему социальной энтропии решают **социальные интернет-сети**, выступающие мощнейшим нематериальным фактором социальной консолидации и деконсолидации. *Социальные сети берут на себя функцию накопителя «социального капитала»*, благодаря которому внутри сетевых групп начинается «разогрев» общественного возмущения, связанного с теми или иными внесетевыми событиями-триггерами (непопулярными решениями власти, разоблачающими нарративами), доминирующей или навязываемой сверху идеологией, цензуры и монополии на информацию, экологической ситуацией, неравенством и высокомерием элит, недорепрезентированностью сообществ и невниманием к их самоопределениям.

Общая идея теории рационального выбора состоит в том, что консолидация общества зависит от накопле-

ния социального капитала и, как следствие, консолидированных «общественных настроений» (позитивных и негативных социальных ожиданий) в том, что касается оценки обществом идеологий и политических решений. С точки зрения теории социального капитала, эти общественные настроения зависят от суммы нематериальных факторов, и, прежде всего, от:

1. Степени развитости общественных (профессиональных, корпоративных, соседских, культурных) связей;
2. Степени доверия членов общества друг другу;
3. Ценностно-нормативной убежденности. Готовности следовать и защищать социальные нормы;
4. Доступа к фактической (лучше уникальной) информации;
5. Замкнутости коммуникаций в рамках сетевых сообществ и сетевых групп, с «сечением» достаточным для циркуляции консолидационно и деконсолидационно значимой информации.

Публичная сфера как нематериальный фактор общественной консолидации

Ю. Хабермас в своей работе «Гражданское общество и политическая публичная сфера» привлекает внимание к **характеру публичного дискурса** как способа консолидировать общество вокруг общественно-значимых тематик и дискуссий. В рамках последних, по мнению Ю. Хабермаса вполне возможно достичь общественного консенсуса дискурсивными ресурсами самого языка, при условии его высвобожденного из-под влияния – в нашей терминологии – «материальных факторов» (или словами самого Хабермаса, из под власти инструментальных средств коммуникации, монетарных и административных медиа, колонизирующих жизненный мир человека).

Именно в рамках публичного дискурса должен и фактически формулируется некий «инореферентный»

запрос или обращение, адресат которого – политическая система общества. *Общественно-консолидирующая* функция публичной сферы состоит в выставлении двух ключевых требований: презентации «недопредставленных социальных групп» и тематизации «недорефлектированных социальных проблем» *общества в целом*, ускользающих из системно-определенной наблюдательной оптики обособившихся систем коммуникации (административной, экономической и др.). В этом смысле публичная сфера и гражданское общество (т.е. вся совокупность свободных ассоциаций, которые передают жизненно-мировые переживания индивидов из частного мира в публичную сферу), как раз и высвечивают проблемы (де-) консолидации общества.

По замыслу Ю. Хабермаса, политическая публичная сфера может выполнять свою функцию восприятия и тематизации социальных проблем только постольку, поскольку она развивается из общения, происходящего между теми, кто потенциально затронут актуальными проблемами. Тематизация социальных проблем производится публикой, состоящей из всех граждан. Но позиция публики по ключевым вопросам обусловлена личным опытом каждого гражданина, сформированного как внешними, так и внутренними нарушениями в различных функциональных системах. И даже «ошибками» в работе государственного аппарата, регулирующая деятельность которого плохо скоординирована. Системные недостатки воспринимаются в контексте индивидуальной истории жизни. Проблемы, представляемые как общественно значимые, становятся заметными, когда они отражаются в личном жизненном опыте [Habermas, 1996: 329-387].

Отсюда проистекает особое значение **новой повестки основных социально-значимых тематик**, коммуникативно консолидирующих на уровне *всего общества*. Ее основные пункты включают не столько борьбу за материальные блага и ресурсы, не столько вопросы рас-

пределения производимого продукта, сколько борьбу за существо обсуждаемых тематик и проблем, за временную приоритизацию в их поступательном разрешении. При этом классовая борьба (и вся «редистрибутивная проблема») утрачивает приоритетное значение, тогда как на первый план выходит «борьба за повестку, определяющая политику нового типа, в которой «игроки» (стейк-холдеры) в совместной коммуникации (ориентируясь не на инструментальную, а на коммуникативную рациональность) определяют совместное будущее путем выделения приоритетных пунктов «политической агенды», включающие именно нематериальные коммуникативные тематики.

Эти *нематериальные тематики* не рефлексированы сверху или из центра и в этом смысле не достигают порога восприятия госаппарата, больших формальных организаций, функциональных систем. Они имеют своим источником, в интерпретации Ю. Хабермаса, жизненный мир индивидов, но артикулируются публичными интеллектуалами, гражданскими активистами, радикальными представителями профессиональных сообществ. Последние создают свои «паблики» (сегодня это сетевые сообщества, форумы, гражданские инициативы, движения), на которых обсуждаются «горячие темы», и постепенно проникают в массмедиа.

Как пишет Ю. Хабермас, публичные коммуникационные структуры связаны со сферами частной жизни таким образом, что, в отличие от политического центра, они дают гражданско-социальной периферии преимущество большей чувствительности при обнаружении и идентификации новых проблемных ситуаций. Свидетельство тому, по словам Ю. Хабермаса, – важные проблемы последних десятилетий: например, нарастающая гонка ядерных вооружений заставляет общественное мнение учитывать риски, связанные с мирным использованием атомной энергии или другими крупномасштабными технологическими проектами

и научными экспериментами, такими как генная инженерия. Проблемы экологии заставляют общественное мнение учитывать экологические угрозы, связанные с чрезмерно напряженной природной средой (кислотные дожди, загрязнение воды, исчезновение видов и т. д.), а также принимать во внимание стремительно прогрессирующее обнищание стран третьего мира и проблемы мирового экономического порядка. Схожая ситуация с проблематикой феминизма, ростом иммиграции и связанной с ним проблематикой мультикультурализма. В публичный дискурс эти проблемы были «введены» не представителями государственного аппарата, или крупных организаций, но интеллектуалами, небезразличными гражданами, компетентными профессионалами, самопровозглашенными «защитниками справедливости» и т.д. Продвигаясь с этой внешней периферии общественного интереса, «тревожные вопросы» проникают в СМИ, становятся предметом интереса профессиональных и исследовательских организаций, становясь впоследствии катализаторами роста социальных движений и новых субкультур [Habermas, 1996].

Проникая в массмедийный дискурс общественно значимые – условно нематериальные – проблемы драматизируются, поднимают градус общественной дискуссии и внимания, кристаллизуя вокруг себя особые движения и субкультуры. Так, возникает влияние и агенты этого влияния (движения и субкультуры, специализированные на *нематериальных* темах), но решение этих проблем может осуществить только функциональная система политики. Ведь появление новых влиятельных агентов не отменяет того, что решения заявляемых ими проблем может осуществить исключительно политическая система общества, специализированная на постановке коллективно-обязательных целей и осуществлении коллективно-обязательных решений путем использования инструментальных медиа коммуникации – власти, государственного аппарата.

Однако главная консолидационная проблема, которую должны решить движения и субкультуры, это возможность выйти за пределы узкой тематики и проблематизации, представить свою тему – путем экстраполяции и абстрагирования – как проблему всего общества, а не узкую задачу данного движения. Не менее важно для мотивированных нематериальными проблемами движений – найти общее с другими субкультурами и движениям. В этом абстрагировании и генерализации, собственно, и состоит процесс консолидации вокруг нематериальных тематик и проблем. Сегодня этот процесс кристаллизации общих коммуникативных медиа «новых социальных движений», по-видимому, не решен [Бараш, Антоновский, 2019].

С точки зрения парадигмы Ю. Хабермаса, **влияние публично-дискурсивного** базиса нематериальных факторов на консолидации общества выражается через связь **между частными «жизненно-мировыми» проблемами**, нереализованность жизненных планов и их **рефлексией в публичной сфере**, интерпретацией индивидами, сообществами и институтами гражданского общества.

С точки зрения Ю. Хабермаса, основными «средствами продвижения нематериальных тем» в общественном дискурсе является «гражданское неповиновение» и «символическое нарушение правил», преследующее две ключевых цели. Во-первых, речь идет о фиксации фактической нелегитимности формально-легитимных решений путем апелляции к парламенту, политикам, судам с целью пересмотра тех или иных решений, путем делиберативного обсуждения данных тематик. Во-вторых, не меньшее значение имеет и апелляция к «чувству справедливости» большинства (в терминах Роулза), что сделало бы общественную консолидацию на основе включения в повестку общественно значимых тематик.

В этом контексте важно определение общественной значимости факторов, которые продвигают новую тематическую повестку и устанавливают приоритеты общественного внимания к ее пунктам: установление общественной популярности и значимости таких форм влияния на «реальную политику», как «гражданское неповиновение» и «символическое нарушение правил», подписание сетевых петиций, обращений в разного рода общественные приемные тех или политических сил и государственных органов и т.д.?

С точки зрения теории коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, «новые социальные движения» берут на себя консолидационные функции, а именно – задачу «консолидировать новые коллективные идентичности» путем наступательных и оборонительных действий. «Новые» социальные движения преследуют одновременно и наступательные, и оборонительные цели. «Наступательно» эти движения пытаются поднять вопросы, актуальные для всего общества, определить способы решения проблем, предложить возможные решения, предоставить новую информацию, по-разному интерпретировать ценности, мобилизовать веские причины и критиковать плохие. Такие инициативы призваны вызвать широкий сдвиг в общественном мнении, изменить параметры организованного формирования политической воли и оказать давление на парламенты, суды и администрации в пользу конкретной политики. В «оборонительном формате» они пытаются поддерживать существующие структуры ассоциаций и общественного влияния, создавать субкультурные контр-движения и противодействующие институты, консолидировать новые коллективные идентичности и реформировать институты [Habermas, 1996: 371].

Однако этот влиятельный сегодня коммуникативный подход, сосредоточиваясь на исключительных возможностях «чистого языка» обеспечивать дискурсивный консенсус и консолидацию путем формирования

актуальной повестки, не уделял достаточно внимания «институциональным условиям» как важнейшему нематериальному фактору консолидации. Эта задача была поставлена Энтони Гидденсом.

Двойная герменевтика как фактор общественной консолидации

В «Новых правилах социологического метода» Энтони Гидденс обращается к семантически-смысловым условиям консолидированного поведения и вводит понятие «**двойной герменевтики**» [Giddens, 1996: 192]. Обычный индивид вполне способен – на некотором базовом уровне рациональности – к «**рефлексивному мониторингу**» своих действий и использует смысловые схемы (герменевтика первого порядка), не сводящиеся к материальной калькуляции. Такое поведение обусловлено (и соответственно описывается) тремя ключевыми переменными: приписываемым *смыслом действия*, *моральной оценкой* этого действия и ориентацией на *власть*. Эти три конституэнты структурно воспроизводятся во всяком действии.

На уровне герменевтики второго порядка социологи, политики, колумнисты, публичные интеллектуалы наблюдают действующих, описывая их с помощью этих базовых переменных, но учитывают и те объяснительные структуры, те смыслы действий, на которые ориентируются сами акторы. Но и последние, в свою очередь, в процессе образования, чтения массмедийной аналитики, художественной литературы и публицистики усваивают смысловые объяснения второго порядка, и поэтому способны смотреть на себя со стороны и усваивать оптику вышерасположенных наблюдателей (политиков, социологов). Смысловые схемы циркулируют с уровня на уровень, обеспечивая тем самым минимальные *условия консолидации*, универсальную оптику для суждений о моральных основаниях и интеграции обще-

ства, о ключевых интерпретаций активности его членов, о действиях и решениях властей, о моральных и эпистемологических основаниях собственной активности.

При этом ценности и политические взгляды индивидов (lay actors) могут существенно отличаться от доминирующих идеологий. Конечно, они не всегда могут выразить собственную позицию и отношение к господствующим институтам и ценностям дискурсивно (в интерпретации Ю. Хабермаса), но они могут выражать их в *практической* жизни, поскольку дискурсивное сознание и практическая рефлексия все-таки различаются на двух уровнях двойной герменевтики. Рефлексия политической жизни не осуществляется целевым образом. Lay persons не ставят перед собой ясные цели политического участия или активизма. В то же время практическое сознание (герменевтика первого уровня) уровне предполагает «рефлексивный мониторинг» и достаточные ресурсы для принятия решения о консолидированном или деконсолидированном поведении [Giddens, 1996: 240]. Как писал Э. Гидденс, каждый компетентный актор обладает обширным, но глубоким и тонким знанием о том общества, членом которого он является. Социальное знание следует понимать с точки зрения как практического, так и дискурсивного познания [Giddens, 1996: 73].

В контексте предложенной Э. Гидденсом методологической парадигмы оправдано изучение того, ставят ли представители того или иного общества осознанные цели политического участия, стремятся ли осознанно или целевым образом разобраться в борьбе идеологий и ценностей или же в формате «фоновой рефлексии» (спорадически и эвентуально) формируют мнение об актуальных дискуссиях в политической сфере и политической ситуации, имея в виду их значение для собственной практической жизни, социальной стабильности и консолидации.

Используя вышеозначенные концепты, Э. Гидденс вводит понятие «**Структуризации**», как игрового пространства конститутивных условий действия: его смысла, нормативности и власти. Другими словами, всякое действие должно получить (в ходе его рефлексии) определенное значение в когнитивном (интерпретативном), нормативном и императивном измерении. Всякое действие способно «предложить себя» как необычную и неожиданную интерпретацию некоторых наличных структур, выступить в функции подтверждения наличной нормы или ее нарушения, при том, что и то и другое может быть использовано в целях доминирования (власть). **Власть**, в свою очередь, понимается как *произведение двух факторов, делающих возможным действие, а именно, ресурсов и правил*. Можно обеспечивать доминирующие позиции, используя ресурсы (деньги, авторитет, позицию). Но это доминирование может быть умножено или усилено в случае способности данного действующего лица устанавливать или менять те или иные правила.

В этом контексте «*нематериальными факторами консолидации*» выступают нормативные, когнитивные, императивные условия действий, которые определяют структуру сообществ, типы коммуникации, и формальных организаций, в которых доминирование осуществляется через смыслы, интерпретации, нормы морали и т.д. Правила и ресурсы, как условие доминирования (и в этом смысле, общественной консолидации) обеспечивают воспроизводство структур действия. Консолидация, собственно, и есть такое воспроизводство принципиально дуальной структуры: ее можно рассматривать в оптике институций, представляющих структуры, а стратегические планы индивидов в этом случае выносятся за скобки. Но структуры можно рассмотреть и в оптике индивидов, которые выбирают те или иные модальности для осуществления собственного действия (те или

иные интерпретации, те или иные правила, те или иные ресурсы). В этом случае уже институты выносятся за скобки. Имея в виду последний аспект, Э. Гидденс вводит и дополнительное понятие *социальной системы*. Он понимает под ней системное воспроизводство специфических действий. Социальные системы ограничивают активность индивидов, но при этом являются и источниками их активности. Таковы два – индивидуальный и институциональный – модусы воспроизводства и развития общества.

*«Абстрактные системы знания» и доверие к ним
как условие общественной консолидации*

В работе «Последствия современности» [Гидденс, 2011]. Гидденс концентрируется на **индивидуальной оптике в процессе структуризации**. Персональное доверие как форма социального капитала (см. выше в подходе Дж. Коулмана) до определенного временного выступало мощнейшим фактором групповой и отчасти общественной консолидации. Ситуация меняется с появлением так называемых «абстрактных систем знания», выступающим своего рода «партнером» индивида и в каком-то смысле замещающего человека как традиционного адресата доверительных отношений. Функцию консолидации берут на себя «**абстрактные системы**», под которыми Э. Гидденс понимает современную технику, **технизированное образование, новейшую науку, интернет-сети**. Их функция в том, чтобы разгрузить индивида от избыточного знания (географического знания, пониманий принципов работы простейших транспортных средств, знание о съедобных и ядовитых растениях и других природных опасностях), без которого прежде он не мог бы обойтись. Если индивид чего-то не знал, он мог положиться на Другого, знаниям которого он мог бы довериться. В этом состояла, по Э. Гидденсу, функция «интимности», обеспечивавшая не только доверие к самому ближайшему окружению, но – словно по правилу

транзитивности – доверие (и как следствие приверженность) к более далеким сообществам и социальному порядку в целом.

Эта функция интимности, обеспечивающая групповую и общеобщественную консолидацию, в настоящее время переживает сущностные трансформации. Сообщество утратило роль ключевого ориентира и поведенческого мотиватора, поскольку ориентация на Другого вступила в противоречие с фундаментальной постсовременной идеей самореализации (которую Э. Гидденс уточняет и конкретизирует в понятиях *самораскрытия, самоутверждения, самоисследования, самоконструирования, самоэкспериментирования* со всеми возможными типами самоидентификации). Именно это новая ориентация становится основанием для формирования новых сообществ, не исключая и сообществ, основанных на принципах альтруизма. Ведь самые альтруистичные типы активизмов, направленные на избавление других от страданий, все-таки предполагают идею самореализации своих членов на этом поприще. Именно здесь оказываются востребованными «абстрактные системы знания», формами которых становятся в том числе и массмедиа, политические партии, политические идеологии, анонимные форумы и сообщества в социальных сетях. Очевидно, что доверие к этим «экспертным системам» не обеспечивается личностными связями, длительностью совместного времяпрепровождения. Каким-то загадочным образом должна осуществиться означенная «трансформация интимности», от «непосредственного знания и доверия к другому» к «доверию абстрактным системам знания».

На пути его самореализации индивида более всего волнуют риски, способные остановить этот процесс (реестр см. у Гидденса). И именно функция нейтрализации этих рисков передаются на откуп экспертным системам знания. Однако и «жизненные миры» индивидов все еще не полностью отчуждены от «абстрактных

систем» и сохраняют с ними некие точки соприкосновения. Отношение между индивидуальными жизненными мирами и экспертными системами обеспечиваются неким *вынужденным* доверием. Политическая и экономическая экспертные системы не колонизируют жизненный мир (как это описывается в модели Ю. Хабермаса). Между ними и устанавливается отношение «двойной герменевтики», которая в этом смысле берет на себя функцию *общественной консолидации*.

Обращаясь к предложенной Э. Гидденсом методологии, можно предположить, что *идея госуслуг как фактора общественной консолидации*, имеет ключевое значение для современного общества. Представители власти делают ставку на некоторые «экспертные системы знания», по существу формы искусственного интеллекта: МФЦ, системы одного окна, цифровизацию медицины и трудовых отношений (электронные трудовые книжки и т.д.), камеры фиксации нарушений и т.д., пытаясь обосновывая это заботой о населения и рассматривая как госуслугу в прямом и переносном смысле слова. В этом контексте исследование влияния нематериальных факторов на современное общество может быть реализовано через изучение оценки гражданами деятельности госорганов по регламентации поведения путем цифрового контроля как консолидационно-значимого действия (понятие консолидации может быть интерпретировано как обеспечение общественного порядка или социального контроля).

Габитус и культурный капитал как условие общественной консолидации

Обращаясь к исследованию влияния нематериальных факторов на общественную консолидацию, Пьер Бурдьё фиксирует корреляции между политическими пристрастиями и идеологическими взглядами и соответствующими позициями действующих в структуре социального пространства [Bourdieu, 1991]. Измерения

этого пространства задаются объемами **культурного и экономического капитала**. Эти понятия П. Бурдьё вводит в качестве ключевых категорий анализа социальной проблематики.

Как пишет П. Бурдьё, социальное пространство построено таким образом, что агенты или группы распределяются в нем в соответствии с их положением, основанном на двух принципах дифференциации: экономическом и культурном капитале. Отсюда следует, что все агенты расположены в социальном пространстве таким образом, что, чем ближе они друг к другу, тем больше у них общего в этих двух измерениях, и чем дальше они друг от друга, тем меньше у них общего. Каждому классу должностей соответствует класс габитуса. Габитусы, которые являются продуктами социальной обусловленности, систематизируют и в свою очередь обуславливают выбор индивидами конкретных вещей, товаров и значимых свойств.

История и общественная жизнь «опредмечиваются» (в терминах Бурдьё) в двух модусах: **институтах** и **габитусах**. Позиции людей в социальном пространстве фиксируются и характеризуются габитусами, которые и обеспечивают общественную консолидацию или, наоборот, провоцируют конфликты. В интерпретации П. Бурдьё, **габитус** в социальном смысле, это те порождающие и объединяющие принципы, которые переводят внутренние и относительные характеристики положения индивида в практический выбор людьми образа жизни, практик, товаров и т.д.

Габитус в своем многообразном содержании (жизненные стили, установки, формы потребления и общественные восприятия и предпочтения) «оживляет» формальные институты, трансформирует их и, одновременно, приспособляется к ним. Возникает вопрос, зависит ли отношение людей к политическим институтам и их идеологиям от эмпирически многообразных типов габитуса, «оживляющего институты». Другой значимый

для практической социологии вопрос состоит в том, как представители тех или иных регионов социального пространства могут воспринимать и поддерживать специфические идеологии и политики, консолидироваться и солидаризироваться с ними, если их носители и выражители (речь идет прежде всего об элитах) демонстрируют регионально-чуждые габитусы и стили жизни. Регионально-габитуальные различия не могут не вызывать подозрения и недоверия среди маломобильного населения нашей страны, не пересекающегося (или очень редко) в физическом пространстве с представителями других регионов.

Не менее актуальной для исследования оказывается проблема того, как институты, в особенности, политические институты («оживленные» габитусами лиц, замещающих ролевые или институциональные позиции) в своем функционировании учитывают и отражают многообразие социальных габитусов представителей того или иного общества (стилей жизни, социальных ожиданий и диспозиций, типов потребления и т.д.) для того, чтобы последние могли воспроизводить собственные жизненно-мировые практики.

Таким образом используя современные достижения социальной теории, прежде всего, теорию рационального выбора Дж. Коулмана и Х. Эссера, идеи коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, «двойной герменевтики» Э. Гидденса и «социального пространства» П. Бурдьё, возможно более последовательное изучение нематериальных условий социальной консолидации в современных обществах.

Библиография (1.4):

- Бараш Р.Э., Антоновский А.Ю. Человек бунтующий, будь видимым или умри! К визуализации семантики протестно-сетевой коммуникации // *Праксема. Проблемы визуальной семиотики*. 2019. № 4 (22). С. 36-59
- Луман Н. *Введение в системную теорию* / Пер. с нем. К. Тимофеева. М.: Издательство «Логос», 2007. 360 с.
- Гидденс Э. *Последствия современности*. М.: Праксис, 2011. 352 с.

- Bourdieu P. et al. First Lecture. Social Space and Symbolic Space: Introduction to a Japanese Reading of Distinction // *Poetics Today*. 1991. Vol. 12. No. 4. P. 627–638.
- Coleman J.S. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 1990. 993p.
- Coleman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital // *The American Journal of Sociology*. 1988. Vol. 94. P. 95–120.
- Coleman J.S. Weber and the Protestant Ethic. A Comment on Hernes // *Rationality and Society*. 1989. Vol. 1. Iss. 2. P. 291–294.
- Esser H. *Soziologie: allgemeine Grundlagen* / H. Esser. 3. Aufl. Frankfurt. New York: Campus Verlag, 1999. 640 p.
- Giddens A. *New Rules of Sociological Method*. New York: Basic Books, 1976. 192 P.
- Habermas J. *Civil Society and the Public Sphere. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge. MA: MIT Press, 1996. 631p.
- Olson M. *The logic of collective action: Public Goods and the theory of Groups*. Cambridge. MA: Harvard University Press, 1971. P. 9–16.
- Opp K.-D. Der ‚Rational Choice‘-Ansatz und die Soziologie sozialer Bewegungen // *Forschungsjournal Soziale Bewegung*. 1994. Iss. 2. p. 11–26.
- Pähler M. *Rational-Choice-Theorie – Ein Einblick in die Rational-Choice-Theorie nach Coleman und Esser mit anschließender Anwendung des Themas Emotionen*. Munich: GRIN Verlag, 2005, [online]. Accessed 06.03.2021. URL: <https://www.grin.com/document/56636>
- Smelser N.J. *Theory of Collective Behavior*. London: Routledge & Paul, 1962. 436 p.

Глава 1.5. О ключевых понятиях системно-коммуникативной теории общества

Теорию коммуникативных систем Никласа Лумана [Луман, 2011; Луман, 2015; Луман, 2001; Луман, 2016] принято относить к так называемому структурно-функционалистскому подходу в социальной теории, к которому принадлежат более ранние концепции Эмиля Дюркгейма [Дюркгейм, 2006] и Талкотта Парсонса [Парсонс, 2000]. Однако в более раннем структурном функционализме основным предметом интереса и базовым социальным фактом («системной референцией») полагалось социальное действие. В процессе «разделения труда» (Э. Дюркгейм) комплексы специализированных действий, выполняя специфические, общественно значимые задачи (функции) образовывали социальные системы (политику, хозяйство, науку, религию, право и т.д.) и одновременно обеспечивали состояние «органической солидарности», что решало главную проблему социальной теории: объясняло природу социального порядка. Общество в этом смысле представало в виде некоего социального организма, органы которого могли, пусть не всегда бесконфликтно, согласовывать и упорядочивать свои операции и словно обмениваться результатами труда.

Коммуникация как социальный атом

Н. Луман, в шутку называя свой подход функциональным структурализмом, полагал необходимым поменять системную референцию, т.е. основной предмет интереса социальной теории. Теперь не действие, а коммуникация рассматривается в качестве социального атома и одновременно минимального проявления общества. С точки зрения своей внутренней структуры, коммуникация является синтезом действия (сообщения) и переживания (информации), но по своей родовой природе она предстает видом наблюдения, который могут осуществ-

влять и другие системы. Психическая (в свою очередь, смысловая и наблюдающая) система является структурно сопряженной с системой коммуникации, поскольку в каждом своем акте (слове, предложении) сопряжена с последней посредством языка, который со своей стороны системой не является, но выступает средством распространения коммуникации и одновременно выражает переживания (элементы психической системы).

Если коммуникация рассматривается как минимальное проявление общества, то само общество выступает совокупностью всех возможных коммуникаций, образующих социальные системы экономических, политических, правовых, научных, религиозных, интимных, а также коммуникаций в области искусства. Социальные системы [Луман, 2007] выступают, таким образом, как динамические последовательности коммуникаций, каждая из которых связана с предыдущей и учитывает возможности будущей, поэтому ключевое значение для выживания системы имеет вопрос ее продолжения, временное измерение коммуникации. С целью своего выживания коммуникации вынуждены образовать в себе некий ресурс, обеспечивающий такое продолжение. Этот ресурс Н. Луман называл «медиа коммуникациями» и приписывает им два главных свойства: символизировать и обобщать коммуникацию. Речь идет об особом роде абстрактных символах (власти, денег, истины, веры, любви и т.д.), которые словно сцепляют прошлые и будущие коммуникации неслучайным, т.е. осмысленным образом. Общим понятием для такого рода средств коннекции элементов системы выступает понятие смысла.

При этом смысл всякого коммуникативного сообщения должен быть определен в трехмерном пространстве, которое образуется предметным, временным и социальным измерениями. Именно в этом пространстве тому или иному сообщению можно приписывать значение, какое и определяет «подсоединение» (или отклонение) следующего события, ответа на сообщение, продолжение общения и, следовательно, образование системы.

Например, все, что студент говорит на экзамене, должно иметь смысл в отношении к предмету (экзаменационному вопросу), осуществляется в контексте некоторого прошлого (знаний, полученных прежде), некоторого будущего (продолжение образования, карьерные перспективы, успехи студента) и, конечно, зависит от особых отношений студента и его преподавателя.

Такой контекст определяет главным образом устно-интерактивную коммуникацию, характеризует систему, образующуюся между непосредственно общающимися лицами. В их рамках смысл посланных сообщений в значительной степени определяется внешним контекстом, а не только и не столько значениями (семантикой) самих произносимых слов и предложений. Студент, как правило, получает позитивный ответ на свое сообщение (положительную оценку) не только за свое предметное изложение, но и за то, что в коммуникации не было проговорено, но определено в контексте времени и коллектива, в который он включен (прошлые заслуги и его потенциал, особые отношения и т.д.).

Таким образом, предметное измерение коммуникации в интерактивных системах существенно зависит от тех значений, которое некоторое сообщение получает в социальном измерении, что, в свою очередь, обременяют возможности информационно-объективного описания ситуации и внешнего мира (обсуждаемой темы). Ведь приходится учитывать не только объективное положение дел, но и настроения, установки окружающих лиц, осуществляющий тем самым социальный контроль¹. Говорить приходится о том, что приятно и приемлемо для окружающих, а не о том, как обстоят дела на самом деле. Основной смысл такого общения состоит в интеграции сообщества, мотивировании его членов принять запрос на контакт, а не в информационных описаниях внешнего мира.

1 Эта идея системно-коммуникативной теории нашла отражение в известной теории социального контроля Харрисона Уайта [White, 2008].

Этот тип устного общения, безусловно, реализуется в современных обществах, но является характерным именно для обществ традиционного типа, организованных интерактивно. В современных же обществах коммуникация в основном осуществляется на больших расстояниях путем телекоммуникации. При этом телекоммуникация (письменная, печатная, телевизионная, интернетсетевая) предполагает передачу сообщений без перемещений тел общающихся лиц, в значительной степени исключает социальное влияние и зачастую (как, например, в социальных сетях) обращается к огромным и социально неоднородным и неопределенным массам читателей, установки, настроения, знания которых чаще всего неизвестны автору сообщения. В этой ситуации автор вынужден в большей степени обращаться к самому предмету своего описания в поисках все более любопытных предметных свойств, предположительно неизвестных большинству читателей и способных вызвать ответную реакцию и образование системы. Коммуникация приобретает информационный характер и одновременно утрачивает мотивационно-интеграционные свойства.

Понятие системы и сложность внешнего мира

Это понимание коммуникации позволяет дать предельно простое определение понятия коммуникативной системы и ее внешнего мира. Система есть последовательное и избирательное сцепление операций (элементов, коммуникативных сообщений), благодаря этому сцеплению только и отличающих себя от всего остального мира. Или проще: система есть различие системы и внешнего мира. Внешний мир системы есть все то, от чего система способна себя отличить, и одновременно то, чью превосходящую сложность (или комплексность) система способна переработать.

В этом смысле внешний мир может пониматься только как продукт системы, результат применения системой того или иного различия, некой схемы отбора

своего, внутрисистемного, и отклонения всего чужого, внешнего, системе не принадлежащего. Система наблюдает, различая себя во внешнем мире, тем самым себя обозначая¹. Итак, система есть различие между ней и ее внешним миром. В случае систем коммуникаций внешний мир конструируется в виде тем коммуникаций, а сама система репрезентирована коммуникативными вкладами ее участников, языковыми выражениями — как устными, так и письменными, печатными или электронными.

Структура коммуникативного акта

Этот тезис предполагает два очень важных вывода: во-первых, об универсальной структуре коммуникации, во-вторых, о направлении социальной эволюции. С точки зрения ее внутренней структуры коммуникация состоит из этапа (1) коммуникативного сообщения (действия) «другого», (2) его переживания некоторым Эго (информации) и (3) заключительного этапа понимания. Этап понимания заключен в оценке извлеченной информации на предмет ее адекватности (или не адекватности) сообщению. На основе этого понимания Эго принимает решение о том, принимать ли коммуникацию (отвечать на нее своим сообщением, что приводит к образованию системы коммуникаций) или отклонять ее. Коммуникация в этой связи выглядит принципиально

¹ Наблюдение есть, таким образом, одновременно осуществляющееся обозначение и отличие. Но ведь и рак не ест собственные клешни, а желудок не переваривает собственные стенки. Осуществляют ли они тем самым наблюдение? Ведь и биологический организм («живая система») осуществляет некоторые операции, делает выбор между возможными действиями, клетка делится и воспроизводится именно как клетка, а не как внешняя природа. Значит ли это, что он наблюдает уже тем, что существует, что продолжается? Эта идея наблюдения как способ существования живых систем принадлежит биологам У. Матурана и Ф. Варела [Матурана, Варела, 2001]. Н. Луман использует эту идею, но применяет ее к функционированию смысловых систем: психике и коммуникации. Живые системы, безусловно, наблюдают, но не делают это с помощью «смысла».

бинарной. Ведь смысл сообщения (т.е. информация, которую извлекает Эго) может быть двояким: либо в качестве такого смысла выступает объективная информация о внешнем мире, либо в качестве такой информации выступает само сообщение. Эго понимает, что «другой» лишь мотивирует, но не информирует Эго. В этом смысле коммуникация имеет самореференциальный характер, как бы направлена сама на себя, а не на внешний мир (инореференцию). Так, если кто-то говорит «идет дождь», информация, которую извлекает Эго, может состоять в том, что действительно идет дождь. Но он может извлечь и другую информацию, например, о том, что «другой» мотивирует¹ его остаться дома, не выходить на улицу, или просто заводит разговор о погоде, чтобы продолжить общение. Понимание одной или другой связи сообщения и информации заставляет Эго принимать или отклонять предложенный запрос на контакт.

Эволюция коммуникативных структур и общественная дифференциация

Отсюда же вытекают следствия и для некоторой теории социальной эволюции [Луман, 2005; Антоновский, 2005].

В традиционном, дописьменном обществе ключевой акцент делался на самореференциальной установке «я сообщаю, что я что-то сообщаю». Например, когда то или иное примитивное сообщество практиковало коллективный ритуал вызова дождя, эта коммуникация — явным образом — представляла как обращенная к внешнему миру, собственно атмосферному явлению, божеству, которое за него «отвечает». Однако ее латентной функцией оказывалось самообсуждение сообщества, утверждение внутренней родовой солидарности². Сообщество выживало не потому, что инореференциально регулиро-

вало атмосферные явления, а потому что неявно генерировало и утверждало собственную сплоченность за счет того, что самореференция в религиозной коммуникации словно трансформирует инореференцию.

Социальную эволюцию в этом смысле можно понимать как процесс постепенной объективации коммуникации, ее выхода из-под влияния социального окружения, обеспечивающего социальный контроль и обращение к самому предмету обсуждения. Как следствие, в процессе такой эволюции разрушался трехмерный контекст понимания коммуникативного сообщения, обеспечивающий сцепление коммуникаций друг с другом. Должны были возникнуть какие-то другие средства сцепления и образования систем в условиях отсутствия в больших сообществах общего знания о временном, предметном и социальном контексте, который обеспечивал понимание и акцептацию запросов на контакт в небольших примитивных коллективах.

Но что же тогда служит мотивацией для продолжения коммуникации в современном обществе в условиях незнания того, что известно, а что не известно участникам коммуникации? Как уже говорилось, коммуникацию движет понимание, т.е. различение между информацией и сообщением (самореферентным и инореферентными интерпретациями запроса на общение. Лишь зная общий трехмерный контекст, мы способны понять, что же имеет в виду наш собеседник, когда говорит «идет дождь».

Но все-таки социальная эволюция нашла решение. Современные дифференцированные системы коммуникации [Луман, 2007] легко справляются с проблемой принятия или отклонения предложенных запросов благодаря появлению особого рода «катализаторов общения», т.е. особых абстрактных символов, апелляция к которым делает возможным «продать» самые невероятные типы современной коммуникации. И действительно, многие формы современного общения нам пред-

1 В языкознании принято характеризовать такие речевые акты соответственно как локутивные и иллокутивные.

2 Здесь прослеживается идея явных и латентных функций Р. Мертона [Мертон, 1996].

ставляются естественными и понятными. Среди них — притязание на чужой продукт и навязывание своего (экономика); коллективно-обязательные распоряжения, которым безропотно подчиняются члены сообщества (политика); ожидание ответной любви в условиях, когда ее объектом могут оказаться сотни других претендентов; производство копий несуществующих вещей, отрицающих наличные формы мира (искусство); требования к прочтению сотен скучных текстов и проведению сотен экспериментов, завершающихся лишь в высшей степени гипотетическими и в конечном счете фальсифицируемыми гипотезами (наука).

Все эти сами по себе невероятные формы общения оформились в устойчивые и стандартизированные типы коммуникации сравнительно недавно, несмотря на то, что генерируют внутренние конфликты (полемика в науке, партийная борьба в политике, конкуренция в хозяйстве и т.д.). Должны были возникнуть особого типа социальные структуры, подкрепляющие валидность соответствующих невероятных типов общения. Эти структуры (обсуждавшиеся выше символические медиакommunikации: деньги, власть, истина, любовь, вера и т.д.), выступают триггерами соответствующих ожиданий по поводу приемлемости или неприятия коммуникаций. Так, в случае издания коллективно-обязательного распоряжения предполагается наличие асимметрии во властных уровнях, где перспектива неповиновения в большей степени неприятна на нижестоящем, нежели на вышестоящем уровне. Если кто-то выдвигает претендующую на истинность теорию, то почти автоматически запускаются соответствующие коммуникативные ответы (проверка, фальсификация, развитие и т.д.). Лишь посредством такого рода катализаторов невероятность коммуникации трансформируется в ее вероятность.

Но они могут выступить в роли функционального эквивалента отсутствующего общего знания¹ лишь в

случае, если способны компенсировать свою абстрактность реальными, телесно-укорененными механизмами. Так, власть всегда способна прибегнуть к насилию, чтобы санкционировать свои решения в случае неповиновения. Деньги значимы лишь до тех пор, пока они обеспечивают потребности тела. Любовь доказывается фактическими сексуальными отношениями. Истина обосновывается лишь посредством телесного процесса фактического восприятия данных в ходе научных экспериментов и наблюдений.

Однако не у всех коммуникативных медиа обнаружилось такого рода подкрепляющие механизмы симбиоза символического и телесно-материального. Симбиотический механизм отсутствует, например, у религиозной системы коммуникаций и всей системы коммуникаций, ориентированных на ценности. Ведь в значении (денотате) веры, ценностных значениях справедливости, красоты, равенства нельзя удостовериться, сославшись на какое-то их материально-телесное подтверждение, в котором бы равным образом было убеждено все разделяющее их сообщество. В современных условиях ценности уже не генерируют согласие, в них практически все равным образом убеждены, но любое их коммуникативное обсуждение приводит не к консенсусу, а ценностным конфликтам.

Коммуникативные медиа как способы редукции сложности внешнего мира

Основной проблемой, которую решают системы коммуникаций, является переработка заведомо более сложного внешнего мира, проблема перепада в степени сложности между ее языковыми ресурсами и тем, что является предметом обсуждения в коммуникации [Луман, 2006] [Луман, 2007]. Ведь сказать в некоторый данный момент можно лишь о чем-то не многом, причем в условиях, когда и другие постоянно требуют слова. Проблема системы коммуникаций — это проблема огра-

¹ Что обеспечивало акцептацию запросов на контакт в традиционных обществах.

ниченности ее временного ресурса в условиях внутренней сложности.

Системы осуществляют свои операции исключительно в некотором настоящем. Ее элементы словно пульсируют, вспыхивают и тут же угасают. Мы все ментально забываем, даже то, что говорили или думали полчаса назад. А если и помним, то чаще всего не вспоминаем. Прошлому не находится времени в настоящем: в распоряжении систем оказывается слишком мало времени на то, чтобы сколько-нибудь адекватно понять, отобразить, изобразить обсуждаемый в коммуникации внешний мир. Как решается эта проблема перепада сложности?

Более обстоятельно переработать внешний мир можно с привлечением более комплексных средств распространения коммуникации (письменность, печать, электронные медиа). С их помощью можно полнее реферировать сложные структуры систем во внешнем мире данной системы. Но одновременно эти медиа усложняют тот самый мир, добавляя к нему новые элементы. Как только в распоряжении коммуникации появляются техника, т.е. комплексные средства для переработки сложности мира, сложность мира возникает экспоненциально. Наблюдения (слова, тексты) и сами становятся частью мира, самореференция превращается в инореференцию, как это имело место в традиционных религиозных обществах¹. Письменность, печать создают возможности переработать огромные массивы информации из внешнего мира путем производства текстов. Но теперь эта переработанная информация сама добавляется к внешнему миру, и ее, в свою очередь, приходится перерабатывать путем прочитывания этих текстов. Разгружающая ком-

муникативная техника лишь усложняет внешний мир, который она была призвана упростить.

В этой ситуации задача коммуникации состоит не в том, чтобы отобразить мир таким, каков он есть, а обеспечить подсоединение следующей коммуникации, чтобы система не перестала существовать: например, так заинтересовать или мотивировать своего партнера, чтобы он ответил на запрос на контакт, даже если коммуникация представляется абсолютно невероятной. Парадоксальным образом система, лишь сосредоточиваясь на себе, на проблеме обеспечения своего продолжения (а вовсе не адекватного описания своего мира в ходе его коммуникативного обсуждения), одновременно способна как-то решать и проблему переработки сверхсложного внешнего мира, хотя в пределе и стремится к его полному игнорированию.

Библиография (1.5):

- Антоновский А.Ю. Эволюция: системно-конструктивистский подход // Луман Н. Эволюция. М.: 2005.
Дюркгейм Э. Социология. М.: 2006.
Луман Н. Социальные системы. СПб.: 2007.
Луман Н. Эволюция. М.: 2005.
Луман Н. Дифференциация. М.: 2007.
Луман Н. Медиа коммуникации. М.: 2006.
Луман Н. Введение в системную теорию. М.: 2007.
Матурана У. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания. М.: 2001.
White H. *Identity and Control. How social formations emerge*. N. Y.: 2008.

1 Например, в науке способы обоснования и удостоверения в истинности научного знания (самореференция) сами становятся особым методологическим знанием (инореференцией) и подробно изучаются специально отдифференцировавшимися для этого научными дисциплинами (эпистемологией, философией науки).

Глава 1.6. К системно-коммуникативному пониманию исторической памяти¹

Методологический аппарат системно-коммуникативной теории кажется плодотворным механизмом объяснения межкультурного взаимодействия. Историческая память, как и этническая идентичность, традиционно воспринимается как фактор конфликтов и насилия, но одновременно и как составляющая демократической и институциональной стабильности государств и их экономического развития, социального доверия и электоральных предпочтений граждан. Поэтому исчерпывающее описание механизма и составляющих коммуникации, выстроенных вокруг национального прошлого или этнос-центричного взаимодействия в обществе, могло бы значительно способствовать снижению её конфликтогенного потенциала, превратив сферу межэтнической коммуникации в фактор устойчивого социального развития. Если историческая память почти не рассматривалась в парадигме системно-коммуникативной теории, то попытку интерпретировать этнос в качестве медиума коммуникации предпринимали многие учёные [Sciortino, 2000; Антоновский, 2011; Бараш, 2016].

И это не случайное: теория социальных систем как методология интерпретации общественного устройства, основанная на принципе дифференциации социума на функциональные подсистемы, позволяет определить внутренние блоки общества и взаимосвязи между ними,

1 Текст подготовлен Бараш Р.Э., канд. полит. н., вед. научн. сотр. ИС ФНИСЦ РАН, в рамках реализации Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности 2023-2025 гг. (руководитель академик РАН В.А. Тишков) в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии наук (ФНИСЦ РАН). Проект «Российское общество середины 2020-х гг.: символы прошлого, ценности настоящего, ожидания от будущего».

проясняя механизмы социального взаимодействия, обмена информацией, детерминированность тех или иных социальных событий или явлений. Так, интерпретация экономической подсистемы в рамках системно-коммуникативного анализа помещает в центр исследовательского внимания проблематику разделения труда и распределения ресурсов производства, делая любые изменения в экономической сфере производными от этих «переменных». Ключевым атрибутом политической подсистемы в рамках системно-коммуникативного подхода являются взаимоотношения по поводу распределения власти и конкуренции за неё, социальной подсистемы – социальная структура и социальные взаимоотношения и т.д. А выделение социальной подсистемы, центрированной вокруг принадлежности людей этносу, национальности или национальной традиции притязает на логически стройное объяснение персональной социокультурной идентичности, образа жизни и логики коммуникации с «Другим», позволяя, казалось бы, исчерпывающе описать социальный порядок и, соответственно, оценить вероятность тех или иных событий, обусловленных высоким энтузиазмом граждан в отношении собственной этнической идентичности. Таким образом представление в рамках системно-коммуникативного подхода этноса в качестве ресурса социальной коммуникации, столь же символически значимого, как экономика, религия или политика, наделяет его специализированными функциями поддержания устойчивости социальной системы.

В предпринимавшихся ранее попытках интерпретировать социальную коммуникацию в этнос-центричной логике этнос представлялся аутопоэтической подсистемой общества, способной к воспроизводству и самодифференциации. Что делало возможным влияние на межэтническую коммуникацию, особенно в конфликтной ситуации, когда носители этнической идентичности особенно чувствительны к идентичности [Поповкин,

2007; Рудецкий, 2011]. Однако контраргументом к такой позиции является тезис об отсутствии у этноса чётких атрибутов, постоянном изменении его значимых характеристик [Антоновский, 2011] и актуализации «этнической компоненты» в формате этнорелигиозной границы преимущественно в конфликтном модусе.

Действительно, если сопричастность человека гражданской идентичности формализована, прежде всего, через его гражданство или связь в том или ином виде с родиной¹, то четкого определения и, главное, инструментария социологического изучения этнической идентичности нет. С момента публикации книги Д. Горовица в 1985 г. «Этнические группы в конфликте» [Horowitz, 1985] среди исследователей сложился скорее условный консенсус в отношении того, какие идентичности классифицируются как этнические, а сам Д. Горовиц полагал этническую принадлежность зонтичной категорией, которая «легко охватывает группы, различающиеся по цвету кожи, языку и религии, включает в себя «племена», «расы», «национальности» и касты» [Horowitz, 1985: 53].

Сегодня нет не только единой трактовки терминов этнос, этничность, национальность, но использующие эти категории авторы часто не дают им внятного определения. Нередко предлагаемые различными исследователями базовые черты этнических групп не соотносятся друг с другом: Д. Горовиц, например, полагает основанием этнической принадлежности миф о коллективном происхождении, к которому также «привязаны» стереотипизированные национальные черты, а Дж. Хатчинсон и Э. Д. Смит определяют этническую группу сообществом людей, объединённых мифом об общей истории, одним или несколькими элементами общей культуры, связью с родиной и чувством солидарности [Hutchinson, Smith, 1996: 6], полагая ключевым элементом этниче-

ской группы представление об общности истории, а во все не происхождения или родство [Hutchinson, Smith, 1996: 35].

Другие определения квалифицируют этническую группу как более крупное, чем семья, сообщество, членство в котором определяется происхождением и наличием общепризнанной групповой истории [Fearon, Laitin, 2000]. Или как группу, члены которой сочетают обладание несколькими характеристиками: общностью происхождения и культуры, представление о родине и осознание своей принадлежности к группе с общей историей [Fearon, 2003: 7].

Бывает, что, исчерпывая перечисляя атрибуты этнической группы, исследователи квалифицируют в качестве таковой сообщество, своими чертами не соответствующее формальному определению. Д. Горовиц, к примеру, пишет, что базовым элементом этнической идентичности является представление об общем происхождении представителей некоторой группы и «некоторое понятие атрибуции, пусть и «разбавленное», и проистекающее из него сходство неотделимы от этничности» [Horowitz, 1985: 52]. Сам Д. Горовиц при этом относит к этническим группам индуистов и мусульман Индии, христиан и мусульман Ливана, креол и индийцев в Гайане и Тринидаде, у представителей которых нет мифа об общем происхождении.

Пытаясь предложить интегральное определение этнической идентичности К. Чандра [Chandra, 2006] полагает её родовым определением, включающим целый ряд социокультурных групп, участие в которых индивидов обусловлено фактом рождения в них и сопряжено с обладанием конкретными атрибутами, основанными на происхождении или же сигнализирующими о таком происхождении.

Аналитическая непрояснённости категории этнос отражается и в общественном мнении: содержание этнической идентичности, объединяющей людей одной на-

1 Тишков В. А. Старые и новые идентичности. Режим доступа: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_obrazy_rossii/starye_i_n (дата обращения 12.10.2023)

циональности, понимается не через их сопричастность какому-то единственному атрибуту, но как обладание совокупностью несколькими составляющими национальной культуры, прежде всего языка (81%), культуры (65%), традиций и обычаев (65%) [Горшков, 2022: 135-136]. Ещё около трети россиян в 2022 г. полагали, что людей одной национальности объединяет историческое прошлое (37%), религия (35%) и территория проживания (33%). Так что сопричастность людей этнической общности, некоторой национальности определяется через их культуру, а не кровное родство. Только четверть считают важным признаком близости представителей одной национальности общее происхождение (28%) и (как следствие) схожую внешность (25%). Тогда как сопричастность представителей одного этноса некоторому государству в формате общего для всех из них гражданства (21%) или ответственности за судьбу страны (14%) не кажутся значимыми. Так что общим сегодня является представление о естественности миграции и мультикультурности любого государства, а также о невозможности национальных государств.

Этническая общность понимается не как замкнутая на единственный квалифицирующий признак группа, а как сообщество, обладающее совокупностью культурных атрибутов, условно понимаемых как этнические. Что делает этнос-центричную коммуникацию открытой системой, требующей постоянного артикулирования своих базовых атрибутов и подтверждения их востребованности. Сами же атрибуты национальной культуры, выступая основанием этнос-центричной коммуникации, динамичны и в содержательном плане, и с точки зрения интенсивности их массовой распространённости. Пластичность границ этнической группы делает её открытой для новых членов, а саму этническую идентичность – крайне динамично изменяющейся системой коммуникации. Однако сочетание столь многообразных элементов этнос-центричной коммуникации, их со-

держательная изменчивость не позволяет однозначно определить социальную подсистему, консолидируемую вокруг этноса.

Таким образом, как справедливо замечает А. Антоновский, этнос как символическое средство коммуникации не имеет самостоятельных ресурсов для подтверждения своей значимости. Точнее, этнос-центричная коммуникация использует для генерации тематического взаимодействия неограниченный набор оснований общности: от общей истории и физического родства до атрибутов повседневности, что лишает этнос возможности превратиться в полноценную символическую коммуникативную систему. Из-за неопределённости атрибутов этноса обращение к этнос-центричной коммуникации обладает ограниченным консолидационным ресурсом, всякий раз локализуя возможности объединения вокруг одного из нескольких возможных оснований.

Поскольку методология системно-коммуникативного анализа Н. Лумана исходит из концепции дифференциации как механизма аутопойезиса, то есть базовой стратегии воспроизводства коммуникации внутри социальной системы через её функциональное саморазличение на подсистемы, иницирующие более ограниченные коммуникации, отсутствие чёткого медиума у этнос-центричной коммуникации не позволяет определить и основания окружающей реальности, с которой этнос-центричная коммуникация взаимодействует. Дифференциация рекурсивно воспроизводит каждую из социальных подсистем, а, соответственно, и социальную систему целиком, через её противопоставление внешнему миру и постоянное опредмечивание всё новых и новых различий между социальной системой и окружающей средой [Луман, 2005: 11]. Постоянное усложнение социальных подсистем, формирование всё новых поводов для их самоактуализации, складывание новых тематических медиумов коммуникации, является

залогом устойчивого существования подсистемы.

Полагая дифференциацию социальных подсистем и различие ими своих ключевых коммуникационных медиумов необходимым условием не только «подстройки» подсистем друг под друга, но и внутренней дифференциации, Н. Луман считал обозначение подсистемами ключевых медиумов необходимым условием их внутренней коммуникации и воспроизводства. Медиум коммуникации центрирует взаимодействие подсистем, «сцепляет» их коммуникацию по некоторой проблеме и таким образом создаёт общение и само общество. Для каждой подсистемы «медиум собирается и вновь распадается» [Луман 2005: 14] под влиянием актуализации некоторой проблемы или её разрешения, социальная ткань функционирует именно через её «сборку» вокруг тех или иных медийных тем.

Социальные подсистемы в представлении Н. Лумана функционально организованы и функционально же отдифференцированы от окружающей среды и друг от друга, что и обуславливает системную рациональность системы, её «отграниченность» от окружающей среды. Системная рациональность социальной системы позволяет ей контролировать собственное состояние, оптимизируя как собственное взаимодействие со средой, так и внутреннее «общение» составляющих подсистем, в том числе и воспроизводство внутрисистемных смыслов и дискурсов.

Априорная рациональность воспроизводящейся социальной системы гарантирует отсутствие в ней лишних элементов, а не теряющая актуальности в общественном мнении идея этничности, национальности, этнической группы и принадлежности к ней индивида и обладания на этом основании некоторыми качествами выполняет некоторую неочевидную задачу социальной дифференциации, поддерживая функциональность социума и его внутренней коммуникации. Тем более, что по мнению Н. Лумана, складывание систем происходит

не вследствие их хаотичного дискурсивного конструирования [Chia, 2000: 513], но посредством воспроизводства рекурсивно связанных между собой социальных коммуникаций и действий. Возможно, воспроизводящийся в социальной коммуникации околоэтнический дискурс, понимаемый общо и условно, на самом деле обозначает иной медиум, не прояснённый, но ощущаемый как близкий по смыслу и реализуемым функциям.

Стратегию системно-коммуникативного анализа Н. Луман использовал для объяснения социального устройства современных ему функционально дифференцированных обществ [Luhmann, 2013: 27], сменивших сословную стратификацию. В домодерновых обществах социальный статус определялся происхождением, в том числе этническим, с чем и было связано возникновение этнос-центричного дискурса описания обществ, тогда как в сообществах, о которых в своей концепции рассуждал Н. Луман, индивиды были включены сразу в несколько социальных подсистем: политику, экономику, право, меняя на протяжении жизни статус в каждой из них [Luhmann, 2013: 87]. Границы таких социальных систем ограничивались границами государств, а включённость в них граждан удостоверялась их подданством или гражданством. Однако к началу XXI в. такой порядок устройства социума изменился: государственные границы, делившие мир, утратили свою «однозначность» под влиянием как нарастающей значимости надгосударственных структур, так и интенсивной миграции, глобализации экономики, науки и медиа [Luhmann, 1982]. Но сохранение государствами атрибутов собственного суверенитета вроде правительств, национальных экономик, языковой и образовательной политик, предполагали воспроизводство, аутопоэсис политических систем, требуя уникального медиума их самоописания, однозначно отдифференцирующего ту или иную политическую систему от окружающей среды.

Политической подсистеме неслучайно отводит-

ся ключевая роль в глобальной самодифференциации обществ: если иные функциональные подсистемы современных обществ: экономика, искусство, право, наука, в концепции Н. Лумана, выстраивают глобальную тематическую коммуникацию, не ограничиваясь государственными границами, то политическая система «привязана» к конкретному государству и действует посредством национальных государственных институтов [Luhmann, 2009: 143]. Но политическая подсистема, являясь центральным ресурсом воспроизводства социальной системы, то есть государства, не совпадает с ним.

В отличие от политической подсистемы, организованной вокруг вопросов власти, централизации и управления, государство дифференцирует общество на территориальные сегменты и множество разнообразных локальных и региональных объединений [Luhmann, 2009: 254]. Государство взаимодействует с политической подсистемой, выступая инстанцией управления и централизации неоднородного по множеству оснований общества, но не монополизирует политическую коммуникацию, в том числе и коммуникацию по вопросам политических символов, базовых атрибутов гражданства, гражданских прав и обязанностей. Таким образом современные государства сочетают функционально дифференцированные коммуникативные подсистемы (науку, экономику, здравоохранение), аутопоэзис которых осуществляется посредством тематической коммуникации, в том числе глобальной, с «отдельно стоящей» политической подсистемой, организованной в рамках суверенного государства, вокруг власти как специфического медиума собственной «подсистемной» коммуникации.

Поскольку политическая подсистема ограничена рамками государства, первоочередной дифференциацией, осуществляемой государственными институтами, является самоотличение нации от других социальных систем (государств), а, значит, и различение на систем-

ных инсайдеров (граждан) и аутсайдеров (иностранцев или апатридов) [Echeverría, 2020], то есть на участников социальной коммуникации [Luhmann, 2009] и тех, кто в отсутствие гражданства, не включён в неё. Ранее, в ситуации относительно невысоких темпов миграции социальная система не нуждалась в такой дифференциации, поскольку практически безальтернативно предполагалась лояльность индивидов гражданству и подданству, но экономическая и информационная глобализация, диаспоризация и особенно появление различия между этно-национальным и гражданским векторами идентичности сделали задачу аутопоэзиса через различение между системными участниками социальной коммуникации и средой первоочередной.

Дифференцируясь от среды, аутопоэтические системы воспроизводят не только фундаментальные коммуникационные структуры, но и свои базовые элементы, которые, с процессуальной точки зрения, являются коммуникативными операциями [Luhmann, 2012]. Элементы аутопоэтических систем, как пишет Н. Луман, существуют только в структуре коммуникации, во взаимодействии с системой, «в моменте» постоянного воспроизводства своих ими своих отличий от среды и иных элементов системы [Luhmann, 2012: 32–33]. Таким образом социальная система регулярно удостоверяет актуальность коммуникативного связи со своими элементами, подтверждая лояльность своих участников себе. Сложность, однако, состоит в том, что социальная система включает множество тематически многообразных разноуровнево организованных элементов, нуждающихся в объединении некоторым универсальным коммуникативным медиумом как базовом основании аутопоэзиса социальной системы.

Таким базовым объединяющим коммуникативным медиумом, залогом коммуникативной рекурсии, ресурсом воспроизводства социальной системы является национальная культура, рассматриваемая Н. Луманом как

социальная память. Хотя культуру Н. Луман полагал категорией предельно широкой и неточной [Luhmann, 1995], она в ряде текстов интерпретируется им как решающе важный механизм тематической специализации и воспроизводства социальных подсистем и соответственно всей социальной системы в целом. В определённом смысле культуру в версии Н. Лумана можно определить как самоописание социальной системы [Луман, 2010: 307], как память коммуникации и особый вид (само-) наблюдения, посредством которого социальная система оценивает собственное состояние, возвращаясь в случае необходимости, к избранному культурному образцу. Культура в данном случае понимается не в её постпросвещенческом содержательном смысле, а функционалистски, как некоторые выученные коммуникативные паттерны [Луман, 2010: 317], обозначающие границы самодифференциации, возвращение к которым позволяет социальной системе воспроизводить непротиворечивую логику самоописания. Социальным явлением, наиболее близким по осуществляемым в социуме функций воспроизводства культурного образца является историческая память, содержащая в мифологизированном формате опыт социума.

Историческая память выступает широкой рамкой воспроизводства культурного образца, коммуникативной памятью по Т. Парсонсу, обращаясь к которому социальная система определяет, что может быть изменено в её атрибутах, а что должно быть сохранено, чтобы самоописание системы оставалось неизменным. Обращение к культурному образцу, тиражируемого исторической памятью, проблематизирует «отклоняющиеся» формы социальной коммуникации, запуская новый раунд самодифференциации и самоописания.

Солидарность с исторической памятью «работает» и в обратную сторону, как «ключ» к социальной системе для её аутсайдеров. В отличие от традиционных обществ, где положение в экономической, политической,

образовательной иерархии было обусловлено происхождением, персональное участие в различных подсистемах современного социума основано на инициативных действиях индивидов. Возможна и масштабная процедура «перехода» из одной социальной системы в другую, через смену гражданства и, соответственно, принятие базовых культурных сообществ.

Рассматривая культурные образцы как механизмы воспроизводства функционально замкнутых социальных подсистем на основании символических обобщений, таких как деньги, власть, закон, истина, любовь и т. д., Н. Луман, подчеркивает прочную коммуникативную связь между этими подсистемами, гарантированную общей культурной традицией социальной системы. То же касается и плотной взаимосвязи между функциональными, «отраслевыми» локальными подсистемами (экономикой, здравоохранением, искусством и др.) по всему миру, но в качестве культурной рамки здесь уже выступают базовые отраслевые дистинкции на истинное/ложное, допустимое/запрещённое, частное/общественное. Также, как некоторый профессиональный этос выступает залогом аутопоэзиса функционально дифференцированных социальных систем, историческая память поддерживает воспроизводство политической подсистемы государства и таким образом социальной системы в целом. Поэтому сегодня, несмотря на глобализацию, сохраняется дифференциация мирового сообщества на суверенные государства и на локальные национально-культурные группы. Заявления ряда политических лидеров о фиаско мультикультурализма, сохраняющаяся электоральная популярность антииммигрантских лозунгов и даже правых политических сил свидетельствует о глубокой укорененности в массовом сознании традиционалистских настроений, обосновывающих идею культурной преемственности наций.

Таким образом современные государства отлича-

ются бинарным характером дифференциации и представляют собою социальные системы, сформированные как внутренней «отраслевой» системно-коммуникативной дифференциацией на тематические подсистемы (экономику, политику и пр.), так и глобальной дифференциацией на национальные государства, которая также, по сути, функционально детерминирована необходимостью воспроизводства культурного образца. Эта двойственность обуславливает происходящие в современном мире параллельные процессы де- и ре-национализации, когда глобализацию сопровождает этнический ренессанс [Joppke, 2011], а растущая многосоставность государства сочетается с суверенизацией, что порождает запрос на внятную концепцию социальной интеграции [Favell, 2022] и образ принимающего сообщества, способный «связать» не только усложняющуюся внутреннюю коммуникацию и взаимодействие социальных систем с внешней средой, но и решить насущные вопросы интеграции в принимающее сообщество носителей иных культур [Martens, 2006] при сохранении национальных культур.

В современном мире, где не существует ни национальных государств, ни дифференцированных по национальному принципу империй, а этнос больше не противопоставляется демосу, но совпадает в формате политической нации [Delanty, 1998], воспроизводящийся в социальной коммуникации околоэтнический дискурс представляет собою запрос на институционализацию исторической памяти в качестве культурной рамки сообществ, поддерживающих стабильность системы и её воспроизводство [Луман, 2007]. Если для функциональных подсистем детерминирующим медиумом оказывается воспроизводство того или иного тематического медиума коммуникации, то символизирующим и обобщающим ресурсом для современных политических наций выступает историческая память, поддерживающая межвременное измерение коммуникации как внутри со-

циальной системы, так и при её взаимодействии с окружающей средой.

Коллективная память – это не буквально консолидированные массовые воспоминания, но общественные конвенции об атрибутах и символах национального прошлого, их интерпретациях и, главное, о признаваемых значимыми фактами национального прошлого [Ассман, 2014]. Из чувственной и изменчивой семейной памяти как повседневной изустной коммуникативной памяти вырастает связанная обычаями и ритуалами коллективная культурная память [Ассман, 2004], а конвенции о трактовке прошлого утверждаются регулярной социальной коммуникацией [Антоновский, 2015: 47].

Производным от самореферентной артикуляция атрибутов национальной истории является инореференция окружающего мира [Луман, 2005], что оказывается основанием самодифференциации и аутопоэзиса социальной системы. Для граждан представления о национальной истории выступают основанием их коллективной идентичности, создают пантеон ключевых исторических героев и событий, формируют символы национальной гордости, задают логику межгрупповой коммуникации, самоопределения и отличия себя от «Других». Общее прошлое воспринимается как один из центральных атрибутов единства и гражданской нации, и этнической общности.

Так, отвечая на вопрос о том, что их объединяет с людьми их национальности, а что – с согражданами, в 2022 г. участники всероссийского опроса примерно с равной частотой называли историческое прошлое фактором общности и с людьми своей национальности (37%), и – как объединяющее начало с гражданами России (39%) [Горшков, 2022: 135-136]. Общность исторической памяти воспринимается как конвенциональная предпосылка коммуникации, но не как основание для эксклюзии: общность прошлого допускается этнокультурное своеобразие и самоопределение. Отсюда высокая зна-

чимость в качестве оснований гражданской общности формальных, внешний атрибутов: гражданства (61%) и территории проживания (59%). Содержательные атрибуты гражданской нации, которые в нациях модерна объединяют людей в единую культурную общность: язык (49%), культура (37%), ответственность за судьбу страны (35%), традиции, обычаи (30%), воспринимаются как очень важные, но всё же менее распространенные, чем гражданство и проживание на одной территории. А вот идея национального государства как расширенной этно-национальной общности совсем не популярна: только 14% отметили, что с гражданами России их объединяет общее происхождение, общие предки, ещё 12% назвали общность религии, 8% – физическое сходство, внешность. Что ещё раз подтверждает бесперспективность обращения к этносу как медиума коммуникации для выделенной социальной подсистемы.

Однако сохранившиеся представления об этносе как некогда функционально дифференцировавшем социальную структуру медиуме, определявшем индивидуальное социальное положение и поддерживавшем отдифференциацию социальной системы от окружающей среды, обеспечивает «живучесть» этнос-центричного дискурса как ресурса объяснения межкультурного взаимодействия. Вместе с тем произошло то, что К. Леви-Стросс называл «диффузия стимула», когда привнесённый обычай играет роль катализатора, вызывая к жизни идентичный обычай [Леви-Стросс, 2019: 19]. Сегодня ресурсом консолидации многообразных элементов и подсистем социума и, соответственно, его аутопоэзиса в глобальном мире выступает историческая память, обозначающая культурную рамку воспроизводства современных обществ. Историческая память консолидирует многочисленных инсайдеров социальной системы, включённых в её функциональные подсистемы, гарантируя не только их лояльность социальной системе, но и участие в передаче традиции последующим поколениям.

Так что при трактовке современных обществ в парадигме теории социальных систем Н. Лумана историческая память выступает базовым консолидирующим элементом, гарантирующим сохранение социальных систем под влиянием двух разнонаправленных современных тенденций: отраслевой глобализации экономики, науки, образования, обуславливающей в том числе и активную миграцию, и тенденцию национального ренессанса.

Библиография (1.6):

- Chandra K. What is Ethnic Identity and Does it Matter? // *Annual Review of Political Science*. 2006. № 9. Pp. 397–424.
- Chia R. Discourse Analysis Organizational Analysis // *Organization*. 2000. Vol. 7. № 3. Pp. 513–518. <https://doi.org/10.1177/135050840073009>
- Delanty G. Social Theory and European Transformation: Is there a European Society? // *Sociological Research Online*. 1998. Vol. 3. № 1.
- Echeverría G. *Understanding Irregular Migration Through a Social Systems Perspective* // Towards a Systemic Theory of Irregular Migration. IMISCOE Research Series. Springer. 2020. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40903-6_4
- Favell A. Immigration, Integration and Citizenship: Elements of a New Political Demography // *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2022. Vol. 48. № 1. Pp. 3–32. DOI: 10.1080/1369183X.2022.2020955
- Fearon J. Ethnic Structure and Cultural Diversity by Country // *Journal of Economic Growth*. 2003. Vol. 8. № 2. Pp. 195–222.
- Fearon J., Laitin D. *Ordinary Language and External Validity: Specifying Concepts in the Study of Ethnicity*. 2000. University Penn., Philadelphia. LiCEP Meetings, University of Pennsylvania, October. Pp. 20–22
- Horowitz D. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1985. 697 p.
- Hutchinson J. Smith A.D. *Ethnicity*. Oxford. UK: Oxford University Press. 1996. 448 p.
- Joppke Ch. Chapter 7. *Immigration, Citizenship, and the Need for Integration* // Citizenship, Borders and Human Needs. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2011. Pp. 157–176. <https://doi.org/10.9783/9780812204667.157>
- Luhmann N. *Kultur als historischer Begriff* // N. Luhmann (ed.) Gesellschaftsstruktur und Semantik IV. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1995. Pp. 31–54.
- Luhmann N. *La Política Como Sistema* // Lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrate. 2009. México. D.F., México: Universidad Iberoamericana.

- Luhmann N. *Territorial Borders as System Boundaries* // In Cooperation and conflict in border areas. Ed. By R. Strassoldo, Delli Zotti G. 1982. Milano: Franco. Pp. 235–244.
- Luhmann N. *Theory of Society*. Vol. 2. 2013. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Martens W. The Distinctions within Organizations: Luhmann from a Cultural Perspective // *Organization*. 2006. Vol. 13. № 1. Pp. 83–108. <https://doi.org/10.1177/1350508406059643>
- Sciortino G. Toward a political sociology of entry policies: Conceptual problems and theoretical proposals // *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2000. Vol. 26. № 2. Pp. 213–228.
- Антоновский А.Ю. Понимание и взаимопонимание в научной коммуникации // Вопросы философии. 2015. № 2. Pp. 45–57.
- Антоновский А.Ю. Эволюция: системно-конструктивистский подход // Эволюция. М.: 2005. 254 с.
- Антоновский А.Ю. Этнос как медиум коммуникации: к системно-коммуникативной концептуализации этноса // Личность. Культура. Общество. 2011. Т. 13, № 4 (67–68). С. 84–89. EDN OJRJGT.
- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. 2014. М.: Новое литературное обозрение.
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. 2004. М.: Языки славянской культуры.
- Бараш Р.Э. Кризис мультикультурализма в зеркале системной социологической теории // Социологический журнал. 2016. Т. 22, № 2. С. 31–54. DOI 10.19181/socjour.2016.22.2.4256. EDN WBNRAV.
- Горшков М.К. Историческое сознание россиян: оценки прошлого, память, символы (опыт социологического измерения). 2022. М.: Весь Мир. С. 135–136.
- Леви-Стросс К. Все мы каннибалы. М.: Текст. 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-7516-1527-7
- Луман Н. Общество общества. Часть II. Медиакоммуникации. М.: Логос, 2005. 280 с.
- Луман Н. Самоописания. М.: Логос. ИТДГК «Гнозис». 2010. 320 с. EDN: PXNQVB
- Луман Н. Социальные системы. СПб.: 2007.
- Луман Н. Эволюция. М.: 2005. 254 с.
- Поповкин А.В. Этническая идентичность как форма социальной организации (перспективы осмысления в дискурсе социальных систем Н. Лумана) // Этническая идентичность и конфликт идентичностей. Владивосток: Дальнаука, 2007. С. 106–113.
- Рудецкий, Олег Андреевич. Социально-философский анализ этноса как коммуникативной системы: диссертация... кандидата философских наук. Хабаровск. 2011. 201 с.

Глава 1.6. Системно-коммуникативный анализ языка: функция отрицания

В настоящей главе исследуется проблема возможности удостовериться в действительном (универсальном, общезначимом) смысле коммуникативных сообщений. Эта рамочная проблема подразумевает последовательное решение ряда более конкретных вопросов. В частности, в рамках данной главы дебатировался вопрос существования реальности (коррелятивной смыслу суждений), гарантирующей общепризнанность значений языковых выражений; то есть определение наличия за морализаторством или суждениями вкуса какой-то действительности, обеспечивающей согласие в отношении ценностных суждений в ситуации, когда они становятся содержанием коммуникации? Также важно определить, что обеспечивает типовую идентичность ментальных состояний (мыслей, восприятий, представлений, ощущений) у разных индивидов, когда эти состояния тематизируются в коммуникации? Стоит ли за ними соответствующий типовой коррелят в реальности, обеспечивающий идентичность переживаний (например, боли)?

На каждом из означенных (языковом, нормативном, эпистемическом, психическом) уровней эта всегда гипотетическая общность или идентичность смысла тематизируются сравнительно автономно. Эпистемологи, социологи, психологи, лингвисты ищут средства удостоверения общности коммуникативного смысла. Так, психологи и философы сознания пытаются обнаружить некую типовую физическую реальность причин и эффектов (повреждение органов и результирующих реакций, возбуждений нейронов), с которыми могут идентифицироваться или сопоставляться типовые ментальные состояния¹? Философы науки ищут в себе идентичную

¹Как «идентифицировать» болевое ощущение в условиях его «множественной реализуемости» (у больного, у человека, испытывающего фантомную или психосоматическую боль, мазохиста, марсианина, животного и робота

реальность, которая стоит за (и этим объединяет) различными теориями, например, волновой и матричной версией квантовой теории [Suppe, 1974: 222] или социальной теории действия и социальной теории коммуникации¹. Социологи пытаются понять, что обеспечивает общность коммуникативного понимания, если говорящий имеет в виду будущее своего спича, к которому он ведет, а слушающему известно лишь некоторое прошлое [Schutz, 1974]. Философы языка размышляют об универсальности или интерсубъективности языковых правил, которые применяются при оценке конкретных речевых актов на предмет их осмысленности в условиях, где каждое конкретное высказывание, очевидно, согласуется с бесчисленным количеством правил или возможных смыслов [Kripke, 1982].

Эту, общую для лингвистики, психологии, социологии, эпистемологии, проблему можно, на наш взгляд сформулировать в синтетическом смысле, как трансдисциплинарную проблему смысла, а значит, надеяться обнаружить и синтетическое решение. Ниже мы попробуем рассмотреть эти уровни в эволюционном аспекте. Мы покажем, что проблема общности смысла (слов, высказываний, мыслей, чувств, нормативных установок, правил) может быть редуцирована к некой обобщенной реальности: к коммуникативному значению всех этих актов, которые так или иначе реифицируются (оптически, акустически, а сегодня – в электронном виде) в виде сообщений и в этом смысле получают некоторый общий материально-данный, а значит, допускающий однозначную фиксацию, знаменатель.

[Putnam, 1967: 37-48].

¹Выявленная фон Нейманом эквивалентность волновой механики Шредингера и матричной механики Гейзенберга свидетельствует о том, что каждая из теорий выражает идентичный смысл в том же самом аспекте, в каком различные предложения, сформулированные различным образом («человек стоит на вершине пищевой пирамиды» и «человек ест других животных, но не поедается ими»), описывают одно и то же положение дел, выражают идентичную «пропозицию».

В эволюционной формулировке это означает, что почти очевидная невозможность однозначного установления референта, правила, смысла (т.е. информации, извлекаемой из сообщений), которые скрываются за произнесенным или прочитанным высказыванием, их почти конститутивная амбивалентность, является не только условием фундаментальной «темпоральной нестабильности смысла» (Э. Гуссерль), а значит, разногласий и конфликтов, но одновременно – парадоксальным образом и условием кристаллизации и стабилизации коммуникативных систем (согласующихся друг с другом, тематически связанных последовательностей сообщений). Эти системы нуждаются в нестабильности своих элементов, в их вариативности, в допущении отрицания любого даже самого достоверного и надежного смысла или правила. именно эта вариативность обеспечивает автономное от внешней среды существование коммуникативных систем, свободную комбинаторику и воспроизводимость их элементов, и, как следствие, гибкую адаптацию к трансформациям внешнего мира. Нестабильность коммуникативных смыслов обеспечивает обособление коммуникативных систем, и как следствие – их стабильное воспроизводство.

Поэтому проблема удостоверения общности может быть переформулирована. За всегда гипотетическими смыслами и правилами не следует искать общепризнанных значений, типовой реальности, которая бы служила общим знаменателем и условием консенсуса. Сама текущая коммуникация делает возможным кристаллизацию таких смыслов даже в условиях минимального консенсуса, гарантированного уже общим признанием фактичности сообщения, представленного в той или иной материальной (оптической, акустической, электронной) форме. Говоря другими словами, возможность отрицать любое высказывание, не соглашаться с моральной оценкой, отклонять научные теории, отказывать в подлинности чужих ощущений и чувств, с одной стороны, не противоречит наличию минимального

консенсуса в отношении самого сообщения, а с другой, делает возможной адаптацию коммуникаций к внешней среде (независимо от ее понимания).

Отрицание и языковая вариативность

Итак, мы исходим из того, что эволюция языка и семантики, в том числе и эволюция социальных структур, среди прочего основана на механизме языкового отрицания, наличия в языке частички «не» как условия для кристаллизации избыточных смыслов, следовательно, для формирования пула вариативности, из которого черпаются вариации для последующего эволюционного отбора наиболее успешных, адаптированных к среде и способных к воспроизводству элементов тех или иных систем (языковых, психических, коммуникативных)¹. Все, что утверждается, может быть подвергнуто отрицанию. Благодаря этому осуществляется дубликация: язык создает две параллельных версии внешнего мира, негативную и позитивную, и этим обеспечивает независимость вербальной коммуникации от описываемой языком фактичности. Однако создавая независимую от внешнего мира коммуникативную систему, где слова не тождественны вещам, а сообщения могут комбинироваться и перекомбинироваться относительно независимо от описываемых в них положений дел, языковая вариативность несет опасности для социального порядка. Ведь посылаемые сообщения, претендуя на приоритет и выступая запросом на контакт, требуют соответствующей реакции: подчинения, внимания, ответа, согласия и т.д. Однако отрицание предложения, и в этом смысле предложенной коммуникации, может истолковываться как отклонение запроса на общение, как непризнание собеседника равноправным партнером или вышестоящим в социальной иерархии индивидом. Ранние формы

религии, прежде всего в форме табу, были нацелены на борьбу с отрицанием, что предполагало отказ от общего знания и общего обсуждения реальности внешнего мира как табуированной тематики [Barth, 1975: 35; Луман, 2005: 73], что и обеспечивало консолидацию родовых сообществ. Ситуация языкового позитивно-негативного параллелизма и сегодня требует специальных механизмов компенсаторной стабилизации.

Языковые парадоксы: функциональна ли фикциональность языка и нужно ли от нее очищаться?

Проблемы мир-языкового параллелизма и его рас- согласованности хорошо известны в аналитической философии, в рамках которой ставилась задача согласования мира и реальности через изгнание неосмысленных, парадоксальных и не имеющих референтов высказываний. Эта борьба с языковой избыточностью велась по четырем направлениям, в рамках каждого из которых должны были быть устранены языковые парадоксы [Russell, 1905].

- (1) Парадокс идентичности состоял в том, что некоторые эквивалентные высказывания («Марк Твен есть Марк Твен» и «Марк Твен есть Самюэль Клеменс») логически эквивалентны, но при этом могут различаться как контингентное и апостериорное, с одной стороны, и априорное и аналитическое, с другой).
- (2) Парадокс субститутивности состоял в том, что при подстановке эквивалентных (по своему референту) имен одни предложения оказываются истинными, а другие – нет. Так, предложение «Марк Твен известен как автор Тома Сойера» истинно, тогда как высказывание «Самюэль Клеменс известен как автор Тома Сойера» оказывается ложным. Но если истинностные значения зависят от референтов как «производителей истинности», то истинностное значение должно быть одинаковым в обоих случаях.
- (3) Парадокс несуществования («Шерлок Холмс –

¹Здесь и далее мы опираемся на схему обособленных эволюционных механизмов Кэмпбелла–Лумана: вариации, селекции, стабилизации [Luhmann, 1998; Kampbell, 1960].

известный сыщик», «Нынешний король Франции лыс») проистекает из двусмысленного статуса референта фиктивных имен собственных. Обозначает ли имя «Шерлок Холмс» кого-то, кого на самом деле не существовало? если предложение «Нынешний король Франции лыс» ложно, то король должен существовать, и тогда оно истинно. если же оно истинно, то и в этом случае он должен существовать. Но его не существует, следовательно, оно не истинно и не ложно. Это очевидно нарушает закон исключенного третьего, с чем Рассел не мог примириться.

- (4) Парадокс отрицательного существования («Шерлок Холмс не существует») состоял в том, что имя «Шерлок Холмс» указывает на объект, который хоть и не существует, но остается референтом данного имени и в этом смысле «существует». Однако в этом случае само предложение неверно.

При этом, создаваемый повседневным языком параллельный мир (отрицаемых состояний, оксюморонов («круглый квадрат»), ложных утверждений, фиктивных имен и т.д.), получивший название «джунглей Мейнонга» [Routly, 1980] не лишен и логической консистентности [Reicher, 2019]. Ведь если из лжи следует ложь (а следование логически формализовано как материальная импликация), то само высказывание – истинно. Из того, что «луна сделана из сыра» следует, что «дважды два пять». Именно в этом смысле можно понимать то странное утверждение Фреге, о том, что значениями предложений (Bedeutung) являются такие необычные объекты, как истина и ложь. В этом смысле все ложные предложения относят себя к одному объекту, а значит, оказываются эквивалентными по своему значению.

Конечно, парадокс «негативных экзистенциалов» («Король Франции не существует», а значит, «Существует такой X, который не существует») логически может быть разрешен путем применения отрицания ко всему предложению, а не к «свойству существования».

Тогда предложение формализуется в виде «Неверно, что существует X, такой, что он король и он существует», что устраняет парадокс. Но проблема в том, что при отрицании предложения в нашем повседневном мире мы отрицаем именно существование свойства объекта, а не все комплексное высказывание, а значит – тематизируем (ставим в центр коммуникативного обсуждения и интереса) несуществующие фигуры и объекты, а не комплексные, связанные в длинные формализации положения дел. В нашем мышлении и языке (в семантической реальности) мы реифицируем, гипостазуем несуществующие сущности. Кроме того, это логическое решение не объясняет нам, почему означенные парадоксы, трудности и двусмысленности не исчезают из языка сами по себе путем языковой эволюции, в тенденции ведущей к уменьшению сложности и облегчению понимания. другими словами, почему в нашем, как минимум, повседневном, мире эти высказывания не вызывают трудностей в понимании и онтологической локации «проблемных объектов». Все они воспроизводятся (возникают, отбираются и закрепляются в эволюционном смысле) снова и снова. Почему в самом языке не рождается механизмов самоочищения от несуществующих «семантических артефактов». Напротив, они хорошо совместимы с практическим словоупотреблением и не порождают герменевтических затруднений.

Язык для чего-то снова и снова генерирует подобные фикции, а значит за этим явлением должны стоять какие-то функциональные свойства языка. Мы связывает эту функцию с тем, что такого рода неукорененные во внешней реальности семантические артефакты («круглый квадрат», «нынешний король Франции», но также и «государство», «народ», «общество», «нация» и т.д.) связаны с автономией языка как медиума коммуникации. Это генеративное свойство позволяет дистанцироваться от внешнего мира, создать параллельную семантическую реальность, в рамках которой можно от-

носителем свободно комбинировать элементы («бирки Витгенштейна»), а затем сравнивать полученные модели с реальной миром или с его возможными проектами. Ведь и отрицательным числам не соответствуют никакие множества реальных объектов (как их референты), не говоря уже о мнимых числах. Но математики не стремятся избавиться от этого неприятного обстоятельства. И социальные теоретики спорят о том, что означают понятия государство, общество, этносы, но не могут договориться о том, где и когда они начинаются и заканчиваются, рождаются и умирают. Что не мешает ориентироваться на эти символы как смыслы «патриотического воспитания». Впрочем, и физики (например, в молекулярно-кинетической теории) используют переменные, для которых не требуется искать внешние корреляты [Campbell, 1957: 122]¹.

Напротив, лингвисты, следуя теории дескрипций Бертрانا Рассела и общенаучному принципу эмпирической подтверждаемости, снова и снова связывают семантическую реальность с реальной реальностью, редуцируют первую к функции описания второй. Но тем самым язык словно утрачивает другую ключевую функцию – создавать языковые избыточности и выходить за пределы описываемого. Так, Б. Рассел отказался и от фрегеевского понимания личных имен как обладающих собственными смыслами, относительно независимыми от значений (референтов) в силу того, что постулирование первого в отрыве от второго является избыточным, и от мейнонговской идеи обозначения именами несуществующих объектов. Это, среди прочего, низводит язык к описательной или информационной функции за счет отказа от функции конструктивной или проективной,

которые язык очевидно выполняет. С нашей точки зрения, именно языковая способность отрицания наличных и удостоверенных положений дел делает возможным проективную функцию языка, которая требует введения в том числе и фиктивных значений.

Проективная функциональность языковых отрицаний

Ложные, фикциональные, амбивалентные суждения, как и суждения, отрицающие фактические обстоятельства, оказываются возможными потому, что у самой частички «не» не обнаруживается коррелята в окружающей природе. В реальном или «позитивном» мире нет никаких отрицательностей или не-существований. Утверждение о несуществовании объектов или ложности истинных суждений делается из перспективы и внутри самого языка. Но можно сказать по-другому. Этими коррелятами языковых отрицаний выступают «возможные миры» или контексты суждений, которые уже в перспективе того или иного наблюдателя, например, социолога или философа, кристаллизуются как следствия различения необходимо-истинных и случайно-истинных суждений. Так, частичку «не» можно добавить к любому случайно-истинному позитивному утверждению («на улице идет дождь»), и тогда это суждение все-таки может получить значение истинного в некотором особом мире (например, в фиктивном, но возможном мире, где погода сложилась по-другому, или в мире субъективных желаний, надежды на сухую и солнечную погоду). Частичка «не» умножает высказывания, высвобождает язык от необходимости жестко коррелировать с реальностью. То, что языковой мир более вариативен, чем мир фактический, в числе прочего, объясняет и то удивление, которое мы испытываем, когда анализируем материальную импликацию. импликация «если я умер, значит, я пишу статью» – истинно, ведь оно эквивалентно истинному суждению «я не умер или пишу статью».

Такое привносимое языком «умножение сущ-

¹Нет ни необходимости, ни возможности зафиксировать «корреспонденцию» между термином «скорость молекулы», включенным в МКТ и экспериментально подтвержденными фактическими скоростями реальных молекул. используется понятие средней квадратичной скорости, которое и находит экспериментальное подтверждение и в этом фикционально усредненном смысле корреспондирует с реальностью.

ностей» (избыточной информации, ложных или неподтвержденных, неупорядоченных, амбивалентных утверждений, гипостазирования несуществующих объектов, отвлечений от темы обсуждения) лингвисты и философы считали чем-то не функционально-необходимым для языка, а, скорее, запутывающим, избыточным и несоответствующим общим прагматическим коммуникативным установкам. Означенные требования избегать высказываний, избыточных в контексте темы или диалога, формализовались в «принципе кооперации» или коммуникативных имплицатур (максимы информативности, истинности, релевантности, ясности) [Grice, 1989]. Имплицатуры Грайса, в свою очередь, требовали сближения языка и реальности, обязывали его быть более экономичным, общаться по существу дела и не изобретать дополнительных модальностей.

Эти имплицатуры, как и правила, имплицитно ограничивающие языковую вариативность, в свою очередь, вырабатывались эволюционно и имели своей функцией стабилизацию текучих, темпорально нестабильных, мгновенных по самой своей сути речевых актов. Эти правила призваны контролировать и канализировать коммуникацию и не исключали репрессивных санкций: избыточные в контексте диалога высказывания и неочевидные выводы зачастую интерпретируются как психическая девиация, а избыточные отрицания (социального порядка, обязательных коллективных решений, ценностных нормативных установок) до сих пор интерпретируются как дефицит социализации, как социальная девиация или форма социального протеста.

Эти требования, эксплицитно формализованные в имплицатурах Грайса, отфильтровывающих «неудачные» языковые комбинации, собственно, и образуют эволюционный механизм отбора, надстраивающийся над первичным механизмом эволюционного варьирования. Такие имплицатуры имплицитно кристаллизовались в процессе эволюции самих эволюционных механизмов:

с одной стороны, основанного на частичке «не» обособления–механизма языкового варьирования; с другой стороны, механизма селекции, ставшего результатом изобретения письменности и сделавшего возможным эксплицитное формулирование грамматических, дискурсивно-коммуникативных, моральных, ценностных, правовых, политических, хозяйственных правил и норм, получающих самостоятельные формы бытия (учебники, кодексы и т.д.), независимые от воплощающих их (или отклоняющихся от них) фактических действий и коммуникаций¹. Появление письменности в середине четвертого тысячелетия в Месопотамии маркирует разрыв между эволюционными механизмами варьирования и отбора: между фактическими действиями и коммуникациями, с одной стороны, и правилами отбора действий и коммуникаций, с другой.

Избыточность языковых вариаций, основанная на возможности отрицания путем применения частички «не», есть условие эволюции и, как следствие, автономизации и самозамыкания языка, его способности дистанцироваться от реальности через создание самовоспроизводящейся семантической реальности, валидность утверждений которой зависит лишь от ранее произнесенного и того, что будет произнесено позже². Но она же

¹В этом смысле, утверждаемое Гидденсом понятие «структуриации» [Giddens, 1984], где правила и реализующие их операции интерпретируются как единый или синтетический процесс, не учитывает метаразличия эволюционных уровней: вариативной избыточности (действий, речевых актов) и редуцирующих эту избыточность процессов селекции посредством правил отбора действий или речевых актов.

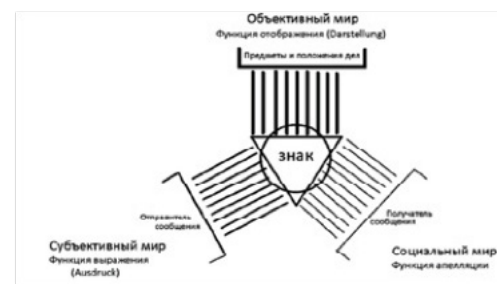
²Это эволюционное свойство самовалидации новообразованных признаков, в отношении языка означает, что некоторые слова, понятия, суждения, отбираются не в силу лучшей приспособленности к внешнему миру (инореференциальности как точных описаний внешнего мира), а в силу ранее продемонстрированного успеха. дело не только в том, что они лучше описывают фактические положения дел. Они вызывают реакцию (удивления, интереса), благозвучны, остроумны, неожиданны, или наоборот привычны и удостоверяют общее согласие безотносительно тех описываемых референтов, которые стоят за выражениями языка.

выступает условием кристаллизации социальной нормативности – *fac quod habes et ess*. Это значит, «должное», как следование правилу, теперь утверждается независимо и вопреки (социальной) реальности. В этом смысле и правила, как выражение мира должного, оказываются следствием отрицаний реальности и важнейшим эволюционным условием, в том числе, и внутреннего отбора. Правила во всем их многообразии (правовые законы, имплицитные культурные нормы, включая грамматику, нормативные ожидания в самом широком смысле) означали появление наблюдения второго порядка. При этом процесс взаимообособления первого уровня, т.е. фактических операций (действий, коммуникаций, ментальных состояний), с одной стороны, и правил (оценки, отбора и акцептации соответствующих операций и состояний), с другой, не остановился на уровне языка, но производил эффекты и для психических систем (представленных в последовательностях ментальных актов). Так, вместе с появлением института исповеди возникли и правила для «правильных переживаний» и мыслей, о которых тоже следовало давать отчет специальной инстанции – священнику, словно осуществляющему внешний отбор, если не срабатывает отбор внутренний. Только на этом уровне наблюдения второго порядка появляется возможность сравнить не только фактическую речь и языковые правила как отдельно бытийствующие реалии, но и ставить вопрос о правильности переживаний (мыслей, фантазий, надежд и так далее).

Итак, взаимное обособление эволюционных механизмов вариации и механизмов селекции стало условием ускорения языковой эволюции. Возникают сообщества (первоначально это были писцы, учителя, священники и так далее), специализирующиеся на наблюдении второго порядка, на отборе и отклонении вариантов или «языковых мутаций», поставляемых языком вместе с его способностью производить с избытком все новые и новые предложения и новые невиданные и неслыхан-

ные ранее комбинации слов и мыслей. Вследствие такой вариативности возникает множество референций, контекстных миров, к которым относятся высказывания и в контексте которых они могут быть осмысленны. Эти миры выступают, с одной стороны продуктом, произведенным высказываниями, с другой стороны, они становятся условием их эволюционного отбора. рассмотрим одну из популярных классификаций такого рода внешних миров.

Миро-референции Юргена Хабермаса



Теория коммуникации, разработанная Юргеном Хабермасом [Habermas, 2003], основывалась на «органон-модели» языка Карла Бюллера и теории речевых актов Джона Остина. Ключевая идея состояла в том, что всякое высказывание (не обязательно в форме предложения) может быть проинтерпретировано как реферирующее к трем мирам: объективному, субъективному и социальному. По отношению к каждому из них высказывание выполняет соответствующие функции: описания внешнего мира, выражения содержания сознания и апелляции к другому. Например, выражение «идет дождь» осмыслено в трех контекстах: как описывающее погоду, как выражение эмоции (например, сожаления) и как призыв оставаться дома.

Все свои референции высказывание производит одновременно, хотя каждая из них может получать приоритет, неважно, с точки зрения, самого высказывающего или в перспективе других участников коммуникации.

если рассматривать суждение с точки зрения его функции «порождения» означенных референций (описываемого объекта, эмоции и апелляции), то соответствующие миры могут пониматься и в эволюционном смысле: как средовые условия отбора более удачных суждений. Некоторые отнесения к мирам, содержащиеся в высказываниях, в большей степени (а некоторые в меньшей) «отвечают» условиям, адаптивны или не-адаптивны соответствующим структурам этих миров. Порожденные языком новые «семантические артефакты» в силу большей адаптивности могут со временем утверждаться и пролиферировать, принимая форму понятий, устойчивых предметностей, норм, габитусов, типов коммуникаций, не исключая и разного рода «фиктивных» сущностей «круглый квадрат», «нынешний король Франции», «вечный двигатель» так далее. иными словами, не только отбираться как удачные в некотором данном контексте и моменте времени, но и стабилизироваться, то есть входить в саму структуру этих внешних миров. Так, на третьей эволюционной стадии (эволюционной стабилизации или ретенции) их отбор и регулярное воспроизводство в коммуникации может приводить и к постепенному перемещению из актуальной речи в собственно язык, структурно дифференцированный на означенные миры или контексты, в котором данные устойчивые выражения занимают свое локальное место. В этом случае данные сущности (как типы предметов, типы экспрессий и типы долженствований и т.д.) уже и сами начинают служить критериями отбора (принятия или отклонения новых предложений, речевых актов).

В этом смысле область «объективного мира» не обязана исключать «типы бытия», включающие «несуществующие сущности» в смысле Мейнонга. В противном случае горизонты (миры, измерения) коммуникации (в смысле Хабермаса) утратили бы симметричность. Ведь в субъективном мире нет никаких асимметрий, заставляющих отказываться от негативных экспрессий в

отношении внешней реальности в пользу позитивных. Никто не скажет нам, что негативные эмоции существуют по какому-то недоразумению, например, как результат невыполнения требования «эмоциональных имплицатур»: никто не требует от нас очистить субъективную жизнь от негативных эмоциональных реакций на некоторые аспекты внешнего мира. Также и в социальном мире нет никаких асимметрий в пользу позитивных императивов и исключения негативных (запретов или санкций) в отношении к социальному миру. Поэтому требования к объективному миру запрещать отрицания фактических положений дел и избавляться от «негативных экзистенциалов» выглядят экстравагантными и отклоняющимися от общего стандарта внешнемировых измерений, ведь уже само понятие мира, горизонта или контекста предполагает позитивные и негативные значения внутри его измерений.

В этом случае пришлось бы отказаться от перформативного понимания речевых актов как социальных действий¹, производящих действительные результаты в виде отнесений к соответствующим внешним мирам. Эти целевые результаты сам Хабермас называет «притязаниями на значения» (*Geltungsansprueche*). Те или иные речевые акты отбираются как успешно прошедшие сито «внешнего отбора», как реализовавшие свои притязания на место в том или ином внешнем мире, в том случае, если они действительно произвели задуманные эффекты на основе критериев, различающихся по каждому из миров. Речь идет о критериях истинности в объективном мире, о критериях правильности (*Richtigkeit*) в социальном мире и о критериях убедительности (*Wahrhaftigkeit*) в субъективном мире. Ведь результаты отрицаний вполне способны реализовывать эти «притязания на значимость», то есть производить

¹В этом понятии перформативности речевого акта снимается различие между процессуальным и субъект-предикатным способами мыслить и высказываться [Смирнов, 2019: 5-17, 48-60].

собственные продукты и эффекты, в данном случае – истинность, правильность и убедительность.

Конечно, это не означает, что та или иная тематизируемая референция есть новая предметность, новое долженствование, новая выразительность, которая в случае ее «естественного отбора» тотчас становится неким «мемом» (т.е. частью «языка как медиума»), сразу же попадая в соответствующий «внешний мир», а значит, может теперь и сама использоваться как утвердившееся языковое правило естественного отбора высказываний, претендующих на эволюционный успех. Рассмотрим подробнее процесс эволюционного отбора и правил отбора языковых выражений.

Языковые правила: аргумент Крипкеништейна

Чтобы поставить вопрос о «правилах вообще» в самом широком смысле как эволюционном механизме «естественного отбора» тех или иных вариаций (коммуникативных сообщений, действий, ментальных актов и т.д.), рассмотрим проблему языковых правил в том виде, в каком она была поставлена С. Крипке. С точки зрения Крипке [Kripke, 1982], ссылающегося на Людвиг Витгенштейна, мы не можем быть уверены в правильности нашей реконструкции того или иного смысла или правил, которые мы подразумеваем в процессе интерпретации чужого высказывания. Так, предложению «57+68» в нормальном случае приписывается эквивалентное значение (или смысл) «125» на основе правила «ПЛЮС». Но ведь диапазон действия правила не может определяться ничем кроме действия других правил, и поэтому не исключена возможность, что было использовано другое правило (например, правило «КВУС»). Согласно правилу «КВУС», все числа, сумма которых не превышает 57, «квусируются» по правилам сложения, а начиная с числа 57 результат «квусирования» неизменно равняется числу 5. Поэтому в нашем случае результат будет равен числу 5, ведь мы применили другое правило,

а вовсе не то, которое использовал наш контрагент.

Как же мы можем получить достоверные фактические данные о том, что используется соответствующее правило, а значит, из предложения должен будет извлечен соответствующий смысл? Конечно, можно сослаться на прошлые предложения, где ранее уже использовалось правило ПЛЮСА. Но ведь до определенного предела (до числа 57), ПЛЮС и КВУС неотличимы друг от друга. Поэтому не исключено, что в прошлых случаях как раз и использовался КВУС. Можно апеллировать к самой процедуре сложения как соединению двух множеств фактических предметов, например, 57-ми и 68-ми яблок; как и к процессу обучения сложению на фактических примерах, например, обучению счету через прибавление все новых и новых единиц. Но ведь и в этом случае используется всего лишь еще одно правило, скажем, правило счета (counting). Но где гарантия, что в процессе обучения действительно применялось правило счета (counting), а не какое-то другое (quounting), согласно которому до определенного предела яблоки следует складывать в одну кучку, а затем часть из них следует убирать, пока не останется лишь пять. Ведь правила, призванные определить валидность других правил, и сами могут получать «девиантную» интерпретацию.

Конечно, прозрачность смысла или правила, казалось, обеспечивается ментальным контентом (ментальным образом процедуры сложения) как некого гаранта правильности нашей интерпретации высказывания. Однако и здесь возникли возражения. Ведь для понимания смысла в нормальном случае не требуется привлечение ментальных коррелятов. Всего лишь за минуту мы способны произнести десятки слов и предложений, при том, что вербализация абсолютного большинства из них не сопровождается актуализацией их ментальных коррелятов в нашем сознании. Что не является каким-то препятствием для понимания и продолжения осмысленной коммуникации. Кроме того, всякое пред-

ложение или слово совместимо с бесчисленным количеством коннотирующих и противоречащих друг другу ментальных презентаций [Miller, 2000]. Говоря «крыса», я могу представлять как животных, так и людей. При этом (по крайней мере, применительно к сложению) не совсем ясно, какой именно образ представляет в сознании операцию сложения: осуществляя математические действия, мы, как правило, механически складываем числа, не визуализируя в своем мышлении этот процесс.

Наиболее перспективным из всех возражений нам представляется версия Майкла Морриса [Morris, 2006 : 74-93], согласно которому смыслы и правила можно понимать как диспозиции или диспозиционные предикаты. диспозиционные предикаты представляют свойства (в данном случае правила), актуализирующиеся только при наступлении определенных обстоятельств. Так, суммирование есть диспозиция, свойственная вычисляющим людям в нормальных ситуациях. и если в операциях или интерпретациях актуализируется другая диспозиция (например, «квусирование»), то это не лишает правило само по себе как нормативное установление его валидности или стандартного интерпретационного значения. диспозициональность правила предполагает модус возможности, а не необходимости. Поэтому экстравагантная диспозиция девианта, использующего правило КВУСА, никак не компрометирует нормативность и необходимость правила ПЛЮСА, которое «должно» применяться при интерпретации выражений сложения в стандартной ситуации. Впрочем, и на это решение нашлась масса контраргументов.

Различение нормативных и когнитивных диспозиций (ожиданий) как решение парадокса Крипкенштейна

Очевидно, однако, что это решение не исключает амбивалентности в интерпретации «заложенного» другим смысла, хотя и постулирует однозначность «объективных», нормативно-определенных или стандартных

смыслов высказываний как бы самих по себе – безотносительно применений экстравагантных правил специфическими людьми.

И все-таки это решение представляется плодотворным, если ни в плане установления однозначности смысла, то в плане фиксации означенной амбивалентности. Мы, в свою очередь, исходим из диспозиционального понимания смысла и правил, но будем связывать диспозициональность таких индивидуальных правил с нормативными и когнитивными ожиданиями, открывающий простор эволюции выражений (эволюционный механизм варьирования) и эволюции правил (эволюционный механизм селекции).

Такое расхождение между атрибутируемым смыслом (правилом, связанным с утверждением, например, с «классической» операцией суммирования, связываемой с выражением « $67+78=125$ ») и неким иным возможным смыслом, подразумеваемым автором выражения (квусированием в виде « $67+78=5$ »), на наш взгляд, является фундаментальным. Оно вытекает из фундаментальной амбивалентности между нормативными и когнитивными ориентациями или ожиданиями (диспозициями), словно разделяющими специфические коммуникативные системы, сосуществующие в современном обществе. Поэтому всякая коммуникация оказывается перед выбором той или иной интерпретации. Можно проинтерпретировать сообщение как некое ошибочное или несогласующееся с обычными словоупотреблением, однако существует возможность интерпретировать то же сообщение как отрицающее правила и даже реальность. В обоих случаях (и когнитивных, и негативных ожиданий) актуализируется уровень наблюдения второго порядка; правила или нормы, обычно функционирующие латентно и не попадающее в фокус рефлексии коммуницирующих лиц, сами получают резонанс и, как следствие, – эксплицитное выражение. При этом в условиях доминирования нормативных ожиданий в некоторых коммуникативных сре-

дах (внешних мирах, осуществляющих отбор суждений) эти «поврежденные» в ходе отрицания правила и нормы лишь упрочивают свои позиции.

Однако в условиях подходящей коммуникативной среды (например, если коммуникация осуществляется в рамках научной, а также какой-то иной скептически или когнитивно-ориентированной коммуникации) может вставать вопрос о валидности и возможности трансформации самого правила; как и о том, какое правило более уместно в данной ситуации; о том, не должно ли оно в этом случае само подвергнуться отбору или отклонению.

Применительно, к аргументу Крипкенштейна это означает, что переход от ПЛЮСА к КВУСУ не является каким-то парадоксом неправильного правила. Или, другими словами, этот парадокс разрешается путем различения разных эволюционных уровней. То, что на уровне оценки и отбора самого суждения кажется девиантным (КВУС), на уровне оценки и отбора правил отбора может получить оправдание в зависимости от той коммуникативной среды, к которой апеллирует высказывание. Другими словами, понимание того или иного правила, как стандартного или экстравагантного, будет зависеть от позиции, которую наблюдатель припишет автору высказывания в рамках соответствующих коммуникативных миров. Не существует каких-то онтологически окончательных смыслов. Каждое высказывание, в зависимости от притязания на локализацию в той или иной коммуникативной среде, предлагает тот или иной выбор в пользу утверждения или отклонения правила, и этот выбор канализирует коммуникацию в том или ином направлении. Либо она встречает когнитивные социальные ожидания (чаще всего, в науке, искусстве), где и правило КВУСА может оказаться в фокусе рефлексии и получить обоснование. Либо сообщение сталкивается с нормативной ориентацией (например, в рамках правового, религиозного или морализирующего коммуникативного внешнего мира), где прегрешение против нор-

мы и правил санкционируется как недопустимое.

Выбор и последующая интерпретация создает проблему и это придает коммуникации динамизм. Благодаря этому снова и снова актуализирующемуся выбору коммуникация собственно и приобретает системность, т.е. выстраивается в последовательности взаимосоотнесенных обсуждений прозвучавших высказываний – (1) на предмет их адекватности правилам; (2) на предмет их адекватности для оценки и отбора тех или иных отклоняющихся от нормы суждений.

Если использовать понятия системно-коммуникативной теории, языковые правила, включая и правила грамматики, представляют собой медиум (медиальный субстрат как область слабых сопряжений), в рамках которого допускаются самые разные комбинации потенциально возможных комбинаций и перекombинаций элементов (слов, предложений). А каждое высказывание как форма этого медиума манифестирует жесткую связь с ограниченными возможностями подсоединения новых элементов в зависимости от ориентации на нормативные (где правило выше высказывания) либо когнитивные социальные ожидания (где высказывание выше правила и ставит само правило под вопрос). В эволюционно-коммуникативной перспективе это означает, что нормативные ожидания отвечают за эволюционный механизм «естественного отбора» сообщений, соответствующих «укоренившимся» (всегда в рамках того или иного коммуникативного медиа) правилам. Когнитивные ожидания, напротив, отвечают за эволюционные механизмы варьирования, мутации, проблематизируют и дестабилизируют «утвердившиеся» правила, требуют их дополнительного обоснования и т.д.

Возникает, однако, вопрос о пределах такого когнитивного релятивизма в условиях доминирования когнитивных ожиданий. Можно ли найти и обосновать какие-то объективные критерии естественного отбора правильных правил?

Трудности с эмпирическим обоснованием валидности правил, определяющих выбор, осмысленность, понятность (и как следствие, акцептацию или отрицание) тех или иных высказываний, можно было бы преодолеть путем привлечения ряда прагматических аргументов. Такого рода прагматический анализ правил должен осуществляться уже на некотором третьем наблюдательном уровне. Конечно, и прагматические правила остаются правилами, и все-таки прагматическое обоснование правил могло бы прояснить ту относительно долговременную стабильность, которая свойственна правилам, в отличие от мгновенно актуализирующихся и тут же деактуализирующихся речевых актов. С эволюционно-коммуникативной точки зрения, на прагматическом уровне мы имеем дело с третьим эволюционным механизмом (ретенции, стабилизации или уровнем формирования популяции). Ведь нет никаких гарантий, что несколько раз примененное новообразованное правило в конце концов стабилизируется, войдет в учебники грамматики или математики и будет использовано повсеместно. Оно должно преодолеть некий порог всеобщей акцептации, а значит, должно доказать свою глобальную или хотя бы локальную оптимальность в многомерном «фитнес-ландшафте» окружающей среды [Gavriletz, 2004], или, в нашей терминологии – в соответствующем коммуникативном внешнем мире.

Такое прагматическое правило стабилизации правил было предложено Крейгом Деланси. С его точки зрения [Delancey, 2007], у атрибутируемых смыслов или правил обнаруживаются различная и в каком-то смысле объективная мера простоты или сложности в рамках ряда измерений, в которых могут быть исчислены их прагматические (коммуникативно-значимые) критерии эффективности. Предположительно, в темпоральном горизонте коммуникации может быть из-

мерена прагматическая осмысленность применения и отбора тех или иных правил. Так называемая комплексность Холмогорова, определяемая сравнительной длиной строчек программы, которая использует оператор ПЛЮС или КВУС, является той самой искомой мерой, которая и обуславливает выбор соответствующего оператора. С точки зрения этого критерия, был бы выбран ПЛЮС, как правило, осуществляющее более успешную оптимизацию коммуникации по параметру времени. Классическое сложение требует менее длинной программы, а значит, операции будут осуществлены быстрее, что оптимизирует время коммуникации в ее темпоральном измерении¹. Между тем, в случае использования оператора КВУС машина сначала оценивает длину последовательности (превышает ли она тот или иной предел, в данном случае это число 57), а лишь потом завершает кvusирование.

С другой стороны, социальный горизонт или контекст также оказываются значимыми для валидации смысла в рамках соответствующего правила. Мера сложности (простоты) является достаточно очевидным критерием, который помогает индексировать те или иные правила также и в социальном измерении коммуникации. Ведь сама функция смысла или правила состоит в редуцировании сложности в процессе интерпретации получаемых сообщений. В этом смысле оператор ПЛЮС эффективнее редуцирует сложность возможных (потенциальных) интерпретаций.

Таким образом, вышеизложенные рассуждения позволяют нам уточнить и одновременно обобщить поставленную проблему «идентичности смыслообразования», еще раз зафиксировать ее трансдисциплинарное значение и предложить некоторые подходы к ее решению. С одной стороны, многообразие миров, контекстов,

¹Так, при суммировании двойки и единицы (упрощенно представленном на ленте как 01011), чтобы получить искомую тройку (111), машине Тьюринга требуется лишь заменить 0 на 1, а 1 на 0.

горизонтов, с другой стороны, многообразие возможных комбинаций элементов языка, составляют фундаментальные условия эволюционной вариативности языка¹, которые, в свою очередь, делают возможным и социальную эволюцию, т.е. эволюцию институтов как специфических типов коммуникаций.

Мы не склонны проговаривать одно и то же несколько раз, а если и проговариваем, то в различающихся мирах или коммуникативных средах синтаксически идентичные выражения получает различные смыслы. Но как соединены эти миры, эти языковые медиа как массивы потенциально возможных событий (необозримые комбинации слов, вариативные наполнения неполных дескрипций в смысле Б. Рассела)? Все означенные коммуникативные миры или медиа как слабосвязанные массивы возможных комбинаций, на фоне которых проявляются конкретные речевые акты как формы этого медиа, в каком-то смысле актуализируются в каждом предложении или сообщении, в котором «выразительное» предстает и как «изобразительное», и как «повелительное» (в смысле Ю. Хабермаса). Но как в этом случае расшифровывать именно «посланное» содержание предложения? Следует ли вообще пытаться верифицировать содержание, которое было первоначально заложено в коммуникативном сообщении? или в условиях недоступности чужого сознания мы никогда не удостоверимся в общности воспринимаемого смысла? Эта же проблема, но в другом преломлении, вставала в некоторых версиях философии сознания. Что объединяет ощущение «боли» у меня и другого, человека, ощущающего фантомную боль, мазохиста, робота, животного или марсианина? Но эта же проблема занимает и философию науки. Откуда мы знаем, что атрибутируем познаваемым объектам те или иные свойства или признаки, если процедуры верификации не позволяют нам

1Эту вариативность можно понимать, как варианты вербализаций неполных дескрипций в смысле Б. Рассела, способных обрести полноту в самых разных контекстах и мирах.

различить объективно различающиеся, но наблюдательно недоступные предикаты? Как, например, отличить стандартный смысл или предикат «зеленый» от экстравагантного смысла или предиката «зелесиний»? Но эта же проблема составляет ключевой вопрос социальной теории: как возможно понимание другого, как возможен социальный порядок, если всякая коммуникация имеет принципиально бинарный характер и распадается на вербальное (объективно-данное, оптически или акустически презентированное) сообщение и извлекаемую из него всегда гипотетическую информацию, в адекватности которой интерпретирующий ее человек не способен удостовериться?

Рабочая гипотеза

Приблизиться к решению означенной проблемы можно, на наш взгляд, если реконструировать присутствующие в языке «естественные» способы соединения миров, контекстов, горизонтов или измерений, в которых может быть зафиксирована осмысленность предложения в зависимости от тех значений, которое предложение или сообщение (как бы локализованное в этом пространстве измерений) получает по каждому из них. Как только эти значения произнесенного предложения как-то зафиксированы, и другим участникам коммуникации стало ясно, с какими референциями связано произнесенное предложение, наступает понимание (или непонимание), акцептация (или отклонение) предложенного смысла, и коммуникация в зависимости от этого может продолжиться (или не продолжиться) дальше. Зафиксировать смысл сообщения значит, зафиксиро-

2Как отличить научное сообщение «все изумруды зеленые» от «псевдонаучного» сообщения «все изумруды зелесинии» и этим ограничить рамки научной коммуникации? Ведь не существует процедур верификации в случае атрибутирования объектам, например, такого экстравагантного предиката как «зелесиний». «Объект является зелесиним, тогда и только тогда, когда под наблюдением он зеленый, а вне наблюдения – он синий» [Goodman, 1965: 74].

вать то, в какой мере сообщение отвечает внешнемировым селекционным требованиям, исходящим из объектного, субъективного и социального мира (если, конечно, мы используем схему Хабермаса). Сообщение, чтобы быть отобранным (= понятым, акцептированным) должно оцениваться на предмет выполнения «притязаний на значимость»: быть истинным, убедительным, правдоподобным. Но даже и в этом случае в силу заложенной в языке способности отрицания, синтаксически выраженные частичкой «не», а также благодаря тому, что выполнение всех этих требований как раз и проясняет смысл заявленных притязаний, сообщение может отрицаться и отклоняться. Это, с одной стороны, создает эволюционный простор для новых языковых комбинаций, но одновременно ставит под вопрос социальный порядок и генерирует конфликты.

Как же язык и общество реагировали на самопроизведенную ими проблему отрицания (=отклонения коммуникации). Наша рабочая гипотеза состоит в том, что в самом языке обнаруживаются эволюционные механизмы, нейтрализующие отрицание. И даже само отрицание как рефлексивный или самообращенный процесс выказывает свойства, позволяющие воспроизводить, а не разрушать общество. Так или иначе, отрицание требует сохранения отрицаемого, ведь то, что требует отрицания, надо хранить в памяти в виду возможной будущей встречи с данным контентом. Так, инквизиционные списки запрещенных книг сохраняли и информировали о том, что как раз и следует читать в первую очередь. Также и нынешние реестры СМИ-иностраннх агентов ориентируют читателя на достойные внимания и авторитетные массмедиа.

Но в качества главного внутриязыкового эволюционного механизма, нейтрализующего отрицание и стабилизирующего ключевые коммуникативные смыслы, выступают, на наш взгляд, пропозициональные установки как своего рода «носители или каркасы типо-

вых внешних миров», косвенные контексты, в которые словно «помещаются» фактические положения дел или пропозиции. Произведенные в языке косвенные контексты или операторы «я знаю, что ...», «я надеюсь, что ...», «я помню, что ...», «я хочу, что ...», «я воображаю, что ...» словно защищают предложение от отрицания, подвешивают пропозиционально утверждаемую фактуру, примерно так же, как исследователь защищает свой тезис от критики, формулируя его, подобно нам, в формате «рабочей гипотезы».

Открытие Рассела состояло в том, что полный смысл определенной дескрипции (и все сообщения, с нашей точки зрения, являются в этом смысле неполными дескрипциями) раскрывается лишь в такой интерпретации, где определяются и контексты (внешние миры, горизонты, правила приписывания смыслов, коммуникативные среды). Только в этом случае кристаллизуется нечто, что можно отклонить как ложное или на каком-то другом основании, например, несоответствия психическому миру (памяти Георга Пятого, не знавшего, что «Скот – автор Веверлея», хотя и знавшего, что «Скот – это Скот»). В этом смысле определенная дескрипция получает полноту не только путем квантификации (в предметном измерении коммуникации) или путем отнесения к субъективному миру сознания (памяти Георга Пятого), но ко всем возможным внешним мирам или коммуникативным средам. В косвенных контекстах эксплицитно и синтаксически точно обнаружится та информация, которая содержалась в сообщении «Георг Четвертый знает, что Скот – это Скот», но «не знает, что Скот – автор Веверлея». Мы соотносим высказывания с конкретным сознанием, и одновременно – определяем его диапазон или контент, как бы соединяя объектный и психический миры. Мы определяем мир или контекст, в который помещаем сообщения, и осуществляем сравнение произнесенного сообщения с гипотетическим содержанием сознания, то есть с субъективным миром.

В косвенных контекстах собственно и осуществляется тот самый синтез предложения и его контекстов: мира должного, мира сущего, мира аффектуального, мира ценностного, мира ожидаемого, познаваемого, прошлого и будущего; в них соединяются «субъективность», «долженствование» (императивность, социальность) и фактичность («Я хочу, чтобы шел дождь», «Я помню, что вчера был дождь», «я надеюсь, что пойдет дождь», «я знаю, что идет дождь», «хорошо, что идет дождь». именно с этими синтетическими достижениями косвенных контекстов не справляется отрицание. Ведь добавление оператора к фактическому контенту сообщения («хочу, что ...», «помню, что ...»; «надеюсь на то, что ...») делает само сообщение неуязвимым, поскольку оно не противоречит другой «противоположной» пропозициональной установке: другому желанию, другой надежде, другой ценности, но лишь добавляется к фактическому положению дел и к другому возможному оператору.

Библиография (1.7.):

- Луман Н. *Медиа коммуникации*. М.: Логос, 2004.
- Смирнов А.В. *Процессуальная логика и ее обоснование* // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 5-17.
- Смирнов А.В. *Мыслить значит разворачивать связность* // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 48-60.
- Barth Fr. *Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea*. New Haven, 1975.
- Campbell D. Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Processes // *Psychological Review*. 1960. Vol. 67. Pp. 380-400.
- Campbell N. R. *Foundations of Science*. New York: Dover Publications. 1957.
- Delancey C. S. Meaning Naturalism, Meaning Irrealism, and the Work of Language // *Synthese*. 2007. Vol. 154. No. 2. Pp. 231-257.
- Gavrilets S. *Fitness Landscapes and the Origin of Species*. *Monographs in population biology*. Princeton University Press, 2004. Vol.41.
- Giddens A. *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press. 1984.
- Grice H.P. *Studies in the Way of Words*. Harvard: Harvard University Press, 1989.
- Goodman N. *Fact, Fiction and Forecast*. Indianapolis, 1965.
- Habermas J. *On the Pragmatics of Communication*. Cambridge: Polity

- Press, 2003.
- Kripke S. Wittgenstein on rules and private language: An Elementary Exposition. Cambridge (Mass.), 1982.
- Luhmann N. Evolution of science // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2017. Vol. 51. No. 1. Pp. 215–233.
- Miller A. Horwich, Meaning and Kripke's Wittgenstein // *Philosophical Quarterly*. 2000. Vol. 50 (199). Pp. 161-174.
- Morris M. *Kripke on proper names* // An Introduction to the Philosophy of Language. Cambridge Introductions to Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 2006. Pp. 74-93.
- Putnam H. *Psychological Predicates* // Capitan W.H., Merrill D.D. (eds.), *Art, Mind, and Religion*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967. Pp. 37-48.
- Reicher M. *Nonexistent objects*. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 2019.
- Routly R. *Exploring Meinong's Jungle and Beyond*. Canberra: Research School of the Social Sciences, 1980.
- Russell B. On Denoting // *Mind*. 1905. Vol. 14. Pp. 479-493.
- Schutz A. *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie*. Frankfurt am Main, 1974.
- Suppe F. *The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories* // Suppe F. (eds.) *The Structure of Scientific Theories*. University of Illinois Press. 1974. Pp. 221-260.

***Раздел 2: СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНАЯ
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ***

Глава 2.1. Научная коммуникация: эволюционный контекст

Вероятно, никто не будет спорить, что тезис о научном прогрессе предполагает сравнение научных теорий. Всякая новая теория, наследующая старой, требует оценки на предмет целого множества критериев. Согласие с наблюдениями, ясность, концептуальная интеграция, верифицируемость, четкость понятий, экономичность, фальсифицируемость, фертильность, эвристичность, парсимония, рекогнитивность – вот, лишь некоторые критерии из этого открытого списка, предложенные в методологиях начиная от и. Ньютона, У. Хьюэллса, Дж. Гершеля и заканчивая Т. Куном, И. Лакатосом, Дж. Макэллистером и многими другими.

Но всякая идея научного прогресса на основе критериев лучшей теории не может обойти стороной парадокс, эксплицитно сформулированный М. Вебером. С одной стороны, наука формулирует истинные и объективные суждения, и только это отличает ее от мира ценностных суждений, идеологии, религии, искусства. С другой стороны, «срок жизни истин» крайне невелик и всякое утверждение о научном прогрессе выглядит неубедительным как раз в сопоставлении с прогрессом ценностных дискурсов, где каждая стадия развития (стиль или произведение искусства), если и не сменяются «лучшими», то, по крайней мере, сохраняют, а то и преумножают свою ценность в кумулятивном смысле на протяжении веков. В тезисе о «революционной науке» Томаса Куна этот парадокс отчасти разрешается путем установления ряда критериев лучших теорий. Но вопрос о механизмах этой конверсии оставался без ответа и, по версии Лакатоса, представал у Куна иррациональный процессом. Впрочем, и предложенное Лакатосом решение – различие между «progressive problem-shifts» и «degenerating problem-shifts» на уровне исследовательских программ не избегает означенного парадокса: по справедливому замечанию Фейерабенда то, что сегодня

выглядит дегенеративной линией (как это показал пример «программы Проута»), может впоследствии оказаться прогрессивным.

Выход из этого парадокса, по мнению авторов, может предложить социально-эволюционистская трактовка науки, где «критерий» лучшей (или более обоснованной) теории рассматривается как «фитнес», как способность отвечать вызовам внешней среды, к которой лучшая теория лучше адаптируется и как следствие – отбирается.

Вторая часть главы посвящена проблемам, с которыми сталкивается сегодня биологически фундированная общая теории эволюции при ее экстраполяции на проблему научного прогресса. исследуется вопрос о том, в каком смысле научные теории могут интерпретироваться как сменяющие друг друга и конкурирующие между собой аналоги органических формаций (генотипов, фенотипов, популяций); о том, что представляет собой внешняя среда научной коммуникации и какие инстанции отвечают за отбор лучших теорий; о том, насколько дифференцированы автономные механизмы научной эволюции, а именно, механизмы случайного варьирования, естественного отбора и наследования (т.е. стабилизации новообретенных свойств). Авторы анализируют решения означенных проблем в концепциях каузальной индивидуации научных теорий Дэвида Халла, концепции семантической индивидуации теории Стивена Гулда и выявляют возможности примирения и синтеза этих эволюционных подходов в системно-коммуникативной теории научной эволюции Никласа Лумана.

Системно-коммуникативная теория привлекается далее для решения проблемы рассогласованности между «локальным оптимумом» адаптивности, который достигают биологические организмы, и «глобальным оптимумом» адаптивности, на который ориентированы научные теории и дисциплины. Глобальный оптимум

может быть проинтерпретирован как недостижимый истинностный ориентир (в смысле Карла Поппера), к которому приближаются теории, но которого они никогда не достигают (истинностный или семантический подход к разрешению парадокса прогресса). Локальный оптимум может быть проинтерпретирован как некоторое решение научной проблемы (в смысле Т. Куна или Л. Лаудана), как некоторый локальный успех, достигаемый теориями независимо от приближения к глобальному оптимуму или некой абсолютной истине (проблемный подход к разрешению парадокса прогресса).

При этом ориентация на глобальный оптимум (на некие предустановленные требования среды) существенным образом противоречит требованию случайной, контингентной генерации новообразований (ведь научные гипотезы и проекты изначально ориентированы на ожидания их будущего отбора). Это лишает смысла различие между изменчивостью и отбором, а тем самым – и всю эволюционную аналогию. Можно ли ее спасти? Авторы предлагают «спасти» эволюционную аналогию через привлечение системно-коммуникативного понимания эволюционного характера научного прогресса. Так, применительно к научной коммуникации за (1) контингентные изменчивость или вариативность отвечает общеязыковая способность отрицания, применимая к любому авторитетному научному утверждению «в процессе открытия» или «случайной мутации» (на стадии формулирования гипотезы, «сумасшедшей идеи», коллективного обсуждения в формате «brainstorm» и так далее). Но приведенная к форме научной публикации в «процессе обоснования» (2) гипотеза «отбирается» или отклоняется в результате научной критики и научной экспертизы. и наконец, при удачном стечении обстоятельств, это новое знание (3) «стабилизируется» в формате научной парадигмы, исследовательской программы, образца решения проблемы и т.д. Однако на новом эволюционном цикле стабилизированное знание

становится предметом новых «мутаций», нового отбора и кристаллизации новых парадигм.

Авторы используют понятие «комплексной многомерной среды научной коммуникации», образуемой социальным, предметным и временным измерениями научной коммуникации. Это понятие позволяет «снять» различие между локальным и глобальным оптимумами, и как следствие, как минимум, устранить различие между проблемным (Т. Кун, Л. Лаудан) и семантическим (К. Поппер) пониманием научного прогресса. делается вывод, что понимание сознания ученого как «случай-сортировочной машины» позволяет устранить кажущуюся рассогласованность эволюционной метафоры, а также «спасти эволюционную аналогию», обосновав независимость механизма случайных вариаций от механизмов естественного отбора и стабилизации знания на популяционном уровне.

Парадокс научного прогресса как проблема философии науки

Реконструкция механизмов эволюции научного знания позволит, на наш взгляд, приблизиться к решению парадокса научного прогресса, сформулированного Максом Вебером. С одной стороны, наука формулирует истинные и объективные пропозиции, и только это в предметном измерении научной коммуникации отличает ее мира от ценностных суждений, идеологии, религии, искусства. С другой стороны, «срок жизни истин – 10-40 лет» [Weber, 2017] и всякое притязание на истинность (объективность, обоснованность как отличительные признаки и критерии научности) локализуется во временном измерении науки. И в этом смысле всякое утверждение о научном прогрессе выглядит неубедительным, особенно в сопоставлении с прогрессом ценностных дискурсов, где стадии развития (стиль или произведение искусства), если и не сменяются «лучши-

ми произведениями», то, по крайней мере, сохраняют, а то и преумножают свою ценность на протяжении веков.

Т. Кун предложил решение этой проблемы, сформулировав сумму критериев лучших теорий, сменяющих друг друга в ходе научного прогресса, представляющего в этом свете чередованием стадий «нормальной» и «революционной» науки. Эта куновская идея позднее более обстоятельно развита Лауданом [Laudan, 1977], в целом основывается на прогрессе, как смене парадигм, задающих образцы решений тех или иных научных проблем и получила названия «проблемного подхода к научному прогрессу» [Bird, 2007]. Но вопрос механизмов конверсии от нормальной к революционной науке оставался без ответа и, по версии Лакатоса, предстал у Куна иррациональный процессом.

Предложенное Лакатосом решение в виде различия между «progressive problem-shifts» и «degenerating problem-shifts» на уровне исследовательских программ не смогло утвердиться в качестве критерия прогрессивности, т.к. требовало введения временного лимита ожиданий: то, что сегодня кажется дегенеративной линией (как это демонстрировала программа Проута¹), может оказаться впоследствии прогрессивным.

Если Кун исходил из способности теорий «образцовым образом» решать проблемы как ее критериального свойства в сравнительной перспективе, то Поппер понимает прогресс в семантическом смысле как последовательное приближение к истине²². Так, по мнению Поппера, научные теории не требуется «спасать» путем добавления к ним разного рода *ad hoc* модификаций с

1 Ориентированная на положение, что атомные веса химических элементов кратны атомному весу водорода и «фальсифицированная» фактом дробной атомной массы хлора (35,5 а.е.м.).

2 В этом смысле Alexander Bird различает ключевые смыслы и подходы к научному прогрессу: проблемно-функциональный, семантический (приближение к истине) и эпистемический (получение лучше-обоснованного знания) [Bird, 2007: 64-89].

целью объяснения аномалий. Напротив, теории проходят тест на жизнеспособность (и в известном смысле на фертильность), подвергаясь фальсификациям как функциональному аналогу естественного отбора. В этом смысле сама эволюция концептов представляла как процесс *trial and error*, в результате которого выживал наиболее приспособленный. Прохождение таких проверок на фальсифицируемость косвенно указывало на некое постепенное приближение к истине (*verisimilitude*). В этом обстоятельстве и сам Поппер чувствовал противоречивость своего эволюционного подхода, ведь повторные успешные тесты, которые преодолевала та или иная теория, подводили к индуктивному выводу о некой лучшей приспособленности данной теории¹. И этот «налет индукции» был несовместим с общим антииндукционизмом Поппера. Ведь всякий «выживший» в конкуренции концепт, тем не менее, по Попперу, не должен был бы претендовать на приоритет, поскольку никакое приближение к истине (*verisimilitude*) не должно было апеллировать к такому ненадежному средству обоснования как индуктивный ряд удачно пройденных тестов. Ведь никакая индукция, с точки зрения самого Поппера, не уменьшала вероятность возможных в будущем фальсификаций и никак не смягчало жесткость соответствующего логического закона *modus tollens*, которому де подчинялось развитие науки.

То, что «приближение к истине» подразумевало некую, пусть недостижимую, конечную цель научного развития, указывало на то, что Поппер до конца не избавился от «телеологического» понимания науки, от влияния так называемой «староевропейской семантики»,

1 Вообще тезис о «лучшей» адаптации не выдерживает критики с точки зрения биологически фундированной общей теории эволюции. Ведь все приспособившиеся биологические виды либо адаптируются хорошо, либо не адаптировались совсем. В этом смысле наличие концептов, которые дают сравнительно лучшее или худшее объяснение, выглядит не какой аномалией в контексте общей теории эволюции.

то есть от представление о том, что после обнаружения окончательных истин эволюция знания придет к своему завершению – покою или «состоянию перфекции» [Luhmann, 2017]. В нашей эволюционной терминологии это недостижимое состояние мы обозначаем как «глобальную оптимизацию» научной теории.

Стивен Тулмин, в свою очередь, по-своему применяет идеи Дарвина к анализу научного прогресса с точки зрения процедуры обоснования научного знания. В какой-то степени, ему удастся преодолеть опасности индуктивизма, с которыми столкнулся Поппер. Тулмин, исповедовавший дескриптивный подход к истории науки и в целом призывавший отказаться от понимания развития науки как истории логически связанных пропозиций, рассматривает истории научных теорий по аналогии с развитием эволюционирующего организма [Тулмин, 1984]². Природный отбор, с его точки зрения, воздействует на множества «концептуальных вариантов», и выживают лишь «наиболее приспособленные» к «давлению со стороны объяснительных требований», к аномалиям. Появляющиеся и требующие объяснений аномалии и есть те самые «естественные условия» среды, к которым должна приспособиться парадигма (или сумма «концептуальных популяций»). Новое знание, полученное и обоснованное в контексте «объяснительных аномалий», выступает в данном подходе критерием научного прогресса.

Наш краткий экскурс показал, что эволюционная интерпретация научного прогресса, по меньшей мере, не противоречит никакому из трех основных (проблемно-ориентированного, семантического и эпистемического) смыслов научного прогресса [Bird, 2007]). Ниже мы попробуем развить эволюционную аналогию науки с целью прояснить и уточнить понятие научного прогресса.

2 Долгосрочные крупномасштабные изменения в науке, как и везде происходят не в результате внезапных «скачков», а благодаря накоплению мелких изменений, каждое из которых сохранилось в процессе отбора в какой-либо локальной и непосредственной проблемной ситуации.

Пять проблем эволюционного решения парадокса научного прогресса

Эта эволюционная аналогия столкнулась с целым рядом проблем, которые указывали на рассогласованность эволюционного развития науки и эволюционного развития органической жизни. Требовали решения, прежде всего, следующие вопросы:

- (1.) Какие процессы или инстанции в науке могут выступать аналогами генотипа и фенотипа?
- (2.) Что в научном познании может быть сопоставлено с органической популяцией как носителем всей совокупности новообразованных свойств?
- (3.) Что представляет собой та внешняя среда, к которой приспосабливается научное познание?
- (4.) Есть ли в научном познании аналог полового отбора, ускоряющего и уплотняющего вариативное разнообразие?
- (5.) Как продуманные, обоснованные и целеориентированные научные вариации (гипотезы, объяснения, проекты и т.д.) могут выступать аналогами случайных биологических мутаций?

Какая же инстанция в научном исследовании выступает аналогом организмов или фенотипов, выступающих «материальными воплощениями» генетически-заданных инструкций? С эволюционной точки зрения, лишь «материальные воплощения» теорий могут непосредственно конкурировать друг с другом на предмет лучшей адаптации к «материальному» внешнему миру и пролиферировать в случае эволюционного успеха. Но на эту роль могут претендовать самые разнородные сущности. Это могут быть и эмпирические следствия теории (или «экзистенциальные гипотезы», «science extending operations» в смысле Харре [Harre, 1970: 161]) как «материальные воплощения» абстрактных теоретизаций. Кроме того, такими «материальными реализациями» теорий могут выступать и теоретические модели – идеа-

лизации природных процессов¹. Но в качестве фенотипа можно рассматривать и конкурирующие друг с другом научные коллективы, а также имеющие материальное (физиологическое) основание ментальные процессы, активирующиеся в сознаниях ученых после усвоения или формулирования ими той или иной научной теории.

Не менее дискуссионен и вопрос о среде, которая осуществляет внешнюю селекцию приспособляющихся к ней лучших теорий. Эту «внешнюю среду», в отличие от конкретной адаптирующейся системы, чрезвычайно трудно определить во всей ее многомерности, комплексности и каузальном значении для этой системы. ее роль может играть и эмпирия наблюдаемых фактов, к которым должны «адаптироваться» теоретические конструкции. Но в этой функции «внешней среды как фактора естественного отбора» могут выступать и социальные системы (научные институты, образование, индустрия, политические регуляторы науки и т.д.) как системные «потребители», заказчики и «оценщики» научных достижений. Впрочем, и конкретные люди выступают непосредственными «благоприобретателями» от достижений научного прогресса.

Кроме того, требует решения проблема «локального оптимума» (пятый пункт нашего проблемного списка), с которой сталкивается эволюционизм в его реконструкции научного прогресса. Ведь в отличие от организмов, «неразборчивых» в своих формах адаптации, теории претендуют на истину как некое абсолютное значение своих утверждений или «глобальный оптимум». Ученые не удовлетворяются лишь правильными предсказаниями (в стиле птолемеевских эпициклов) или *ad hoc* предположениями, позволяющими, в соответствии с

¹ Так, более простая модель идеального газа конкурирует с более сложной моделью «вириального расширения» газа за лучшее «приспособление» к реальности, где в качестве таковой может выступать «поведение газа» в природе. Первая демонстрирует большую объяснительную силу. Вторая более точна в предсказаниях, что выступает ее конкурентным преимуществом [Cartwright, 1983: 57].

тезисом Дюгема-Куайна, адаптировать теорию практически к любой эмпирической реальности¹.

В этом смысле пул вариативности научных предложений и гипотез, с точки зрения критиков эволюционного подхода к науке, уже на этапе варьирования определяется (и как следствие, существенно ограничивается) требованиями будущей селекции, целевыми ориентирами, требованиями научных методологий, ожиданиями научного сообщества и так далее. Это существенно ограничивает эвристичность самой эволюционной теории в ее применении к научному прогрессу, ведь в этом случае приходится отказываться от ключевого этапа эволюции – механизма генерирования случайных вариаций.

Впрочем, эвристичность эволюционной теории науки ставит под вопрос и другое рассогласование с органической эволюцией в области случайной генерации «мутаций». В рамках последней вариативность новообразований, как известно, интенсифицируется в процессе бисексуального воспроизводства (четвертый пункт нашего проблемного списка). есть ли в науке аналогичные механизмы ускорения вариативности?

Индивидуация научной теории: семантическая и каузальная

Означенные трудности рассогласования общей теории эволюции и эволюционной теории научного прогресса нашли выражение в ведущих эволюционных подходах к науке, столкнувшихся с проблемой «индивидуации научной теории». Чтобы научное производство распределялось по выделенным уровням эволюции (уровням вариаций, отбора, популяций), теории должны так или иначе индивидуализироваться. Те или

иные варианты теории (например, различные версии Ньютонической механики или квантовой механики), очевидно, отличаются от их первоначальных формулировок. Первоначальные версии служат началом «концептуальных линий» (Дэвид Халл), индивидуализирующихся в ходе своей эволюции на их варианты или конкретные реализации. Но такая индивидуация сталкивается с парадоксом.

С одной стороны, формулирование научной теории представляет собой причинно-обусловленный процесс. Одни ученые учатся у других и перенимают их достижения, формулировки, понятия, методы, научные цели. И эта социально-историческая ткань науки вызывает континуальные свойства, не может быть разорвана, несмотря на всю противоречивость вариантов теорий, предложенных этими взаимодействующими учеными. Теория в этом случае индивидуализируется в физическом пространстве и времени как каузальный процесс – вне всякой связи с наличествующим или отсутствующим ее семантическим единством.

С другой стороны, каждая теория должна содержать внутренне непротиворечивое ядро (*hardcore* в смысле Лакатоса), и поэтому может инвариантно воспроизводиться на протяжении целых десятилетий и столетий. Теория индивидуализируется в этом случае на основе ее воспроизводящегося во всех вариациях семантического ядра.

Как в этом случае обеспечить индивидуацию теории, т.е. зафиксировать комплексные единицы научного знания, которые, собственно, оцениваются и сменяют друг друга в ходе научного прогресса? Ведь для этого требуется совместить очевидную исторически данную каузальную континуальность теорий (где одни высказывания ученых провоцируют, вызывают к жизни ответные высказывания) с логической (или семантической) континуальностью научной теории?

Оба фактора помогают ясно зафиксировать про-

¹ Возможно, впервые такую стратегию локальной оптимизации научной теории сформулировал Оскар в письме Копернику. И все-таки ученые, предлагая конкурирующие версии или варианты, не просто стремятся победить любыми способами, дав правдоподобный ответ, но и претендуют на истинность.

странственно-временные границы «индивидуализированных теорий» как своего рода «вещей». Но как отличить некий «мгновенный срез» или конкретную версию (теория как *token*) континуальной, длящейся, но в себе идентичной теории, от самой этой теории (теория как *type*). Ведь замещение таких индивидуализированных теорий другими, более успешными теориями, и составляет эволюционный процесс и в этом смысле научный прогресс¹? Без экспликации критериев ее индивидуальности, всякое вопрошание о критерии лучшей теории, и в этом смысле о научном прогрессе, может остаться без ответа. рассмотрим эти способы индивидуализации более обстоятельно.

Каузальный прогресс в эволюции научной теории
(Дэвид Халл)

Эволюционная аналогия применительно к научному прогрессу в рамках «каузальной индивидуации» была понятийно разработана Дэвидом Халлом. В его «Общей теории процесса отбора» [Hull, 1988] эволюционные механизмы описываются с помощью понятий репликатора, интерактора и селекции:

- (1.) Репликатор – сущность, воспроизводящая свою инвариантную структуру в следующих друг за другом репликациях;
- (2.) Интерактор – сущность, которая как интегрированное целое вступает во взаимодействие со средой, благодаря чему репликации дифференцируются;
- (3.) Селекция – процесс, в котором дифференцированное вымирание или пролиферация интеракторов, в

1 Такое смешение токена и типа вызвала, например, осуществленную Ван дер Ваальсом экстраполяцию кинетической теории на газы с большим давлением. Пьер Дюгем посчитал это заменой одной теории на другую (т.е. смену типов). В то время как Н.Р. Кэмпбелл рассматривал это лишь как расширенную версию (как смену токенов в рамках типа) кинетической теории

свою очередь, дифференцирует воспроизводство соответствующих репликаторов [Hull, 1988: 408-409].

Это обобщение специфицируется применительно к органической эволюции, в которой репликаторами выступают гены и их алели. Применительно к научной эволюции репликаторы представлены понятиями, положениями, исследовательскими техниками и так далее. В обоих случаях репликаторы являются единицами вариативности, способными к самокопированию, и отвечают за первый и самый скрытый (практически не взаимодействующей со средой) механизм эволюции.

На втором «этаже» эволюции действуют интеракторы, представленные фенотипами органического мира. Их аналогиями в науке выступают исследователи или группы ученых как субъекты и, одновременно, объекты эволюционного отбора.

И наконец, на третьей стадии некоторые отобранные свойства стабилизируются в виде популяций (в органическом мире). В науке их аналогами оказываются «концептуальные линии». Эти линии могут менять свою семантику, но при этом сохранять временную континуальность: «Эволюционная линия есть сущность, которая бесконечно меняется во времени, сохраняясь в том же самом или измененном состоянии в результате репликации. Ни гены, ни организмы не могут функционировать как линии, поскольку ни те, ни другие не могут меняться, не становясь численно отличными друг от друга индивидуальностями. Однако и те, и другие они образуют линии, которые могут и должны развиваться» [Hull, 1989: 106].

Эволюционный процесс смены теорий представляется Халлом в его понятии индивидуации через наименование. Это позволяет как-то различить инвариантную «теорию как тип» и ее вариацию («теорию как *token*»), а значит – развести фенотипический и популяционный уровни эволюции. С одной стороны, у теории имеется основоположник, имя которого она, как правило, но-

сит (например, дарвинизм). Эта теория развивается его учениками, причем каждая следующая версия (нередко противоречащая первоначальному варианту) причинно сопряжена с предыдущими версиями благодаря тем или иным физическим контактам (личному общению ученика или учителя, письму и чтению). Историческая континуальность индивидуализированных теорий обязана именно такой физической причинности, хотя эта континуальность допускает противоречащие друг другу версии одной в рамках одной «концептуальной линии»: «... подобно тому, как виды нельзя трактовать одновременно и как исторические сущности, и как вечные и неизменные виды природы, так же нельзя трактовать и концепты. ... если придерживаться эволюционной трактовки концептуальных изменений, то базовые единицы как эволюционной биологии, так и эволюции концепций следуют рассматривать как тождественный род вещей – либо как классы, неограниченные в пространстве-времени, либо как линии в пространственно-временном континууме. В моей трактовке я выбираю вторую альтернативу. Вещи, развивающиеся в результате селекции, будь они виды или концепты, должны трактоваться как исторические сущности» [Hull, 1988: 16].

В этом контексте версия Чарльза Дарвина и версия Альфреда Уоллеса составляют общую непрерывную концептуальную линию дарвинизма, тогда как независимая (хотя и концептуально родственная теория Патрика Мэттью) причинно не связана с дарвинизмом и поэтому не принадлежит этой концептуальной линии [Hull, 1989: 233].

Круговой характер теории Халла и трудная проблема научного прогресса

При этом теория Халла, реконструируя процесс отбора теорий и в этом смысле выступая методологическим подходом к оценке лучших научных теорий, сталкивается с парадоксом самообоснования. Претендуя на

истинность, методологическую значимость, жизнеспособность и пролиферацию, она и сама должна отвечать выдвигаемой ею критериями. То есть, чтобы быть «лучшей методологией», она и сама должна образовывать «концептуальную линию», и как таковая должна как-то сталкиваться с внешней средой, адаптироваться к ней, отбираться или отклоняться на этом основании. С нашей точки зрения, ее успешность можно было бы объяснить ее способностью разъяснить трудную проблему научного прогресса, частью которого ей суждено стать (или не стать) в случае этого успеха.

Другими словами, эволюционная теория науки, чтобы быть успешной научной теорией, должна объяснить успехи науки как эволюционирующей системы. Она должна ответить на вопрос о том, почему наука превратилась в мощнейшее и влиятельное предприятие, способное осуществлять не только прикладные, но фундаментальные исследования, то есть решать автономные задачи и выполнять автономно-поставленные цели, которые не имеют прямой и очевидной связи с прибылью или полезностью для сопредельных социальных систем или сообществ (то есть для той внешней среды, к которой она адаптируется). Эта теория в том случае «хорошо адаптируется к среде», если ответит на ряд вопросов: о том, почему общество как внешняя среда науки платит (тем самым осуществляя селекцию) тем, кто удовлетворяет собственное любопытство за государственный счет; о том, почему научному сообществу удалось организовать таким образом, чтобы конкуренция за отбор не мешала, а, напротив, поддерживала внутреннюю солидарность, причем на основе исключительно внутринаучных механизмов. При том, что в сопредельных коммуникативных системах такого рода естественная интеграция через конкуренцию наблюдается далеко не всегда. Так, внутренние механизмы свободной конкуренции в экономике оказались недостаточными для ее саморегуляции, приводят к регулярным кризисам и

требуют внешнего ограничительного (селекционного) вмешательства со стороны «агентств рациональности» [Olson, 1965]. Хозяйство не может обойтись без внешней рационализации и регулирования, изъятия и редистрибуции части прибыли, установления антимонопольных законов, и, как следствие, ограничения экономической конкуренции и внутренней автономии. Хозяйство все еще генерирует внутренние социальные конфликты и раскалывает интересы участников экономической коммуникации.

Между тем, в науке, в отличие от хозяйства, саморегуляция и не менее жесткая конкуренция (и за ограниченные ресурсы финансирования, и особенно за временной приоритет в научных открытиях) дополняют друг друга, обеспечивают внутреннюю интеграцию и в существенно меньшей степени требуют такого рода «внешней» (например, политической) рациональности. Наука создает собственные «агентства рациональности» и механизмы саморегуляции, не раскалывающее, но объединяющее сообщество, занятое научным трудом. Наука рационализирует саму себя, создавая корпоративную этику (как например, научная этика Роберта Мертона), вокруг которой как бы сама собой кристаллизуются так называемая «scientific self-policing» [Baldwin, 2015], энтузиасты и волонтеры, отслеживающие соблюдение научной этики.

На наш взгляд, именно эволюционное понимание науки объясняет то, что индивидуалистические цели ученых совпадают с целями науки как сообщества. Или (если привлекать терминологию Халла) исследователи-интеракторы заинтересованы в признании со стороны других интеракторов. Словно следуя теории рационального выбора, их индивидуальная «прибыль» исчисляется и зависит от того, будет ли их вклад в «концептуальные линии» признан и востребован другими исследователями; от того, процитируют ли их другие ученые; а значит, оттого, будет ли продолжена та самая

концептуальная линия (или «теория как тип»), инвариантные структуры которой они воспроизводят в своих репликациях; от того, защитят ли они эту линию как физически действующие интеракторы – в дискуссиях, на конференциях, защитах диссертаций.

В этих условиях отказ от научной честности, подлог, фабрикация результатов, как раз и приводит к разрыву причинных связей, разрыву континуальности и, как следствие, концептуальные линии (а значит и сами интеракторы) не «выживают», не пролиферируют, но отфильтровываются средой: «... это объясняет, почему обман (публикация сфабрикованного исследования) встречается гораздо реже, чем кражи (непризнание чужих приоритетов), где такое признание следовало бы сделать. Это также объясняет, почему неэтичное поведение в общем встречается так редко ... и почему ученые сплочены более тесно друг с другом, чем представители других профессий» [Hull, 1988: 302].

Внимание к континуальности и этически-нормированному воспроизводству структур (временному приоритету, четкости цитирования) строго поддерживается и контролируется самими интеракторами, некоторые из которых рекрутируются во «внутреннюю научную полицию».

Расширительное толкование эволюции науки (Майкл Руз)

Концепция Халла вызывает ряд возражений. С одной стороны, в науке процесс генерирования вариации не отличим от их отбора и даже ориентирован на него¹. С другой стороны, «концептуальные линии» в раз-

1 «Гамета не обладает способностью предвидения, чтобы мутировать предпочтительно в пре-адаптированном направлении к новым экологическим условиям, с которыми собираются в некотором будущем времени столкнуться произведенные из нее (гаметы) организмы» [Cohen, 1973: 47]. Между тем в науке понятия, исследовательские техники, методологические правила и так далее создаются осознанно, осмысленно и целенаправленно – с прицелом на их

витии научных понятий или научных теорий несколько не похожи на свой биологический аналог или прототип, а именно – на биологический вид или популяцию. В этом смысле различные уровни или механизмы варьирования, селекции и стабилизации унаследованных признаков в популяциях выглядят в науке не настолько глубоко дифференцированными, как это имеет место в органической эволюции. Ученые в своих гипотезах и проектах словно заранее ориентированы на планирующий в будущем отбор, и, именно исходя из заранее известных критериев отбора, формулируют собственные версии. Поэтому ключевое утверждение об эволюционной аналогии между наукой и органическим миром оказывается под вопросом.

Эта проблема до определенной степени решается в более широкой версии эволюционной концептуализации науки. С этой точки зрения, механизмы научной эволюции, конечно, могут выказывать свойства, не согласующиеся с органической эволюцией. Но научная теоретизация в этом случае может интерпретироваться как некое родовое свойство социальности и человека разумного, развившего в себе когнитивную («протонаучную») ориентацию во внешнем мире как собственное эволюционное преимущество в конкуренции с другими видами. Эволюция *Homo Sapiens* как вида предполагало (возникшую случайно и совсем не ориентированную на будущий отбор!) кристаллизацию ряда эволюционно-успешных «протонаучных» «эпигенетических правил» приспособления к окружающей среде. речь, например, может идти о дискретизации непрерывного спектра на отдельные цвета (что, среди прочего, предположительно, помогало отличать спелое от неспелого), о врожденных языковых структурах в смысле Хомского, о социальном запрете на обман членов сообщества и т.д.

В этом смысле научный прогресс понимается как

последующий отбор в качестве универсально-признанных другими исследователями и соответствующих актуальному научному знанию.

развитие означенных «эпигенетических правил», обеспечивающих выживание человека. То, что впоследствии предстало как диспозиции научной рациональности (требования избегать противоречий, проверять высказывания, распознавать паттерны, делать успешные предсказания), в сущности, является лишь поздним оформлением эволюционно-адаптивных приобретений человека разумного, базовым условием человеческого существования, выживания и распространения как вида. В этом смысле требование научной истинности можно было бы интерпретировать как расширение эволюционно-успешной нормы запрета на обман, которая когда-то интегрировала примитивные сообщества.

Семантическая индивидуация научной теории

Серьезные аргументы против концепции Халла были высказаны внутри самой эволюционной теории науки. Так, эволюционно-семантический подход Стивена Гулда, в свою очередь, исходит из необходимости индивидуации теории как условия (реконструкции) научного прогресса. С точки зрения Гулда, некоторая теория в том случае демонстрирует континуальность и может индивидуализироваться, если в различных ее версиях и формулировках воспроизводится некоторая аксиоматическая основа, сумма предложений и смыслов входящих терминов, образующих ее концептуальное ядро: «...если я хочу называть себя дарвинистом в справедливом или всем признаваемом смысле такого притязания, то я не могу быть квалифицирован в этом качестве лишь путем предъявления документов о моей локации в рамках непрерывной линии учителей и учеников, транслировавших друг другу некое множество меняющихся идей, организованных вокруг общего ядра [...]. Я должен также сам распознать содержание этого лэйбла» [Gould, 2002: 9]¹.

1 Например, и сам дарвинизм представлен множеством суждений, составляющим его концептуальное ядро, воспроизводящееся в каждой версии теории: « (1) если возникают наследуемые вариации, (2) если одна из вариаций подходит для выполнения некоторой задачи лучше, чем другая, (3)

В «Структуре эволюционной теории» Гулд доказывает «от абсурда», что историзация теории в стиле Халла приводит к парадоксу. Новая версия теории может вступать в противоречие с предыдущей, при том, что сама теория признается идентичной более ранней теории. Так возникает парадокс эволюционной философии науки.

Как же соединить очевидную физически-каузальную континуальность или единство «концептуальных линий» и «логическое измерение» единства научной теории? Ведь и то, и другое вместе помогает ясно зафиксировать границы «индивидуализированных теорий», сменяющих друг друга в ходе научного прогресса. или в другой формулировке: как отличить некий «мгновенный срез» или конкретный вариант (token) континуальной, но идентичной в себе теории от самой этой инвариантно воспроизводящейся теории (как type)? если внутри теории как типа происходят изменения и отрицания предыдущих версий, то уровневые различия между типами и версиями одного и того же типа становятся нечеткими.

Критика эволюционных концепций Д. Халла и С. Гулда

1. Первое улучшение: эволюционные измерения научной коммуникации являются равноправными.

Мы попробуем примирить концепции Халла и Гулда, применив концепцию трехмерного пространства научной коммуникации Никласа Лумана. Такого рода пространство образуется тремя равноправными предметно-тематическим, социальным и временным измерениями или горизонтами. Согласно Н. Луману, наука как социальная система (или концептуальная линия, в терминологии Халла), состоит из подсоединяющихся друг к другу коммуникаций [Luhmann, 1991]. Коммуникации, претендующие на статус научных (например, научные

если успех в ее выполнении влияет на способность организма выживать и справляться с воздействиями внешней среды, то естественный отбор производит эволюционные изменения». [Ghiselin, 1969: 65]

публикации, и другие научные сообщения), либо акцептируются как системные элементы, либо, напротив, отклоняются как не принадлежащие системе, если эти элементы получают соответствующие значения в рамках каждого из означенных выше горизонтов или измерений. Например, система успешно воспроизводится:

- если наличествует хотя бы минимальное согласие среди ученых, если научное утверждение (=запрос на коммуникацию) получает значение, соответствующее тем или иным конвенциям в самом широком смысле, в том числе, правилам поведения в научном сообществе, правильного цитирования, оформления, структурным требованиям к научной статье и так далее (социальное измерение);

- если коммуникации дифференцированы и структурируются вокруг актуальных тем или проблем научной коммуникации (предметное измерение);

- если наличествуют ожидания в перспективности некоторой теории, ожидания, что проект приведет к научному открытию в некотором обозримом будущем; или если теория хорошо предсказывала прошлые и предсказывает будущие события (временное измерение)¹, даже и в том случае, когда нет уверенности в предметной ис-

¹ О том, что предметное обоснование положений теории может осуществляться относительно независимо от его временного обоснования, например, путем ссылок на прошлые или будущие свидетельства см. соответственно: [Glymour, 1980: 74; Miller, 1987: 297-389; Zahar, 1973: 103]. Более ранний нулевой результат эксперимента Майкельсона-Морли все-таки должен быть признан «новым», то есть более поздним подтверждающим свидетельством в пользу сформулированной позже СТО, ведь Эйнштейн изначально не принимал этот результат как проблемное (предметное) условие для формулирования своей теории. Но это же различие старого/нового не синонимично и различию социально-нового и социально-старого знания, то есть тому, насколько неожиданными для сообщества (противоположным существующим конвенциям) или ожидаемым (конвенциональным) был результат эксперимента. Все это подтверждает, что то или иное свидетельство может принимать различные (и позитивные, и негативные) значения в трех означенных измерениях, поддерживать теорию в одном, но требовать ее отклонения в другом измерении.

тинности научных предложений¹).

В этом системно-коммуникативном контексте становится очевидным, что идеи С. Гулда отдают приоритет предметно-тематическому горизонту научной коммуникации. Идея Д. Халла, напротив, апеллирует к социальному измерению, в котором континуальность коммуникации ученых и научных групп определяет пространственно-временные границы («рождение и разрушение») некоторой теории в буквальном смысле как «физической вещи». Каждый из них фактически исходит из того, что лишь какое-то определенное (либо социальное, либо предметное) измерение индивидуализирует (= реифицирует) научную теорию в указанном выше смысле.

Мы исходим из того, что сложную диалектику измерений научной коммуникации можно реконструировать, исходя из того, что все означенные измерения принципиально равноправны², хотя в разные эпохи и в различных общественных условиях, в специфических дисциплинах и на разных стадиях развития науки то или иное измерение может доминировать. Например, в советской науке социальное измерение очевидно доминировало, определяя актуальность тех или иных тематик³, так и временную приоризацию тех или иных проектов и научных направлений.

1 Скандально-известное правило Тициуса-Боде долгое время рассматривалось многими как научный закон за счет такого рода акцидентальных, но постоянно подтверждающихся относительно правильных, предсказаний расстояний между Солнцем и новооткрываемыми планетами. Логическую интерпретацию см.: [Pietse, 1992].

2 Что не отменяет парадоксов самообоснования: сам контент той или иной признанной теории, экспериментально подтвержденных в лабораториях мира, и получивший характер коллективного знания, определяет научный консенсус среди ученых. Но ведь именно это единство мнения ученых как раз и является аргументом в пользу истинности данной теории.

3 Понятия «конкуренции» изгонялись не только из экономической теории, но даже из биологии. и напротив, «коллективность», «кооперация» и «солидарность» приветствовалось как понятия, применимые для описания предметов самых разных дисциплин [Todes, 1989].

2. Второе улучшение теории Халла: от «естественного отбора» к эволюционным механизмам (варьирования, селекции, стабилизации).

Другое возможное улучшение концепций Халла и Гулда могло бы состоять в переинтерпретации их понимания «популяции». Научный аналог биологической популяции они усматривают в «концептуальных линиях» (теориях как типах). Теории как типы словно состоят из своих «индивидуальных выражений» (tokens). Скажем, Ньютонова механика как концептуальная линия в этом смысле «включает» в себя свои версии, интерпретации или токены (например, модель Эрнста Маха, обходящаяся без абсолютного пространства, времени и движения, или модель Генрика Лоренца с его корректировками механики Ньютона при больших скоростях). Так же и квантовая механика может представлять таким социальным аналогом биологической популяции и включать в себя (как показал фон Нейман) эквивалентные токены в виде матричной механики Гейзенберга и волновой механики Шредингера.

Именно «концептуальные линии» как популяции выступают у Халла и Гулда подлинными субъектами внешнего отбора (хотя Халл и допускает, что отбор может осуществляться и на других уровнях эволюции). Точка зрения, согласно которой аналогом популяции в науке выступает теория как тип, которая воспроизводится в виде токенов, выглядит некоторым отклонением от биологически фундированной общей теории эволюции. Согласно последней, субъектом естественного отбора являются не популяции, а фенотипы (организмы), физически сталкивающиеся с внешней средой.

Но ведь сами научные теории (неважно типы или токены) непосредственно физически не тестируются на предмет их эмпирической валидности (в самом широком смысле). Это происходит опосредовано и самыми разными путями – путем экспериментов и наблюдений, путем одобрения экспертами, научными советами

или редколлежиями, посредством грантовой поддержки или «покупки» научного продукта индустрией или государственным регулятором. Не теории «встречаются с внешней реальностью» и, в конечном счете, отбираются неким независимым от самой науки арбитром-селекционером. или, если сказать по-другому, отбор теорий не является прямым результатом ее физического контакта с реальностью или внешней средой.

На наш взгляд этот разрыв между теорией и внешней средой в ее функции внешнего селекционера вовсе не противоречит ключевой идее Халла о том, что научные «концептуальные линии» получают индивидуацию именно как аналоги популяции и что они могут реифицироваться в пространстве-времени как некие длящиеся во времени «индивидуальные вещи». На наш взгляд этого рассогласования между пониманиями органической и научной эволюции можно избежать, если не ограничивать действие «естественного отбора» научных теорий на специфическом (генотипическом, фенотипическом или популяционном) уровне, где должна состояться «встреча с реальностью» как всемогущим селекционером или третейским судьей), а использовать схему обособленных эволюционных механизмов Кэмпбелла-Лумана [Luhmann, 1998; Kampbell, 1960]. Благодаря этому трансформируется классическое различие внутренней вариации и внешней селекции. Вариативность может иметь внешние импульсы, а отбор может предуготовливаться изнутри.

Означенные механизмы эволюции могут быть рассмотрены как обобщение и биологической, и социальной, и научной эволюций. Эти механизмы на каждом этапе проясняют и конкретизируют условия принятия и отклонения (отбора) «сообщений» (в том числе научных) и проблемы разрыва со средой не возникает.

В схеме социальной эволюции Никласа Лумана (в том числе применительно к научной эволюции) этим стадиям соответствуют три механизма:

(1.) Механизмы принятия / отклонения коммуникации. Благодаря языковому механизму отрицания, т.е. благодаря тому, что уже в естественном языке наличествует частичка «не», отрицание может применяться к любому утвердительному высказыванию.

Это и обеспечивает функцию максимизации вариативности, в том числе и применительно к научным сообщениям;

(2.) Механизмы отбора коммуникативных сообщений обеспечивают свое действие посредством «символически-генерализированных кодов» (власти, денег, веры, истины соответственно в политической, хозяйственной, религиозной, научной коммуникативных системах); благодаря этим механизмам осуществляется отбор лучших публикаций в науке, лучших предложений на рынке, лучших политических программ и т.д.

(3.) Механизмы стабилизации новообретенных эволюционно-успешных признаков. На этом уровне отобранные сообщения получают свою, окончательную, универсально-признанную, внутренне-непротиворечивую форму. Появление зрелой, дисциплинарно-дифференцированной науки как полноценной коммуникативной системы и есть уровень популяции, на котором в рамках обособленных дисциплин возможно формирование неких законченных, стабильных форм знания (парадигм, научно-исследовательских программ и т.д.).

3. Третье улучшение: континуальность теории зависит от наблюдательной позиции.

Третье улучшение предполагает отказ от научного онтологизма, который непосредственно вытекает из абсолютизации предметного измерения научной коммуникации. Такого рода онтологизм исходит из наличия «концептуальной ядра», состоящего из утвержде-

ний, описывающих «онтологически данные» сущности (субстраты, процессы, физические константы, частицы, поля, энергию, энтропию и так далее), то есть естественно-данные референты теорий. и именно пространственно-временная непрерывность или дискретность этих референтов, фундаментальных сущностей или процессов природы в этом случае определяют континуальность и пространственно-временные границы концептуальных линий, описывающих эти сущности, как это описывается в подходе Гулда. Этот онтологизм утверждает приоритет предметного измерения научной коммуникации. Она словно следует за континуальным предметом теории – как основанием континуальности самой теории и единства ее концептуального ядра¹.

Но ведь всякое утверждение о какой бы то ни было континуальности в теории предполагает наблюдателя, фиксирующего эту континуальность с какой-то своей особой позиции. «Концептуальное ядро» (как стержневое образование в каждой концептуальной линии), на непротиворечивом воспроизводстве которого настаива-

1 В пользу (оспариваемой нами) ведущей роли предметного измерения эволюции науки свидетельствуют, среди прочих, ряд подходов. Например, идея Селларса об «идентичности» теоретической модели и описываемого в ней предмета: «Газ при небольшом давлении тождественен его модели – облаку молекул как точечных масс, на которые почти не влияют межмолекулярные силы» [Sellars, 1989: 348]. другой аргумент в пользу приоритета предметного измерения эволюции над социальным обнаруживается в рамках так называемого «пропозиционального» подхода к науке («Nonstatement view of theory» [Suppe, 1971]). различные версии теории получают свой статус вариантов (tokens) одного и того же типа или инварианта (как в вышеприведенном примере с квантовой теорией) именно благодаря наличию этого предметно-определенного концептуального ядра. Функцию концептуального ядра тогда выполняет пропозиция как «положение дел», определяющее истинность различных версий одной и той же теории. Теория как тип в этом смысле предстает как некая «подлинная реальность сама по себе», «нелингвистическая сущность», которая инвариантно проявляется в разных синтаксических формах (и в механике Гейзенберга, и в механике Шредингера), которые оказываются лишь «репликами, идеализациями физических систем». [Suppe, 1971: 222]

ет Гулд, с этой точки зрения вполне может «сохраняться», продолжать воспроизводиться даже при отклонении старой теории и при переходе к новой. Это обстоятельство в каком-то смысле утверждается в принципе дополнительности Нильса Бора применительно к квантовой теории и классической механике. Так, утверждая континуальность концептуальной линии геоцентризма наблюдатель всегда может апеллировать к принципу относительности и равноправности всех систем отсчета в зависимости от целей и задач своих расчетов или наблюдений. Например, траектория ракеты или морская навигация может ориентироваться на Землю как центр системы отсчета. В этой ограниченной области применения и с точки зрения данной наблюдательной перспективы теория геоцентризма не отклоняется, а словно «континуализируется», адаптируется к конкретной эмпирической реальности и отбирается исходя из нее, что никак не противоречит онтологическому установлению о том, что все-таки Солнце и планеты вращаются вокруг общих гравитационных центров. В этом смысле континуальности и дисконтинуальности зависят от наблюдательной перспективы, задач, практических потребностей, широты взгляда и фантазии наблюдателей.

Однако и Гулд прав в том, что предметно-тематическое измерение (при всей относительной произвольности и зависимости от наблюдательной позиции тех, кто фиксирует континуальность или дисконтинуальность концептуальных линий исходя из свойств референтов теоретических описаний) все-таки является самостоятельным измерением эволюции научной теории и научного прогресса наряду с социальным и временным измерениями. Так, гелиоцентрическая система Коперника, несмотря на то, что во временном измерении (то есть в своей способности предсказывать будущие положения планет Солнечной системы) она существенно не превосходила геоцентризм Птолемея, в частности, сохраняла эпициклы и деференты, все-таки в предмет-

ном измерении она, очевидно, входит в «концептуальную линию» классического гелиоцентризма (Кеплера, Ньютона и так далее), не предполагающей никаких эпизодов и деферентов.

Системно-коммуникативный подход: от проблемы референции к самовоспроизводству в многомерной внешней среде

Если применять системно-коммуникативное понимание эволюции для объяснения прогресса научного знания, то приходится существенно менять способы объяснения развития науки, переходить от «проблемы референции» к «проблеме воспроизводства» научной коммуникации. Это требует дополнить предметно-тематическое измерение научного прогресса другими измерениями многомерной внешней среды науки¹.

Предшествующая эволюционная теория познания служила неким решением (или прояснением) главным образом проблемы референции, как это было рассмотрено выше в подходе Майкла Руза. Правильная, адекватная (= адаптирующаяся к реальности) фиксация предмета как условие отбора и выживания познавательной способности и ее носителей – вот, что связывает в этом случае эволюционно-полезные свойства науки и эволюционно-полезные познавательные способности организма: «если бы глаз не видел чего-то действительно наличествующего в реальности, то он бы едва ли смог утвердиться как эволюционное достижение» [Luhmann, 2017: 216]. если бы наука не фиксировала реальные предметы, она бы не утвердилась как эволюционно-успешное общественное предприятие.

Напротив, в системно-коммуникативном подходе

1 Уилкинз, в свою очередь, ссылаясь на данное понятие многомерного «фитнес-ландшафта» С. Гаврильца, как внешней среды науки, выделяет эмпирическое, социологическое и психологическое измерения комплексной среды науки [Wilkins, 2008]. На наш взгляд все они могут без ущерба для содержания редуцироваться к указанным: предметному, социальному и временному горизонтам.

к эволюции аналогия с органической эволюцией апеллирует к другому ее свойству, а именно – к способности воспроизводиться, к автопоэзису в контексте многомерной внешней среды. Системы заняты редукцией этой сложности, чтобы обособиться и нарастить собственную сложность, которая позволила бы им воспроизводиться относительно независимо от давления внешней среды². Так эволюционное преимущество вербализованного языка (в сравнении с языком жестов) состоит в том, что он сделал возможным самореферентное воспроизводство коммуникации (общества) практически независимо от данностей среды, которые обсуждаются или описываются в коммуникациях. В общественной коммуникации безусловно важны в том числе и адекватные описания внешней реальности (функция инореференции). Но эта инореференциальная функция коммуникации становится исчезающе малой в сравнении с самореференциальной функцией коммуникации. «Когнитивные аппараты» (организма, человека, научной коммуникации) выживают не столько благодаря достижению лучших (= более адаптивных и, как следствие, адекватных реальности) репрезентаций внешнего мира. Они выживают (как убедительно показал анализ латентных функций Роберта Мертона), поскольку способны успешнее других воспроизводить, прежде всего, самих себя в мире, объективное и предметное познание которого – лишь одно из условий этого самовоспроизводства.

Применительно к эволюции науки это означает, что в процессе познания отбирается знание на основе прошлых знаний, согласованного с многомерным ландшафтом среды. Эта идея комплексного и «многомерного фитнес-ландшафта» применительно к общей теории эволюции обстоятельно разработана Сергеем

2 Здесь получает объяснение эволюционная успешность именно фундаментальной науки (науки ради науки), слово освободившейся от внешнего принуждения со стороны общественной среды (индустрии, государства), требующих все новых, прежде всего, прикладных достижений.

Гаврильцом [Gavrilets, 2003] и отчасти решала кратко проблему «локального оптимума».

Ведь биологическому организму на пути выживания, успешного воспроизводства и размножения вовсе не обязательно достигать каких-то максимальных показателей на шкале адаптивности. Для своего воспроизводства ему достаточно и некоторого локального успеха, обеспечивающего эти задачи. Организмы не оптимизируют структуры, ориентируясь на задачу будущего лучшего приспособления. В этом смысле, вариации или мутации в органической эволюции никак не программируются исходя из будущих целевых ориентиров того или иного организма. Кроме того, в органическом мире реализуются многочисленные эволюционные изменения, не имеющих непосредственной связи с адаптивным успехом и тем не менее закрепляющихся в популяциях. Другими словами, генетические мутации как отдельный эволюционный механизм в рамках органической эволюции не подстраиваются специально под механизмы естественного отбора.

Напротив, в рамках научной эволюции, авторы публикаций, как мы уже говорили, стремятся «адаптировать» их к внешней среде (как бы ее ни понимать) и не удовлетворяются достижением «локальной оптимизации». Ученым недостаточно успешных предсказаний, «спасения видимости» без «проникновения в глубинную суть вещей».

Как утверждали противники применения полной эволюционной аналогии к науке, научные сообщения (гипотезы, предположения, научные проекты, выступления на конференциях) изначально ориентированы на достижения глобального оптимума, предварительно настроены на учет требований со стороны внешней среды (институций, осуществляющих внешнюю селекцию), как и других факторов отбора (требований ведущих журналов, ожиданий научных авторитетов, методологических и теоретических установок, требований

актуальности и новизны, вплоть до ожиданий госрегулятора или appetites технологических предпринимателей, оплачивающих прикладные исследования).

Здесь налицо рассогласование научной и органической эволюции. Однако его можно преодолеть, если мы вводим понятие «многомерного фитнес-ландшафта» применительно к науке (в интерпретации Сергея Гаврильца). Так, теория Коперника, сохраняя эпициклы, «выживала» и «пролиферировала» не потому, что достигла некоего «глобального оптимума» в сравнении с геоцентризмом Птолемея. Она выживала (воспроизводилась относительно независимо от внешней среды), поскольку отвечала комплексности «многомерного фитнес-ландшафта», в каждом измерении которого «оптимизация» получала различные, причем не всегда оптимальные, а значит, не всегда позитивные для гелиоцентризма, значения¹. Гелиоцентризм в предметном измерении эволюции не был более адаптированным к эмпирическим условиям в сравнении с геоцентрической системой. Но все-таки давал «обещания», был «перспективен» во временном измерении, поскольку демонстрировал перспективные расширения и распространялся на новые данные. Каждая из конкурирующих теорий достигала лишь локального оптимума в разных эволюционных измерениях научной коммуникации. С другой стороны, и геоцентризм, предлагая адекватные предсказания будущих положений планет, оставался неуязвимым во временном измерении эволюции. Но применительно ко всей комплексности «фитнес-ландшафта» геоцентризм не объяснял, почему дело обстоит так, а не иначе в предметном измерении. В частности, он не объяснял, почему ретроградное движение Юпитера имеет место чаще, чем ретроградное движение Марса. Теория

1 «Sciences do not typically adopt theories that are less empirically adequate than their predecessors, Copernicus' heliocentrism notwithstanding. But they may adopt a theory that offers some promise in gathering new or more accurate kinds of data even if at the moment of adoption they do not deliver» [Wilkins, 2008: 666].

Коперника, в свою очередь, не достигала глобального оптимума во всех измерениях научной коммуникации. Однако она охватывала больше данных в предметном измерении, кроме того, была перспективна и во временном измерении.

Итак, научная теория, подобно органическим формам, вовсе не достигает глобально-оптимальных значений, но в каждом из измерений комплексной «фитнес-среды» воспроизводится, постепенно улучшая свои значения, а их суммарная оценка является условием последующего отбора «лучшей». В этом смысле системно-коммуникативный подход к научной эволюции «снимает» как односторонности семантического подхода С. Гулда, абсолютизирующего предметное измерение научного прогресса, так и односторонность подхода Д. Халла, абсолютизирующего социальное измерение (трансфер теорий от одних ученых к другим ученым).

Именно этот синтез позволяет решить проблему ограничения пула вариативности, вытекающую из кажущейся ориентации ученых на глобальный оптимум, которая, как представлялось, характеризует научную коммуникацию в отличие от локальной оптимизации органической эволюции. С точки зрения приспособления к многомерной и комплексной внешней среде, понятие некоторого пикового (глобального или локального) значения некоторой эволюционной линии становится неприменимым.

В заключение мы рассмотрим, как конкретно реализуется механизм независимой вариативности в системно-коммуникативной интерпретации эволюции науки.

*Сознание ученого как «случай-сортировочная машина»
и решение проблемы ограниченной вариативности
научной эволюции*

Автопоэтический процесс воспроизводства структур научных теорий можно конкретизировать по каждому эволюционному уровню: механизмам изменчивости,

селекции, стабилизации.

Механизм изменчивости или вариативности имеет отношение к конкретным событиям научной коммуникации: «произносится, предлагается, описывается, и, возможно, печатается нечто новообразованное (неожиданное, отклоняющееся), условием которого является лишь понятность и письменная фиксация» [Luhmann, 2017: 215]. Вариативность форсируется и ускоряется в ходе процесса, который Луман обозначил как «взаимопроникновение сознания ученого и научной коммуникации».

Этот механизм элегантно решает проблему «локализации» фигуры ученого-исследователя как мыслящего и сознающего человека, с которой сталкивается эволюционный концепт Дэвида Халла. Ученые-исследователи как интеракторы, и в особенности структуры их сознания, осуществляют непосредственную мыслительную переработку старых и генерирование новых теорий, кроме того, задействованы в отборе лучших теорий. Но ведь ментальные структуры и сами хотя бы отчасти являются продуктами научных теорий (или шире: научных текстов). В этом смысле сознания или мыслительные ресурсы исследователей оказываются и продуктами-следствиями (фенотипами), и одновременно – носителями «генетической информации». В этом смысле сознание исследователя, с одной стороны, представляет собой некую форму хранения или генетической записи теоретически значимой информации, с другой стороны, оно предстает фенотипическим выражением тех же самых теорий и составляет ту внешнюю среду, с которой должны столкнуться и к которой должны адаптироваться научные теории.

В этом контексте «всеприсутствия» сознания ученого на всех уровнях эволюции научного знания (и вытекающий отсюда вывод о недифференцированности трех механизмов или уровней эволюции) вновь ставит под вопрос возможности экстраполяции общей теории

эволюции на науку и научный прогресс. И все-таки, на наш взгляд, эта проблема рассогласованности может быть устранена, если вслед за Луманом именно сознание (специальным образом подготовленного и профессионально-социализированного) ученого понимать как источник импульсов, генерирующий случайные вариации (своего рода мутации) для последующего независимого отбора на стадии селекции. Эта функция генерации случайностей обеспечивается тем, что у научной коммуникации и сознания разные материальные основы или «памяти».

На первом эволюционном уровне: «сознание играет особенную роль в том, чтобы на стадии варьирования – в большей степени, нежели в процессе эволюционной селекции, отвлекаться от внешних воздействий. <...> Сознание именно в собственном автопоэзисе продолжения от мысли к мысли ... делает возможными ... скачкообразные ассоциации. ... способно к невербальной переработке мыслей или подключает к вербальной мыслительной работе смутные ассоциации и рефлексии. Сознание чувствует свои мысли, контролирует себя, ориентируясь лишь на – находящуюся в его собственном распоряжении – память и поэтому может поразительным образом вторгаться в коммуникацию. Оно, с одной стороны, есть квази-материальная предпосылка коммуникации и с другой – раздражающая, сбивающая с толку, приводящая к беспорядку потенция, – не способная трансформировать актуализирующиеся структуры коммуникации; зато способная, раздражая, побуждать коммуникацию к определенной спецификации» [Luhmann, 2017: 220].

Социальная память науки (тексты публикаций) содержательно отличается от «спонтанной, невербальной, хаотичной» памяти сознания. В этом смысле на уровне вариаций в науке (где взаимопроникают и в этом смысле «взаимооплодотворяют» друг друга сознание и коммуникация) осуществляется процесс, аналогичный

органической эволюции. В органической эволюции вариативность усиливается и ускоряется в процессе бисексуального производства или полового отбора. Сам Халл в качестве таковой аналогии «бисексуального воспроизводства», обеспечивающего добавочную вариативность, рассматривал переход от индивидуального научного труда к работе научных групп¹. Мы же, опираясь на идею Лумана, приписываем эту роль особой (спонтанной) способности сознания исследователя. Сознание выступает некой «случай-сортирующей машиной» и специализировано на генерировании случайностей, которые затем поставляются в распоряжении научной коммуникации. Пул вариаций существенно обогащается в процессе взаимопроникновения (и одновременно, структурного сопряжения) двух комплексностей. Непредсказуемая для научной коммуникации комплексность сознания ученых («вышколенные способности восприятия и мышления») структурно сопрягается с непредсказуемой для сознания ученого комплексностью научной коммуникации (комплексностью перерабатываемых ученым научных текстов).

Как следствие, в научной коммуникации провоцируются раздражения, которые никак не программируются целевым образом самой наукой: «сознание ученого, направленное на научную коммуникацию, функционирует как случай-сортирующая-машина, которая даже и не позволяет многим догадкам доходить до полного их осознания, но подавляющая их в их возникновении, а другие не отмечает и снова забывает; от других вновь отказывается, поскольку не удастся придать им ясную формулировку; иные же хотя и отмечает, но не коммуницирует, поскольку для них не удастся изгото-

1 «However, just as the advent of sexual reproduction introduced a new set of partially conflicting goals into biological evolution, the formation of research groups in science introduced a comparable set of partially conflicting goals into science, as scientists had to cooperate with their conceptual competitors» [Hull, 2010].

вить подходящий для этого контекст, к примеру, публикацию. Такого рода уплотнение пред-отсортированных случайностей, со своей стороны, функционирует без всякого рационального удостоверения, вне внутринаучно-управляемой селекции, даже безо всякой целеориентированности. Оно просто осуществляется и в его связи с эволюцией знания и остается именно поэтому чистым варьированием» [Luhmann, 2017: 222].

Это понимание эволюционно-вариативной функции сознания ученого решает, на наш взгляд, вышеозначенную проблему локального оптимума и поиска научно-эволюционной аналогии с бисексуальным производством в органической эволюции.

Библиография (2.1):

- Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984.
- Baldwin M. *Disorderly Publication* // Nature and Scientific Self-Policing in the 1980s. In: Baldwin M. Making "Nature": The History of a Scientific Journal. 2015. Chicago: University of Chicago Press.
- Bird A. What is scientific progress // *Nous*. 2007. No 41. 64-89.
- Campbell D. Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Processes // *Psychological Review*. 1960. No. 67. P. 380-400.
- Cartwright N. *How the Laws of Physics Lie*. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- Cohen L.J. Is the Progress of Science Evolutionary? // *British Journal for the Philosophy of Science*. 1973. Vol.24. P. 47.
- Harré R. *The Principles of Scientific Thinking*. London: Macmillan, 1970.
- Hull D.L. *Science as a process: an evolutionary account of the social and conceptual development of science*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Hull D.L. *The Metaphysics of Evolution*. Albany: SUNY Press, 1989.
- Hull D.L. *Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science*. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
- Gavrilets S. *Fitness landscapes and the origin of species. Monographs in population biology*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Ghiselin M. *The Triumph of the Darwinian Method*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Glymour C. *Theory and Evidence*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Gould S.J. *The structure of evolutionary theory*. Cambridge-MA: The

- Belknap Press of Harvard University Press, 2002.
- Kuhn T.S. *Notes on Lakatos* // Buck, Cohen (eds.), Boston Studies in the Philosophy of Science. 1971. Vol.8. Pp. 137-146.
- Laudan L. *Progress and Its Problems*. Berkeley: University of California Press, 1977.
- Luhmann N. *Wissenschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp, 1991.
- Luhmann N. *Evolution of Science* // Epistemology & Philosophy of Science. 2017. Vol. 51, No. 1. Pp. 215-233.
- Miller R.W. *Fact and Methods*. Princeton: Princeton University Press, 1987.
- Olson M. *The Logic of collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge, 1965.
- Peirce Ch, Ketner K. *Reasoning and the logic of things: The Cambridge conferences lectures of 1898*. Harvard: Harvard University Press, 1992.
- Sellars W. *The Language of Theories* // Brody B.A., Grandy R.E. (eds.), Readings in the Philosophy of Science. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989.
- Suppe F. *The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories* // Suppe F. (eds.), The Structure of Scientific Theories. Urbana: University of Illinois Press, 1971. Pp. 221-260.
- Todes D. *Darwin without Malthus: the struggle for existence in Russian evolutionary thought, monographs on the history and philosophy of biology*. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Weber M. *Wissenschaft als Beruf*. Berlin: Matthes & Seitz, 2017.
- Wilkins J.S. The adaptive landscape of science // *Biological Philosophy*. 2008. Vol. 23. Pp. 659-671.
- Zahar E. Why did Einstein's Programme Supersede Lorentz's? // *British Journal of Philosophy of Science*. 1973. Vol. 24. Pp. 95-123.

Наука как общественное благо

В этой главе мы сформулируем несколько общих замечаний в отношении понимания современной науки как общественного блага, предложенного И.Т. Касавиным [Касавин, 2021: 217-227]. Научное благо концептуализируется в данном случае как многообразие полезностей науки в пространстве трех ключевых горизонтов или измерений: социального, временного и предметного. Это трехмерное пространство научной коммуникации делает крайне затруднительным и амбивалентным ответ на поставленный И.Т. Касавиным вопрос об общественной полезности науки. Ведь позитивное значение в предметном горизонте может оказаться высокорискованным, затратным и опасным в измерении социальном, а значит, получает в нем негативное значение.

Кто бенефициар «научного пирога»?

Постановка вопроса о науке как общественном благе подразумевает, что и все социальные игроки, или, как сегодня принято говорить, стейкхолдеры (экономические и политические институты, организации-потребители, отраслевые министерства, издательства и журналы и даже социальные движения) осуществляя общественно полезные действия и вкладывая в науку те или иные ресурсы, получают право на часть «научного пирога» в соответствии с их интересами. Интерес к науке объединяет игроков, но (в соответствии с постулатами теории рационального выбора) такое объединение все-таки предполагает превышение прибылей над понесенными издержками. При этом сама наука (как сообщество ученых) может оказаться исключенной из этого «дележа» и обсуждения собственно научной повестки. Научная инфраструктура в этом случае сдается в поль-

зование учеными и даже отчасти ими администрируется, но управление (steering) все-таки остается в руках политической системы.

В результате научная политика (то есть переговоры о том, как потреблять и распределять произведенное наукой благо) становится функцией от распределения влияния и интересов означенных стейкхолдеров. Индустрия желает материалов с полезными свойствами и инноваций, конвертируемых в масштабируемые и продаваемые изделия, политика добивается национального престижа и обеспечения нацбезопасности, социальные движения требуют от науки экологических решений, образование желает надежного знания, которое можно превратить в компетенции, а ученые говорят: «дайте денег и отойдите».

При этом каждый из потребителей научного блага, будучи заинтересован в продвижении своего частного интереса, формулирует его как общеобщественный, а не узкостейкхолдерский. Скажем, Министерство обороны, формируя заказы на военные научные разработки, конечно, интерпретирует свой интерес как общегражданскую функцию национальной безопасности. Впрочем, и ученые, удовлетворяя собственное любопытство за счет общества, формируют общественное мнение о своем производстве как общенациональной необходимости. И все-таки не стоит обманываться, такого притязание конкретных игроков на функцию реализатора «общественного» интереса выдает частный интерес бенефициара и не может не вызывать подозрений.

Экономика и мораль

Но даже в условиях несформированности научного сообщества как полноправного субъекта в переговорах стейкхолдеров трудно согласиться с тем, что отставание отечественной науки вызвано ее недофинансированием («остаточным принципом» в терминах И.Т. Касавина). Общие госзатраты на науку, по по-

следним данным Счетной палаты, находятся на уровне расходов Великобритании. Но эффект от увеличения финансирования (и в целом наличие материально-технической базы научных исследований) не обязательно коррелирует линейно с ростом производительности научного труда. Скажем, во второй половине XIX в., несмотря на выраженную зависимость отечественных лабораторий от иностранного оборудования и соответствующий дефицит, кадровый потенциал не только не отставал, но даже превосходил европейский уровень. При этом материально-техническая база исследований существенно уступала западной науке в силу общего технического и экономического отставания России, отсутствия запроса и потребностей со стороны промышленности и – зачастую – незаинтересованности высшей власти, что в целом вполне соответствует современной ситуации. Однако данное положение дел не стало препятствием для мощного рывка, который переживала российская наука в конце XIX – начале XX в. (работы Мечникова, Менделеева, Попова, Пржевальского и других) [Сапрыкин, 2013].

Научный прогресс во многом мотивирован общей атмосферой пиетета общества перед наукой и учеными, а не госсубсидиями и инвестициями индустрии. Никлас Луман удачно охарактеризовал это состояние как «инфляцию научной истины» [Луман, 2017]. В этот период, который, конечно, рано или поздно, сменяется «дефляцией» к науке предъявляют завышенные ожидания от успешных решений не только собственно научных, но и технологических, экономических, экологических, социальных проблем. В этом контексте И.Т. Касавин справедливо говорит об «общественном статусе» исследователя как дефинитивном условии высокой оценки генерируемого им блага. Напротив, в условиях «дефляции», на исследователя смотрят как на иждивенца, а на прикладника как на своего рода «коммивояжера», продумывающего стратегии «купи кирпич» и убеждаю-

щего другие сообщества необходимости и общественной полезности производимого продукта, которые при этом надо дополнительно обосновывать. В период дефляции «общественное благо», создаваемое наукой, утрачивает очевидность. Собственно этим состоянием объясняются многочисленные детально рубрицированные «отчеты по ГОСТу», которые требует регулятор и которые по объемам и детальности уже заметно превосходят сами научные публикации.

Но с точки зрения И.Т. Касавина, вероятно, проблема «пониженной социальной ответственности» учебного кроется в волюнтаризме власти, не желающей адекватно финансировать фундаментальную науку, и беспомощности профильного регулятора, лишенного ресурсов для поддержки подведомственных НИИ. Некоторая доля истины в этом есть, и все-таки это объяснение неполно. Сегодня власть, наполняющая научные статьи бюджета процентом от углеводородной ренты, махнула рукой на экономическую перспективу научных разработок и рассматривает науку исключительно как «производителя национального престижа». Ведь критерии такого рода научного успеха условны, размыты и в чем-то произвольны, и даже небольшая стимуляция может приводить к большому «выхлопу» (увеличение доли статей в реферативных базах и так далее). В целом же даже и адекватное финансирование – используем здесь аналогию со спортом как производителем национального престижа – в условиях «дефляции научной истины» не гарантирует международных достижений. В настоящих футболе и настоящую науку играют не за деньги.

Гораздо большее значение для низкоконкурентного качества «научного продукта» имеют внутренние механизмы торможения в самой отечественной науке. И в первую очередь дело в том, что она все еще производится в рамках традиционных организаций, НИИ – громоздких и неповоротливых структур, не только не конкурирующих друг с другом, но и не сильно оза-

боченных собственной научной производительностью. Ведь выживание для них как раз и не связано непосредственно с тем самым научным продуктом, которое И.Т. Касавин именует «общественным благом». НИИ как госорганизации (со всем гигантским документооборотом и отвлечением ресурсов) сосредоточены на функции самовоспроизводства, а не на осуществлении научных исследований [Антоновский, 2020].

Возникает замкнутый круг или, скорее, парадокс. С одной стороны, научное сообщество не является полноценным «стейкхолдером» в переговорах по научной повестке и достойной оплате поставляемого им «блага». Ведь этому сообществу пока еще нечего положить на круглый стол переговоров – в виде прорывных научных результатов – и выступить в них равноправным партнером. При этом и сама наука лишена субъектности, ведь она дифференцирована дисциплинарно и расколота иерархически. «Маршалы и генералы» в руководстве НИИ имеют собственные интересы, слабо связанные как с интересами немногочисленных «пиаев» (PI – principal investigator), которые в силу собственной «экспертности» и сами не сильно привязаны к собственным НИИ, так и с интересами бесправных научных сотрудников, чья зарплата, условия контрактов и карьерные траектории почти целиком зависят от дирекции. С другой стороны, невостребованность фронтальной повестки не дает возможности и выйти на эти фронтиры и, как следствие, получить статус полноценного игрока или субъекта научной политики.

Отечественная наука в этом смысле парализована дважды: предметно-дисциплинарно и социально-структурно. Уже только поэтому она не может сформулировать и коллективно защитить собственный дисциплинарный интерес, как это осуществляется в западной науке, например, в процессе «самосборки» научного сообщества физиков, получившей название Snow-Mass (см. <https://snowmass21.org>). Речь идет о многоуровне-

вой процедуре трансляции представлений ученых о перспективах и приоритетах в своей предметной области (в данном случае – в физике высоких энергий) до регулятора и финансирующих госорганов.

Стимуляция как симуляция

В этом контексте нам не кажется полностью обоснованным тезис И.Т. Касавина о том, что экономика вызывает к прикладным исследованиям, а общественная мораль должна способствовать развитию фундаментальных. Конечно, почти невозможно убедить индустрию профинансировать науку. Напротив, склонные к морализаторству политические институты усматривают в фундаментальных достижениях возможности электорального самопиара и интерпретируют научные прорывы как собственный успех. Все мы знаем судьбу Нацпроекта «Наука», «успешно» реализовавшегося в рамках взрывного (количественного) роста отечественных публикаций в международных реферативных базах. Проблема лишь в том, что так понятая мораль обоснования самооценности науки функционирует вхолостую, несмотря на всю – очевидную и немалую – политическую и финансовую поддержку отечественных НИИ.

В целом необходимо согласиться с утверждением И.Т. Касавина о том, что базовым структурным различием науки как производителя общественного блага является различие между общественной функцией науки (проведением самооценного фундаментального исследования) и достижениями (полезным продуктом, который наука предоставляет внешним для нее системам: индустрии, образованию и так далее). Тем не менее, трудно согласиться с выводимым отсюда следствием, а именно с тем, что морально фундированная недооценка обществом фундаментальной науки приводит к ее недо развитию и отсутствию у общества и ключевых стейкхолдеров желания ее «покупать». Напротив, в обществе, в том числе и российском, есть консенсус в отношении

самоценности науки. Фундаментальная наука выступает значимым производителем «национального престижа» на международной арене, что заставляет руководство вкладывать огромные деньги в стимуляцию научной деятельности (на деле зачастую оборачивающейся симуляцией, то есть избыточным производством не коммодитизируемых патентов, не говоря уже о вале статей).

Критическая установка

как условие социальной «дефляция истины»

Отмечая способность науки производить «интеллектуальное благо», И.Т. Касавин указывает на некую самоценную функцию критики, встраиваемую функцию беспокойства, неустойчивости в полученных результатах, мотивирующую искать все более совершенные формы самореализации как в науке, так и в других социальных сферах. Следуя самому пафосу этого тезиса, с ним, конечно, тоже приходится спорить и его критиковать. Действительно, в каком-то смысле критика превратилась в эрзац-призвание, пришедшее на смену стандартным нововременным мотивациям искать подлинную истину», «подлинные структуры бытия», «подлинного Бога» и «подлинное благо» (вкупе составлявшие некий синтетический объект интереса нововременной науки). Об «утрате» именно этого единства блестяще сокрушался Макс Вебер в своем знаменитом манифесте «Наука как призвание и профессия».

Но зададимся вопросом о том, с какой точки зрения и в перспективе какого наблюдателя это «когнитивное благо» действительно является таковым. То, что общество в некоем абстрактном смысле профитирует от заполнения «бесконечных лакун» и связывания «когнитивных разрывов» еще можно как-то признать. Но бесконечные разочарование и когнитивные ожидания будущих разочарований депримируют самих ученых, вырывая их из «зоны экзистенциального комфорта» и отправляя в зону высочайшей конкуренции, неустро-

енности, перескакивания с постдоков на постдоки. Сегодня это обозначают эвфемизмом «академическая мобильность», которая на деле эквивалентна средневековому архетипу «странствующих схоластов», лишенных возможности завести нормальный быт и семью. И так ли много приобретает общество от этой «критической установки»? Конечно, и остальные люди в процессе образования и других оккультураций перенимают установку критической рациональности. Но не оборачивается ли она разрушительным релятивизмом и в отношении пресловутых «общественных устоев», требуя и от обывателя позитивного или терпимого отношения к нарушению в том числе и социальных норм? С тем, что «производство наукой когнитивного разнообразия есть условие современного общественного развития» трудно согласиться, потому что таковое разнообразие разрушает и общественный консенсус, во многом основанный на привычке, обычае, устойчивых нормативных ожиданиях [Касавин, 2017]. Не в последнюю очередь и взрывное развитие «новых социальных движений» провоцируется алармизмом и тревогой, вызываемым к жизни научным релятивизмом и запрограммированной недоверенностью всякого научного утверждения и прогноза. То, что науке не верит общество, с одной стороны, вызвано к жизни вышеозначенным истинностным релятивизмом самой науки, а с другой стороны, в форме положительного фидбэка, содействует той самой «дефляции истины», дезориентирующей и демотивирующих студентов, избравших научную стезю.

Парадокс науки как производителя экономического блага

Что касается попытки И.Т. Касавина проинтерпретировать науку как производителя «экономико-политического блага», то здесь можно было бы согласиться с его утверждением о стирании границ между фундаментальной и прикладной наукой. Скажем, признание достижений фундаментальной науки при про-

изводстве коллаидеров является, по-видимому, ее «приложением», в результате которого развивается именно «фундаменталка». Экспериментальная наука в формате Mega-Science снимает эти различия. Сегодня дистинкция полезности/самоценности («плодоносного» и «светоносного» опыта) уже не ортогональна различению прикладного/фундаментального. В этом смысле, конечно, все претензии со стороны внешнего наблюдателя (обывателя или регулятора) на отсутствие у научного открытия утилитарных перспектив легко отменяются учеными ссылками на фундаментальность, полезность (или бесполезность) которого в данной дистинкции не учитывается дефинитивно.

В этом смысле ученый оказывается в неуживимой позиции: полезным оказывается все то, что вызывает интерес и резонанс внутри науки. И все же такое стяжение контрарных полюсов означенной дистинкции не отменяет базового различения функции/достижений как важного маркера внутренних/внешних системных референций научной коммуникации, различения между дисциплинарным научным исследованием как таковым и комплексной междисциплинарной реакцией на запросы из внешних систем (индустрии, политики, образования, социальных движений). Сегодня это различие выражено институционально и пространственно. Прикладные исследования в области производства экономического блага отделились и осуществляются либо в отраслевых институтах, либо в подразделениях R&D больших корпораций. Именно там в процессе производства «политико-экономического блага» создаются стандарты и протоколы современного научного исследования, которые потом очень соблазнительно транслировать и на фундаментальные разработки.

Речь в этом случае идет прежде всего о проектном, то есть темпорально ограниченном характере исследования, поскольку такие (сегодня, как правило, трехлетние) проектные рамки облегчают поиски финансиро-

вания, оптимизацию всегда ограниченных ресурсов, а в случае фиаско гарантируют передачу сохраненных средств новым заявителям. При этом проектный характер не обязан отвечать логике фундаментального исследования, в котором, напротив, всякая неудача, сбой и констатация ложности не обязательно останавливают финансирование и исследование, а напротив, запускают рефлексивные процессы, расширяют исследовательское поле, создают внутринаучный резонанс, привлекают к проблеме других исследователей и в целом только провоцируют дальнейшие разработки, делая теоретическое исследование практически бесконечным.

Этой временной дивергенцией «функции» и «достижений» собственно и объясняется тот самый «парадокс эксперта», который фиксирует И.Т. Касавин: «полезность», «эффективность», «продуктивность» проектных результатов определяются уже не через фильтры внутриколлегальной коммуникации и не внутри научного коллектива, всегда готового продолжить рискованные исследования пусть и с неявной и негарантированной перспективой, но через аутсорсинг внешних экспертов, требующих новой экспертизы полученных экспертиз. Ведь за проектом стоят большие деньги и, как следствие, конфликты интересов.

И все же фундаментальным представляется совсем другой парадокс, который, собственно, и препятствует науке сосредоточиться на этом производстве экономического блага. Рассмотренное как экономическое такое производство в качестве критерия успеха получает временной, но не предметный (= истинностный) индекс. Время и скорость в проектной организации науки гораздо важнее истины. Ведь даже если в течение трех лет и не произошло научного прорыва, не будут растрачены дополнительные средства. Как известно, стагнация в разработке новых антибиотиков определяется не в последнюю очередь этим обстоятельством.

С системно-коммуникативной точки зрения это

означает, что временное и предметное измерения научной коммуникации сегодня получают взаимную автономию, соответственно, распределяясь между функцией (фундаментальное исследование) и «достижениями» по внешнему запросу (прикладные исследования). Предметное измерение фундаментальной науки делает не предсказуемыми его следствия во времени. А ориентация на предсказания и прогнозы в рамках междисциплинарных прикладных исследований во временном горизонте научной коммуникации неотвратно останавливает предметные изыскания, неважно создан ли заказанный продукт или не создан.

Но этот *negative feedback* в сфере «достижений» в каком-то смысле «спасает» фундаментальную науку. Ведь именно в ней – несмотря на все попытки национальных регуляторов организовать ее по проектно-грантовому образцу прикладного исследования – предметный интерес ученых доминирует над временем. И именно там создается резервуар так называемых заделов, которые единственно и делают возможным последующую грантово-проектную научную работу по генерации полезных для общества «достижений». Достаточно привести лишь один показательный пример. Стремительное «проектное решение» («достижение») по созданию отечественной вакцины «Гам-Ковид-Вак» не было бы возможным без «задела» в виде «аденовирусной платформы», которая создавалась в гораздо более неспешных (как следствие, комфортных и креативных) условиях фундаментальных исследований.

Дегуманизированная коммуникация в науке и политике

В противовес распространенному и детально разработанному И. Касавиным в своей книге [Касавин, 2020] тезису о чуть ли не дефинитивной гуманности современной науки или (в более слабом смысле – о ее человекообразности), представляется, что ее коммуникативное своеобразие сегодня не всегда соответству-

ет тем гуманистическим ожиданиям, которые общество традиционно связывает с наукой. Начнём с заявленного в заголовке тезиса о дегуманизации научной коммуникации. Вообще говоря, дегуманизация свойство любого системно детерминированного или инструментальной рациональности¹. Это свойство характеризует не только науку, но всякую систематическую коммуникацию: и политику, и хозяйство, и даже ритуализированную религию.

В каждой из перечисленных систем реализуются те или иные коммуникативные программы (инвестиционные, политические, научные, образовательные, эстетически-стилевые и т.д.). Так, политические алгоритмы максимизации власти подчиняют чиновников «партийным» программам, не предполагающих учет их личных переживаний и пристрастий (аффективность и партикуляризм в смысле Т. Парсонса). Но политическое действие или коммуникация сохранило больше элементов произвольности, ведь, по сути, оно носит проектный характер: ориентированный на еще актуализированное будущее политический проект не обязан учитывать резоны, сообразовываться с реальностью и даже – перспективами его выполнимости. Возможное фиаско уже закладывается в него как допустимый исход. Временные ограничения политических проектов и программ снимают риск избыточных расходов, а временные ограничения на периоды легислатуры снимают ответственность и с самих «проектировщиков». К тому же политическое решение способно и само обеспечивать собственную выполнимость через коллективно обязательные действия и соответствующие манипуляции (в исходном смысле слова «действия руками»).

Напротив, дефинитивно-созерцательная научная коммуникация, сообразующаяся с объективной (интерсубъективно-удостоверяемой) реальностью, алгоритмизирована гораздо жестче. Истина не может стать

1 В смысле Юргена Хабермаса [Habermas, 1981].

следствием действий (= манипуляции), поскольку, как бы ее ни определяли, она является результатом коллективно удостоверенных восприятий и наблюдений. Коллективная обязательность такого созерцания не может быть установлена решением (т.е. произвольно, как в политике), но требует единства коллективно-идентичных созерцаний. Политическое действие создает то, чего не было. А научное созерцание, наблюдение и эксперимент фиксируют то, что есть, и именно этим принуждают к акцептации предложений науки и соблюдения стандартизированных научных процедур (исследовательских протоколов и т.д.). Но именно это как раз и минимизирует степени научных свобод и пространство целеполаганий исследовательской работе.

Эти достаточно тривиальные соображения можно конкретизировать. Программно-протокольная алгоритмичность научной коммуникации вытекает из ряда ее контекстных ограничений в социальном, темпоральном и предметно-тематическим «горизонтах» или измерениях. Так, ученые жестко ограничены тематикой и спецификой исследуемого предмета, временным давлением (требованиями новизны и текущей актуальности своего исследования) и также не могут не учитывать ожидания сообщества компетентных наблюдателей. И как бы не хотелось мне реализовать свою свободную индивидуальность, разделяемый мной гуманистический идеал, эти возможности самореализации довольно жестко определены предыдущими текстами (в данном случае текстом, который я в данный момент комментирую, и теми научными текстами, которые уже «записаны» в моей памяти; временем, отведенным на написание данных комментариев; временными перспективами самой публикации; ожиданиями рецензентов и экспертов).

Означенные измерения задают всегда ограниченное пространство возможностей, внутри которого автор выступает лишь передаточным звеном, посредником, исчисляющим предоставленные ему шансы на успех

создаваемого им продукта (= на акцептацию того запроса на контакт, который в данном случае выражается в принятии научной публикации к печати). Сам данный текст есть некая переформатированная версия прокомментированного текста. При этом такого рода реконструкция должна быть предельно близка его «объективному» смыслу, а критические контраргументы должны иметь «объективные» основания (подразумевающие предельную близость к ранее сформулированным идеям, эмпирическим фактам и следовать «логической структуре» аргументации). Лишь запрет на «отсебятины» и «идеосинкразию» выступает условием эволюции текстуального контента. Те или иные элементы научных текстов, с «лучшими» или «худшими» свойствами, как бы предлагают себя для будущей селекции новыми поколениями авторов. Но именно такие небольшие (одна статья – один тезис), постепенные, селективные улучшения знания, минимальные коррекции, а не глобальные авторские целеполагания («вечные темы и глобальные проекты») являются динамическими элементами научной коммуникации. Тексты, как элементы научной коммуникации, отбираются на основе других текстов. В этом смысле «тексты встречаются с текстами», а не авторы с авторами.

Но и в темпоральном горизонте прогресс научной коммуникации, успех научных притязаний авторов подчинен безличным механизмам эволюции. Здесь, в свою очередь, роль человеческого фактора исчезающе мала. Не человек и даже не коллективы ведают селекцией или отбором «лучшего знания» (в виде текстов, претендующих на публикацию), а значит – определяют их дальнейшую пролиферацию. Сегодня этот отбор осуществляется на социально-сетевых площадках, где сотни тысяч ученых участвуют в судьбах сотен тысяч статей, согласно алгоритмам искусственных нейросетей. Эти нейросети оценивают «веса» научных достижений через социально-сетевые реакции, через лайки,

репосты, комментарии, ревью и обучаются делать это все лучше и лучше. Все мы знаем площадки «Публона», ResearchGate, Академия Google и др. Там формируется научная репутация, индексы Хирша, импакт-факторы. Это уже не делается делиберативно-осмысленно – путем коллегиальных решений, как прежде, на ученых советах, диссоветах и т.д. Коллегиальные советы лишь учитывают фактические сетевые рейтинги.

Этот «естественный отбор» новых теорий, лучших текстов, лучших знаний, осуществляет социально-сетевая машина по своим алгоритмам. Но прохождение текстов через ее нейронные слои, которые определяют сравнительные веса научных достижений, уже невозможно реконструировать сколько-нибудь адекватно. Нет возможности реконструировать процессы оценки научного продукта или научного достижения. Механизмы вирусной сетевой раскрутки одних достижений, стремительный набор цитирований, во-первых, не понятны и, во-вторых, могут и не коррелировать с действительным значением того или иного достижения.

Сознание ученого, конечно, продолжает поставлять в распоряжение этой сетевой машины вариативные и нередко избыточные версии нового научного контента, формирует «вариативные пулы» новых текстов. (Так, и данный текст родился на семинаре, где в режиме брэйн-сторминга и свободного обмена часто рождались «сумасшедшие идеи», причем не лучшим смысле этого слова.) Но даже на этом «человекообразном» эволюционном уровне роль сознания ученого не стоит переоценивать. И здесь «человеческий фактор» выступает в функции «случай-сортировочной машины»¹.

1 «Сознание ученого, направленное на научную коммуникацию, функционирует как случай-сортирующая-машина, которая даже и не позволяет многим догадкам доходить до полного их осознания, но подавляющая их в их возникновении, а другие не отмечает и снова забывает; от других вновь отказывается, поскольку не удается придать им ясную формулировку; иные же хотя и отмечает, но не коммуницирует, поскольку для них не удастся изготовить подходящий для этого контекст, к примеру, публикацию.

На следующем этапе эволюционной селекции из предложенных вариаций² лишь некоторые из научных сообщений будут отобраны как научно релевантные и опубликованы в рецензируемых журналах. Но и этот эволюционный механизм исключает «человеческий фактор». Эксперт получает текст в анонимном виде и оценивает его исключительно на основании доминирующих на данный момент методологических требований стандартов, практик, нормативных ожиданий от научной статьи. При этом всякая авторская идиосинкразия, как правило, оценивается негативно. Всем авторам, публикующимся в зарубежных журналах, не исключая и гуманитарные, известны жесткие и детально определенные структурные требования к статье, которым надо следовать, осуществляя анонимизированный submitting. От статьи, конечно, требуется оригинальность, но при этом предельно стандартизированная оригинальность.

Можно было бы, конечно, сказать, что члены редколлегии, эксперты журналов ведают отбором. Однако оценочные критерии и требования к статьям прописаны настолько структурированно и детально, что эксперт при желании свободно обходится набором готовых эвлюативных фраз по каждому структурному пункту экспертной методички. В общем смысле и эксперт, подобно автору, остается посредником, который сопоставляет анализируемый текст и актуальное знание, в этом смысле выступая в той же функции оператора-компаративиста прочитанных им текстов.

Но на следующем этапе эволюции научных текстов – на этапе стабилизации нового знания, дело об-

Такого рода уплотнение пред-отсортированных случайностей, со своей стороны, функционирует без всякого рационального удостоверения, вне внутринаучноуправляемой селекции, даже безо всякой целеориентированности. Оно просто осуществляется и в его связи с эволюцией знания и остается именно поэтому чистым варьированием» [Луман, 2017: 122].

2 Мы используем здесь концепцию эволюционных механизмов Лумана–Кэмпбелла (вариации, селекции, стабилизации) [Campbell, 1960].

стоит еще хуже. Отобранные журналами статьи в своем абсолютном большинстве не будут восприняты научным сообществом, не получат массового цитирования и не стабилизируются как наличное известное и знание, как критерий значимости новых коммуникативных сообщений и как мишень для новых революционных мутаций и новообразований.

Продукт ученого, по меньшей мере в мировом научном масштабе, на международных – сегодня социально-сетевых – площадках или платформах научного обсуждения, останется гласом, вопиющим в пустыне. До половины естественно-научных текстов и до 80% статей по гуманитаристике не получают ни одного цитирования. Но даже если он и будет востребован и «процитирован», то и в этом случае будет забыт в самое ближайшее время и растворится в десятках миллионов новых научных текстов. И, тем не менее, эти тексты во все в большем масштабе запрашиваются национальными регуляторами науки, по-видимому, как некие свидетельства национального престижа в конкуренции на международных академических рынках публикаций (где они торгуются на биржах Web of Science и Scopus). Влиятельная страна должна иметь науку как некий функциональный аналог спорта высоких достижений.

Но и самые удачные и успешные проекты и тексты, получающие рецепцию и массовое цитирование, сегодня, как правило, представлены публикациями больших консорциумов в рамках проектов Мегасайенс (БАК, космические станции и т.д.) под авторством сотен, а то и тысяч исследователей, где индивидуальный авторский вклад становится исчезающе малым. В этом смысле наука дегуманизирована гораздо больше, чем иные формы коммуникации.

Этическое измерение науки

Сказанное выше касалось временных или эволюционных контекстов или горизонтов научной коммуни-

кации. Второе сомнение в гуманистичности современной науки связано с ее этическими притязаниями и в этом смысле касается социального измерения научной коммуникации. И здесь наука уже не воспринимается как этический авторитет. Можно было бы сослаться на, мягко говоря, неэтическое поведение столпов гуманистической науки¹. Но дело не только в возможной негуманности научных экспериментов. Дело в самой логике научной конкуренции, логике так называемого академического капитализма, задающего условия временного и социального измерения успеха научной коммуникации. Означенная логика требует поставлять «на рынок научных публикаций» свои результаты раньше других исследователей. Именно эта логика успеха задает собственную внутринаучную нормативность («этику науки»), и именно она вынуждает выносить за скобки внешнюю этическую нормативность или гипотетическую универсальную мораль. Такая внутренняя или корпоративная этика во многом сводится к единственной заповеди – «не плагиатить», поскольку массовые нарушения этой нормы обесмыслили бы и само научное производство и научный успех. Все остальные социальные табу и запреты несовместимы с критической установкой и прямо препятствуют развитию науки. Возникает неискоренимый парадокс: наука стремится быть идеальным сообществом и поведенческим примером равенства и демократической меритократии. Но критическая установка на фальсификацию всего и вся принципиально деструктивна в отношении всех прочих идеалов и норм, включая все социальные скрепы.

1 Так, Луи Пастер предлагал испытывать вакцины на приговоренных к смерти. Роберт Кох форсировал продажи клинически непроверенного препарата туберкулин, только усугублявшего болезнь, по сути, убивавшего пациентов. И отечественный академик Павлов не является исключением, проводя жестокие операционные опыты на беспризорниках. Но дело не только в возможной негуманности научных экспериментов. Поэтому скандальный пример с прививкой «КовиВак» не является каким-то исключением в исследовательской работе, но подтверждает «агональные» правила «академического капитализма».

Наконец, третий стержень гуманистического понимания науки усматривается в способности науки выступить политическим субъектом или хотя бы приобрести субъектность в принятом смысле слова: как способность принимать коллективные решения и осуществлять коллективные действия в защиту интересов некоторого «интегрированного сообщества». Представляется, что дисциплинарная (и, как следствие, институциональная и социального) раздробленность научного сообщества препятствует формулированию универсального или общенаучного интереса, прежде всего, даже и в предметнотематическом измерении. В результате сообщество ученых не может ни сформулировать, ни обосновать, ни утвердить этот интерес в контрверзах с другими игроками на политическом поле. Резонансным примером является закон о просветительской деятельности, где мнение ученых было полностью проигнорировано.

Политика, не исключая и научную составляющую, в конечном счете сводится к согласованию интересов между ведущими стейкхолдерами. В этом смысле наука как политический игрок должна обосновать и утвердить свой интерес как более или менее четкое представление о повестке, т.е. перспективах развития науки хотя бы на 10–15 лет. Но фундаментальная наука, как это известно со времени Карла Поппера, осуществляется в особом формате *trial and error*. Никто не может гарантировать, будет ли стандартная модель в физике частиц опровергнута в течение десяти лет; будет ли создан квантовый компьютер. Отсюда чрезвычайно уязвимая позиция в переговорах со стейкхолдерами: Минобром, Администрацией Президента, Индустрией, Министерствами экономического развития или обороны. Науку не признают за равноправного игрока, поскольку, даже будучи наиболее рефлексивной формой социальности, она, тем не менее, не демонстрирует означенной субъектности, требующей скорее воли к действию, нежели рефлексии, созерцательности и объек-

тивного знания¹.

Дисциплинарно-институциональная разобщенность в предметном измерении дополняется дифференциацией в измерении социальном. Дисциплины и субдисциплины конкурируют друг с другом за финансирование, за внимание к себе и просто не понимают друг друга, поскольку существуют в разных понятийно-терминологических системах. Но и внутри НИИ и факультетов исследователи неизменно вступают в конкуренцию. Научная демократия противоречит меритократии, что определяет базовый парадокс субъектности и служит препятствием для осознания, изобретения и утверждения гипотетического общенаучного интереса. Как сформировать внутриинституциональный консенсус (в НИИ и вузах), если ведущие исследователи (Principal Investigators, PI) практически не зависят от своего института или факультета. Они не чувствуют необходимости интегрироваться и учитывать интересы окружающего их локального сообщества, могут свободно менять институции, иммигрировать за границу, устремляются туда, где им предоставляют лучшие, в том числе финансовые или лабораторные условия. Другое дело ученые среднего уровня (так называемые Co-Investigators, CI). Это сообщество имеет собственные и гораздо менее амбициозные притязания (преодолеть фильтры конкурсных или аттестационных комиссий). И на этих коммуникативных площадках их интерес, очевидно, выражается в голосовании не за лучших, а скорее «за своих». Ведь они и сами хотели бы рассчитывать на подобное же к себе отношение. Администрации вузов и НИИ образуют еще один, третий полюс научного сообщества. Их интересы концентрируются не столько вокруг исследования, сколько вокруг воспроизводства

¹ Это не означает, что субъектность науки исключается априори. Так, выкристаллизовалась форма политической субъектности в виде «Немецкого Исследовательского Общества», в уставе которого записано, что оно участвует в политической жизни и как эксперт и как инициатор политических инициатив на уровне правительства. Но это скорее исключение из правила.

организационной и инфраструктуры. В этих условиях самосборка научного субъекта очевидно трудноосуществима¹.

В этом смысле научное сообщество почти не участвует в определении научно-политической повестки на какую-то перспективу, т.е. той линии развития науки, которую согласуют и все ведущие игроки – регулятор, власть, индустрия, ученые-активисты и сами научные коллективы. При этом наиболее влиятельные политические игроки в большей степени настроены на то, чтобы разделить «научный пирог», в первую очередь, рассматривая науку с точки зрения неких «конечных результатов» и «прикладных научных достижений». Только финализированные и прикладные продукты можно было бы «коммодитизировать», т.е. превратить в прибыль. Так к научным достижениям относится индустрия. Или научные достижения хотят истолковать как результат успешного администрирования, как политический успех. Так науку видит власть. Это, безусловно, важная часть внешнеориентированной научной коммуникации. Ученые, безусловно, вынуждены отвечать на вызовы и запросы из сопредельных коммуникативных систем – прежде всего, политической и экономической коммуникативных систем. Но прикладной результат исследования, т.е. фактическая прибыль, может быть получен и оценен только в течение конкретного времени, в процессе реализации трех-, в крайнем случае, пятилетних исследовательских проектов. Но не в этом состоит социальная функция фундаментальной науки, а именно – научное исследование, принципиально не ограниченное во времени, что релятивизирует всякий «конечный результат». Такое рассогласование динамики науки между тем, как ее понимают ученые, и тем, как ее принимают ключевые игроки, в свою очередь, препятствует превращению науки в политический субъект.

1 Подробнее о кризисе коллегиальности в научной коммуникации см. [Антоновский, 2020].

Наука как дар

Морализация в области научной деятельности, ее подчинение универсальной морали противоречит вопиющим фактам индифферентности ученых по отношению к моральным нормам. Можно, конечно, рассматривать науку нацистской Германии как аномалию. Но и «достойные» ученые в этом отношении не являются исключениями. Достаточно вспомнить о предложении Луи Пастера испытывать вакцины от бешенства на приговоренных к смерти [Jouglu, 2015] и опытах Павлова над беспризорниками [Ющенко, 1928]. Можно ли упрекать в таком случае общество, не желающее без лишних мер предосторожности «принимать этот дар, предлагаемый наукой», от ученых, которых не заботит ничего, кроме приоритета собственных открытий²?

Во многом научная «релятивизация» общественной морали³, возможно, как раз является следствием корпоративной научной этики, главная задача которой – определить «правила игры» внутри ученого сообщества. И эти правила во многом явились условием выживания и «эволюционной стабилизации» самого научного сообщества⁴. В таком смысле «некорректные заимствования» в рамках этого кодекса выступают гораздо большим прегрешением и более опасны для воспроизводства научного сообщества, нежели противоречия с так называемой универсальной моралью, в отношении которой и у самого общества сегодня нет согласия.

Сегодня как никогда очевидно, что ценности не объединяют, а разъединяют. Все этно-религиозные во-

2 Желание Пастера форсировать создание прививки от бешенства, инфицируя заключенных, как раз и было инспирировано соперничеством с его главным конкурентом Робертом Кохом, который, кстати, в этой гонке за приоритеты и сам не постеснялся выставить на рынок клинически не испытанный «туберкулин», лишь усугублявший страдания больных.

3 См. дискуссию, посвященную данной теме: [Бараш, Антоновский, 2018; Столярова, 2018; Тухватулина, 2018].

4 Об эволюционных механизмах (варьировании, селекции, стабилизации) научной коммуникации в контексте неодадавинизма см.: [Луман, 2017; Hull, 1989].

йны суть следствия «политеизма ценностей», эффекты которого так хорошо описал Макс Вебер в своем манифесте¹. И пытаться посредством «архитепического примера» «профессиональной научной этики» осуществить «соразмерение последней с общечеловеческими ценностями», сегодня функционирующими вхолостую, выглядит контрпродуктивно. Универсальная мораль просто несовместима с целым множеством «корпоративных этик» как кодексов обособившихся коммуникативных систем². Если и остались какие-то объединяющие ценности, которые могут выступить условием социального консенсуса в дифференцированном обществе, то это, скорее, стратегия невмешательства в чужие дела. Наука не затрагивает религию со своим рациональным обособлением религиозной онтологии, а политика не касается науки со своими различиями «пролетарских наук» и «продажных девок империализма».

Перейдем к разбору дальнейших аргументов. Во-первых, не хочется соглашаться с тезисом о «запретной природе этического дискурса», как и с тем, что у этического суждения отсутствует денотат. Дело даже не только в том, что этот тезис выводит всю социальную теорию, собственно, и изучающую природу и законы нормативности, за дисциплинарные стандарты обычной науки. Если сфера должного действительно трансцендентна, то социальная теория в этом смысле была бы социальной теологией. Ценности, конечно, отличаются от ассерторических суждений. Мы можем согласиться с

Х. Риккертот и признать, что они не обладают бытием, а просто «значат». Но это и подразумевает, что у них есть собственные значения, или денотаты³.

Все это не позволяет нам выводить «этику как сферу должного за пределы фактичности». Очевидная «посюсторонность» этики заставляет нас отказаться от того, чтобы, основываясь на ее гипотетической «запретности», также утверждать мифический фундамент для легитимации науки. И в целом такая апелляция к когнитивным ресурсам мифологического сознания, в числе которых прежде всего запрет на вопрошание, на аналитическую и сравнительную методологию, вызывает сомнения в их продуктивности и убедительности.

Мифическое сознание, как известно со времени Курта Хюбнера, по своей природе исключительно синтетично. И всякое апеллирующее к мифу обоснование, избегающее логического круга, может быть только ненаучным. Это не смущает И.Т. Касавина, но, напротив, расценивается как некая гарантия надежности. Ведь это позволяет избежать логического круга. Но все-таки наука по самой своей сути автологична. Уже простое определение понятия, как доказал Куайн, синонимично и в этом смысле имеет круговой характер. Такая автология никак не мешает применять научные методы анализа для обоснования и оправдания наукой самой себя. То, что наука постулирует для своего объекта, а именно возможность его рационального анализа, она вполне может применить и в анализе самой себя. При этом ей вовсе не обязательно полагать себя как абсолютно⁴ обоснованную. Достаточно

1 Лучше Вебера не скажешь: «Древние боги... принявшие образ безличных сил, выходят из могил, стремятся завладеть нашей жизнью и вновь начинают вести между собой свою вечную борьбу» [Weber, 1992: 101; Шлейермахер, 2018].

2 Можем ли мы подвести под общий знаменатель политику с ее «патриотизмом» и «ценностями государственности», хозяйство с его утилитаризмом, сакральные ценности религии, искусство с его «отрицанием старых форм», систему права с ее правовым фундаментализмом, наконец, науку, которая за всеми этими ценностями, как замечает И.Т. Касавин, видит лишь исторические (т.е., по существу, преходящие и контингентные) формы социальности?

3 И в истинности ценностных значений можно убедиться, если соотносить их пусть не с классическим денотатом как «производителем истинности» (truth-maker), но с денотатом особого рода – неким «производителем ценности» (wish-maker). Суждение «свобода лучше несвободы» будет истинным, если зафиксирован факт, что высказывающий и сам желает такой свободы.

4 Абсолют, как известно, не допускает ничего, кроме себя, никаких внутренних различий и никаких внешних форм его наблюдения. Наука же допускает свое внешнее наблюдение (той же политикой, которая исчисляет научные ис-

рассмотреть саму себя как одну из соравноправных форм социальности в полицентричном мире.

Обращение к абсолюту.

Должна ли наука основываться на морали?

Впрочем, и мораль, как и наука, требует для себя автологического обоснования. Если морализатор вводит соответствующие моральные различия, он и сам должен быть моральным. Вопрос лишь в том, почему сама мораль (различение морального / аморального) должна оцениваться как моральный институт (а не противный морали), т.е. как относящаяся именно к первому (позитивному) полюсу своего базового различия. Как известно, мораль, чтобы оправдаться в своей моральности, обращалась к абсолютному обоснованию – религии, в которой этот вопрос обосновывается таинством. Так решил Бог по только ему ведомому основанию. При этом сам себя Бог, как известно, исключает из парадокса автологии. Он как абсолют, как неограниченное и совершенное начало дефинитивно не допускает в себе внутренних дистикций и тем сам не морализуется как плохой или хороший. «Тот из вас (не из нас!), кто без греха, пусть первым бросит в нее камень». Мораль прибегала к абсолюту, чтобы решить (а точнее, затемнить) парадокс моральности самой морали. Но религия, обоснованная тайной («неисповедимы пути Господни»), сегодня не воспринимается как моральный фундамент.

Должна ли наука уподобиться морали и также – перформативно утверждая свою неполноценность – искать себе абсолютных (и в этом смысле едва ли рациональных) оснований?

Обоснование рациональности и само рационально

«Как ни парадоксально, но обоснование рациональности не может быть полностью рационально», – пишет И.Т. Касавин.

следования и финансирует их).

Но все ли так безнадежно? Конечно, если придерживаться мифического обоснования авторитета науки, то вся эта процедура завершалась бы ссылкой на соответствующее *arche* (или *origo*), т.е. на некое установление, которое положило начало тому или иному институту или порядку природы. Но разве исчерпаны ресурсы и самого обосновываемого феномена? Почему не задействовать саму научную рациональность, ресурсы критического дискурса и сравнительного анализа с целью легитимации науки?

Наука, конечно, прибегая к автологии или круговому обоснованию, вполне способна сравнить себя с другими формами социальности: хозяйством, политикой, искусством, той же религией, правом и даже семейноинтимными системами коммуникации на предмет экспликации собственных когнитивных и коммунарских преимуществ.

Это требует типологических сравнений науки с конкурирующими и комплементарными ей сообществами. Это сравнение вполне может осуществить и сама наука в своих частных формах, скажем, социологии или философии науки. Они давно этим занимаются, эксплицируют уникальные социальные функции науки (исследование), фиксируют ее конкретные достижения (продукты, поставляемые наукой другим системам), анализируют ее рефлексивные способности, констативность научного дискурса, ее ресурсы антиципации внутрисистемных и внешнемировых событий, коннективность системных элементов (т.е. коммуникативную интеграцию науки как сообщества), степень и виды мотивированности ученых (научное призвание), внутреннюю дифференциацию и специализацию (обеспечивающие «широкополостную» переработку сложности внешнего мира), восприимчивость к опасностям из внешнего мира, способности хеджировать исследовательские риски и оптимизировать собственные наблюдательные ресурсы (понятия, теория, методы).

Все это в сумме и будет той самой искомой легитимацией науки как «наилучшим образом» – когнитивно и нормативно-организованного сообщества. Эти вещи в отношении научной деятельности довольно хорошо разработаны. Классическим примером такого кругового и автологического – и при этом рационального – самообоснования, как известно, стала методология исследовательских программ Лакатоса, которая и к самой себе применила требования, предъявляемые к анализируемому объекту. И идеи «хорошей» науки Куна здесь так же полезны, как и идеи Мертона и Полани, фиксировавших коммунитарные преимущества науки.

А нужна ли легитимация науке?

Но И.Т. Касавин не хочет использовать рациональные аргументы, ссылаясь на их неубедительность для неученой публики: «фундаментальной науке в большинстве стран сегодня не хватает рациональных аргументов для обеспечения конкурентного финансирования и общественного авторитета».

С этим тезисом можно лишь частично согласиться. Все-таки для финансирования исследований (в особенности фундаментальных) сегодня в развитых странах выделяются значительные проценты национальных бюджетов. Да, наука – это высококонкурентная область. Поэтому и бюджетирование осуществляется неравномерно. Профессия ученого (как и в спорте высоких достижений) требует полной иммерсивности и сопряжена с высоким риском исследовательских неудач. И это радикально отличает науку от других профессий, делает инклюзию в научное сообщество, скорее, маловероятной, притом, что эксклюзирование из него оказывается в порядке вещей.

Но все это вовсе не свидетельствует о том, что общество жалеет денег на науку. Плодить ученых – еще не означает плодить открытия. Здесь проявляется та же самая иллюзия, которая заставляет подкармливать птиц в надежде уменьшить число больных и голодных. Однако

эта помощь, очевидно, эфемерна, поскольку при общем росте популяции больных и голодных становится как раз не меньше, а больше. В этом смысле сама постановка вопроса о некой дополнительной апологии и легитимации науки (по крайней мере мировой) выглядит не слишком актуальной.

Тезис об иллюзии этического кодекса, противоречащего индивидуальному выбору

Любопытной в этом контексте выглядит своеобразная интерпретация коммунитаристского аргумента Мертона, а именно тезиса о том, что коллективное поведение в науке и единство ее сообщества «создает лишь иллюзию этического кодекса: он не предполагает индивидуального ответственного выбора».

С тезисом об иллюзии этического кодекса как противопоставленного индивидуальному ответственному выбору мы не можем согласиться. Корпоративная этика науки не только не противоречит нововременному индивидуализму, но задействует его как мощнейший корпоративно-этический ресурс. Научная этика ориентирована на социальную функции науки – осуществление научного исследования – и выкристаллизовалась в процессе долгой эволюции в ходе становления – ряда невероятных общественных предпосылок науки.

Такой общественной предпосылкой науки являются та позитивная оценка и то одобрение, которыми научное сообщество сопровождают всякую критику (т.е. недооценку и неодобрение!) достижений своих членов, не исключая актуальные научные стандарты, методы, теории, обоснованность экспериментальных данных и т.д. В этом смысле индивидуальный акт отклонения от коллективного согласия в науке является пусть рискованным, но общностно-одобряемым поведением.

То, что в целом критика и вытекающие из нее отклонения «запросов на контакты» (в особенности предложения рукописей в журналы) считаются высоко полезным делом, хотя и противоречат всем принципам

консенсуса, объясняется только одним обстоятельством. Тем, что наука, специализируясь на научном исследовании, словно отказывается от индивидуального авторства высказывания. А значит, критикующему лицу мы не можем вменить какой-то мизантропии или социопатии. Оппонента критикует не ученый, а, если так можно сказать, сама природа. Возможно, поэтому и профессия ученого так долго не имела даже и названия. Ведь ученый не является автором истины (в отличие от автора произведения, политического решения или экономического проекта).

При этом всякая попытка организовать консенсус (например, договориться о принятии рукописи) рассматривается как коррупция и преследуется внутренней «научной полицией» как блюстителем «научной этики». Так, сегодня, например, представители Диссернета и прочие «волонтеры», безусловно, решают личные задачи, т.е. как раз и осуществляют тот самый искомый «индивидуальный ответственный выбор», когда в условиях переизбытка научной комплексности (количества и качества научных текстов) защищают корпоративную этику науки.

Тезис о разрыве внутренней и внешней истории и этики науки

Общая идея И.Т. Касавина в том, что в процессе легитимации науки нужно двигаться с двух сторон – исследовать внешнюю и внутреннюю истории науки. Внутренняя история не генерирует признания и «не укореняется в мифе». Согласимся с тем, что существуют трудности в формировании призвания в современном «расколдованном» мире. Речь идет об известной веберовской проблеме [Weber, 1992: 101; Касавин, 2017]. И все-таки ее решение И.Т. Касавиным не представляется неувязным.

Внешняя история науки, универсальные профессиональные стандарты, необходимость, основанная на

абсолюте, корпоративная этика – все это противопоставляется внутренней истории науки, ее атомизации, контингентности выбора, индивидуальному призванию, эконцентризму и бунту против абсолюта. Это размежевание хорошо как схема, организующая понимание науки с точки зрения внутренних и внешних факторов или условий. Но все-таки если понимать науку с точки зрения ее системно-коммуникативного контекста и подхода, который каждую систему общения рассматривает как автономную и конституированную исключительно собственными – внутренними – системными событиями, картина выглядит несколько иначе.

Наука, очевидно, представляет собой социальный институт, бинарно организованный вокруг двух задач [Luhmann, 1999: 636; Шлейермахер, 2018]. Во-первых, вокруг «внутренней функции». Речь о том, что дает наука обществу. И во-вторых, вокруг «научных достижений», когда речь идет о том, чем некоторая дисциплина или междисциплинарное исследование содействуют ее конкретному контрагенту: индустрии (технологии), политике (национальный престиж), образованию (контент для преподавания). В этом случае этика науки как способ организации и интеграции научного сообщества словно сама собой вытекает из этого разделения означенных функции и достижений. Именно функция (научное исследование как таковое) делает возможным иерархию дисциплин, которые, ориентируясь на иерархически-слоистый характер уровней реальности (физической, химической, биологической, психической, социальной и т.д.), обеспечивают искомую интеграцию науки. Химики ориентируются на стандарты физики, а биологи на стандарты химии. Представители социально-гуманитарных дисциплин, хотя и этого или нет, в свою очередь вынуждены собственное знание, как и методы его получения (и не в последнюю очередь структуру и принципы коммуникации своих коллективов и учреждений [Шлейермахер, 2018]) подстраивать под

стандарты естественных наук. Такова иерархия наук, где одни науки (возникшие ранние, более развитые, авторитетные и фундаментальные), собственно, и задают интегрирующие научное сообщество правила научной работы и дух корпоративной этики [Stichweh, 2013].

Эту интегрирующую функцию науки выполняют сегодня трансдисциплинарные тенденции в науке (математизация, информатизация, теория систем, структуризм и т.д.). Они объединяют сообщество уже фактом общения и совместной работы представителей разных дисциплин, перформативно связывая дисциплинарно и социально фрагментированные коллективы друг с другом.

Менее выражены интеграционные возможности междисциплинарных исследований, которые чаще всего принимают формы временных, окказиальных, контингентных проектов, объединяя представителей различных дисциплин исключительно по запросу из внешних науке коммуникативных систем, прежде всего хозяйства или политики (в особенности в вопросах безопасности или обороны). Но даже эти по видимости внешним образом ориентированные прикладные исследования лишь поверхностному наблюдателю покажутся частью «внешней истории» науки.

Возвращаясь к нашему примеру спора между Пастером и Кохом, мы видим, что инспирированные внешними потребностями прикладные задачи (иммунология) дали рождение микробиологии как фундаментальной дисциплины. А микробиология на основе своего внутреннего предметного интереса, в свою очередь, обеспечила современные достижения иммунологии и решила многие прикладные задачи для сельского хозяйства, здравоохранения и т.д. В этом смысле дистинкция прикладное / фундаментальное как выражение различия между функцией и достижениями науки есть внутренняя дистинкция самой науки, и она сама по себе обеспечивает интеграцию и соответствующую – вну-

тренним образом конституированную – корпоративную этику.

Наука и утопия

Теперь мы обратимся к проблеме ускорения и прогресса современной науки, а в качестве отправной точки будем использовать недавнюю статью И.Т. Касавина «Когда будущее граничит с утопией» [Касавин, 2022: 193-200]. Классические факторы научного развития И.Т. Касавин связывает, с одной стороны, с когнитивной проблематизацией наличного знания, как традиционным внутренним условием прогресса науки. Данный фактор, с другой стороны, дополняется некоторой внешней причиной, а именно – конкуренцией «института нормальной науки и его социальных альтернатив»). При этом каждый из них интерпретируется как условие креативности и социальных свобод.

Соглашаясь с общим пафосом, мы попытаемся обосновать в чем-то похожий взгляд, базируясь при этом на эволюционно-теоретических посылах. Мы формулируем наш ответный тезис на данную статью [Касавин, 2022] в соответствии с системно-коммуникативным подходом [Луман, 2017] в рамках общей теории эволюции [Cambell, 1960]. В этом смысле развитие и прогресс науки можно было бы понимать как одно из проявлений социальной эволюции, которое осуществляется в соответствии с универсальными эволюционными механизмами – (1) изменчивости или вариативности, (2) средового отбора, (3) закрепления новых свойств на некотором охватывающем уровне. Этот подход позволяет посмотреть на науку извне, из перспективы внешнего наблюдателя, сравнивающего прогресс в науке и сопредельных сообществах (в политике, хозяйстве, искусстве, религии, где функционируют аналогичные эволюционные механизмы). Кроме того, из внутренней перспективы сложно выбирать между существенно различающимися пониманиями научного прогресса. Так, принято

считать [Bird, 2007], что сегодня полемизируют три основных точки зрения на научный прогресс: проблемно ориентированный подход в стиле Томаса Куна, семантическое понимание прогресса как приближения к истине (verisimilitude) в смысле Карла Поппера и эпистемическая трактовка научного развития как аккумуляции все новых знаний. Однако ни одно из этих пониманий не концептуализирует научный прогресс как часть универсального социального процесса, как естественный процесс эволюции.

Механизм изменчивости подразумевает формирование пула избыточного многообразия научных предложений (гипотез, концептов, подходов, описаний, объяснений), которое так или иначе результирует в соответствующих коммуникационных форматах или сообщениях: в виде препринтов, тезисов конференций, сообщений на научных семинарах, грантовых заявок и так далее. Вопрос их истинности на этой стадии развития науки в полной мере еще не ставится. И, безусловно, лишь небольшое из этого избыточного предложения «доберется» до второго механизма фильтрации данного многообразия, а именно – до средового отбора наиболее удачных научных сообщений на предмет их истинности или ложности. В науке этот механизм редукции многообразия представлен процедурами критики, рецензирования, экспертизы, проверочных экспериментов в других лабораториях и так далее

Здесь мы имеем дело с механизмом распределения истинностных значений, где каждое научное предложение, достигшее средового фильтра (что уже считается успехом, ведь заявка не была отклонена на предыдущей стадии как несоответствующая (1) теме или формату, (2) требованиям к автору или (3) как неактуальная), рассматривается в компаративистской перспективе. Конечно, истинность как индекс для части отобранных научных сообщений сама по себе достаточно бессодержательна. Она лишь маркирует (символизирует и обоб-

щает) те научные предложения, которые прошли отбор на основании средовых условий или критериев, главным образом, актуальных теорий и методов. Истинность – это индекс, который приписывается этим сообщениям и маркирует подвижную границу между относительно свободным теоретизированием и методологическими ограничениями, включая методы проверки этой теории.

Но и преодолевшее этот фильтр (распределения по истинным и ложным значениям) истинное знание (в форме научной статьи, одобренной рецензентами для публикации) не гарантирует его утверждения и вхождения в парадигму или исследовательскую программу, то есть в корпус общепризнанного, стабильного знания, способного уже и самому служить теоретическим и методологическим обоснованием, фильтром для отбора новых истинных научных предложений. Ведь не всякая удачная «мутация» или полезное новообразование (с точки зрения общей теории эволюции), будучи отобранными, с необходимостью закрепляются в популяции, но чаще всего «растворяются» в генотипе. Именно на этой третьей эволюционной стадии формируются стабильные порядки – системы, популяции (или научные парадигмы или школы; статьи из журналов попадают в учебники и хрестоматию, а ученые – в национальные академии наук).

Прогресс теории и коммуникативная ситуация

Важнейшим условием развития науки, с этой точки зрения, оказывается альтернативность, избыточность и вариативность притязаний на научный успех. Карл Поппер в его идее «приближения к истине» как меры прогресса требовал альтернативности «научных притязаний» не учитывал. Между тем, по Куну [Кун, 1975], аномалия лишь тогда создает кризис и выступает фальсификатором, если возникает альтернативная парадигма (= альтернативный «запрос на контакт» в нашей коммуникативной терминологии), которая ее

объясняет. Например, «неуловимость» гравитационных волн не признавалась аномалией и не вела к кризису в науке, поскольку не возникало влиятельной альтернативной теории, которая бы их категорически исключала. Научный кризис в этом смысле не сильно отличается от политического и предполагает столкновение и согласование (научных) интересов как минимум двух конкурирующих сторон.

*Как оценить успех или не успех
притязания теории на успех?*

Стандарты оценки хорошей теории, как известно, устанавливаются внутри самой парадигмы. Так, с точки зрения декартовской механики ее способность объяснить гравитацию механически (а именно с помощью «вихревой теории») как раз и полагалась наилучшим критерием оценки этой теории. Внутренний критерий оценки ньютоновской концепции состоял в предсказательной точности (движения планет и так далее), хотя механизмы, объясняющие гравитацию, не назывались и даже запрещались к тематизации (*hypotheses non fingo*). Никаких общих или метакритериев для оценки успешности конкурирующих теорий не формулировалось.

Но не получается ли в этом случае так, что научная коммуникация (характер дискурса, научная критика и научная рациональность) по крайней мере в этом контексте существенно не отличается от политической или ценностно-идеологической? Ведь и в политике нет общей меры, внешнего или объективного критерия для обоснования тех или иных политических позиций или ценностей – коммунитаризма или индивидуализма, либерализма или консерватизма. Политические программы апеллируют к тем или иным (внутренним для этой программы) ценностям. А ценности определяются тем, что к ним привержены массы (то есть сторонники этой программы). Ценности как критерий оценки меняющихся друг друга политических программ (либеральных, кон-

сервативных, правых или левых) есть внутреннее дело той или иной политической силы. И поэтому трудно говорить о какой-то новой «лучшей» политической системе взглядов, достойной того, чтобы заменить собой устаревшую. Самоценным может полагаться лишь сама альтернативность (и избыточность) политических программ, обеспечивающих общую динамику, сменяемость и, как следствие, адаптивность политической системы в целом к тем или иным внутренним и внешним средовым условиям.

Но ведь и в науке ведущие теории, парадигмы или исследовательские программы (по крайней мере, в куновской и лакатосовской версиях) не предполагают внешнего наблюдателя или третейского судьи. Но если это так, то и научное сообщество в своем притязании на лучшее объяснение явлений внешнего мира (как и в своем притязании на конструирование «лучшего социального мироустройства») мало чем отличается от других круговых или самореферентных притязаний: ценностных, политических, религиозных. Но являются ли учеными такими же узколобыми догматиками, не учитывающие внешнюю наблюдательную перспективу, критерии успешности научных теорий, утверждаемые с позиции в том числе и конкурирующей парадигмы? Нет ли здесь вызова самому понятию как научного (и общесоциального прогресса)? Ведь если и политические ценности (коллективизма, индивидуализма) как критерии оценки политических программ и критерии оценки научных теорий являются (само)обосновываются исключительно изнутри, то какой смысл в смене одних, предположительно худших, другими, предположительно лучшими?

Есть ли общезначимый критерий научного прогресса?

Попытки найти общезначимый критерий научного прогресса в той или иной мере предпринимались регулярно. Согласно Т. Куну, таковым стандартом яв-

ляется объективно-исчисляемая количественная мера прогресса – возрастающее число разрешаемых новой парадигмой головоломок. Но и это решение столкнулось с трудностью, так называемой куновской утратой (kuhnian loss). Так, то, что раньше считалось проблемой и по-разному разрешалось в соперничающих теориях, на следующих стадиях развития науки просто теряло смысл.

Конечно, можно было обратиться к самим объектам научных описаний как критериям лучших теорий, из которых проистекали бы наблюдаемые следствия, «лучше» соответствующие эмпирической реальности. Однако «семантическая несоизмеримость» Т. Куна требовала отказаться от предположений о тождестве или единстве референтов у мнимо тождественных понятий в рамках конкурирующих парадигм. Масса в теории Ньютона и масса в релятивистской теории имеют разные смыслы, но это значит, что за ними стоят и разные референты, а не какая-то в себе единая масса, получающая разные интерпретации. Отсюда печальный вывод о том, что научная дискуссия, критика, апеллирующая к объекту и объективности, не выполняет свою роль, поскольку предполагает сравнение (описаний, пропозиций) на предмет их «лучшему соответствию» некому в себе единому референту, которого-то и не существует ни в чьей наблюдательной перспективе.

Имре Лакатос предложил решение проблемы прогресса, связав с последним те «хорошие» теории, которые осуществляют прогрессивный, а не дегенерирующий «проблемный сдвиг». Научная рациональность (в аспекте выбора лучшей теории на смену старой) предстает в этом случае в виде модернизации «защитного пояса» и защиты «жесткого ядра». Но ведь такого рода сдвиги получают свою конечную определенность (как прогрессивные или дегенеративные) лишь спустя годы, а то и десятилетия. Классическим примером здесь является «программа Праута» (ориентировавшая на то, что

атомные веса всех чистых элементов являются целыми числами, и все они состоят из атомов водорода), которая переживала «дегенеративный сдвиг» и лишь спустя десятилетия была признана верной. Научная рациональность требовала бы в этом случае отклонения программы Праута.

Но разве не рационально пойти на риск и выбрать менее обоснованную на данный момент теорию, играя в долгую? Конечно, риски (непонимания со стороны научного сообщества, результирующие в отклонениях публикаций) в этом случае оказываются большими, но и ставки, и, как следствие, научные бенефиты (звания, репутации) в случае конечного успеха в этой игре существенно повышаются. И победившая программа Праута в конечном счете это и доказала. Однако если (как в игре с нулевой суммой) обе противоречащие стратегии оказываются равно рациональными, то и само понятие рациональности, основанное на различении прогрессивного/дегенеративного сдвигов, утрачивает смысл и не ориентирует в выборе теорий.

Впрочем, и другая лакатосовская дистинкция (жесткого ядра / защитного пояса), отвечающая за ориентацию на прогресс, оказалась под ударом.

Рационально ли сохранять «жесткое ядро», если в каждый данный момент (когда осуществляется рациональный выбор между теориями) само ядро не может быть жестко отграничено от защитного пояса? Например, в «жесткое ядро» дарвинизма входило представление о естественности и однонаправленности процесса наследования и отбора, которое сегодня уже не разделяют. А значит, возникает все та же временная проблема рациональности: границы состав элементов подлинного «ядра» станут известны лишь в будущем. Что же делать рационально мыслящему исследователю сегодня: трансформировать ядро или варьировать защитный пояс? Рациональный выбор в пользу сохранения ядра и трансформации защитного пояса в этих

условиях невозможен: если (и когда) струнная теория в физике частиц заменит стандартную модель, то жесткое ядро, очевидно, трансформируется и включит в себя новые элементы. Но как это рационально ориентирует актуальную научную коммуникацию?

Эволюционная теория

как решение проблемы научного прогресса

Вышеприведенные соображения возвращают нас к заявленной проблеме научного развития: возможно ли (и если да, то как именно) измерить научный прогресс объективно и независимо от довлеющих парадигм, задающих внутренние критерии оценки научного прогресса? С нашей точки зрения, подходы к решению нужно искать в общей теории эволюции, как объяснительной схеме развития жизни, социума и науки. Этот подход, опираясь на современную литературу, мы подробно обосновали раньше [Antonovskiy, Barash, 2021], поэтому здесь позволим себе сконцентрироваться на первых попытках «эволюционного объединения» научного и социального прогресса.

«Anything goes» – ключевая идея Фейейрабенда [Feyerabend, 1975], которая в нашем контексте (вышеперечисленных трех пониманий научного прогресса) означала бы равную релевантность проблемной, семантической и эпистемической его интерпретации. Каждая хороша, если она совместима с пролиферацией тех новых идей. С эволюционной точки зрения эта идея лишь отсылает к требованию разнообразить возможности научной коммуникации на стадии варьирования. Редуцировать домен вариаций (прилагать к нему строгие требования и фильтры актуальных теорий и методологий) было бы контрпродуктивно.

Однако сегодня мы видим несколько иные тенденции. Национальные регуляторы науки гипертрафируют значение истинностного отбора научного знания. Публикационный прессинг и ожидания потоков жур-

нальных статей (как критерий национального престижа) деформируют исследовательское время в пользу именно второго механизма эволюционного средового отбора (журнальные публикации) в ущерб механизмам вариативности (непубликационная научная работа) и механизмам стабилизации научного знания (монографическая форма представления научного знания).

При этом «пролиферация идей» и формирование «пула вариативности» утрачивают значение самоценного и независимого эволюционного механизма. Выбирать приходится сразу и лишь то, что в ближайшей перспективе может быть акцептировано желательным изданием. Ученому не хватает времени ни на свободную (то есть независимую от воспоследующей публикации) рефлексию альтернатив, ни на подготовку итоговых обобщающих трудов, призванных компилировать актуальные достижения в формате монографий. Даже требования к дипломным и курсовым работам, которые могли бы представлять в формате эссе и служить для тренировки креативности и научного воображения, формализируются и формулируются в виде строжайших критериев «истинностного отбора». От аспиранта требуют не креативности, а научного открытия или как минимум исчерпывающего раскрытия соответствующей «темы», которая хорошо известна оценивающим инстанциям и служит фильтром истинностного отбора. Но именно это сужение домена вариаций (которое должно осуществляться лишь на уровне селекции) ослабляет конкуренцию, то есть создают тепличные условия для научной теории, которая снова и снова воспроизводится и акцептируется в научных предложениях (понимаемых нами в коммуникативном смысле как «запросы на контакт»). По сути, конкурируют за акцептацию одинаковые варианты актуальных теорий, не способные «мутировать» и предлагать себя в новых нетривиальных форматах.

Требования разведения эволюционных механиз-

мов «варьирования» (= изменчивости, креативности, избыточности коммуникативных предложений науки), с одной стороны, и механизмов средового отбора (= акцептации предложений, содержащих доказанное, обоснованное, проверенное истинное знание) – с другой, ставят под вопрос и фундаментальную куновскую дистинкцию нормальной (неконкурентной) и революционной (конкурентной) науки. В этом смысле кажется плодотворным (и хорошо совместимым с общей эволюционной теорией) требование Фейерабенда радикализации конкуренции и права допуска в научную коммуникацию разного рода «паранаучных» предложений, включая сюда притязания (если не на истинность, то, по меньшей мере, на участие в формировании пула вариативности) ненаучных и вненаучных традиций. В этом эволюционном смысле строгие научные предложения только выиграют, выйдя из «зоны комфорта» и закалившись в конкуренции и полемике с ненаучными традициями.

Проиллюстрируем этот подход на классическом примере. Галилеевская теория была более молодой и новой, хотя, как убедительно показал Фейерабэнд, и не отвечала актуальным требованиям научной рациональности и научного метода. Но ее новизна давала преимущество во временном измерении научной коммуникации и этим рекрутировала адептов. Она не отвечала «условиям игры», но это и было ее конкурентным преимуществом; представляла собой «нетривиальный ход» безотносительно своей истинности и именно этой новизной адаптировалась к среде, как молодой претендент (на должность или в качестве партнера) оказывается более востребованным и адаптивным. Новизна как индекс теории во временном измерении научной коммуникации имеет ключевое значение, поскольку как раз и обеспечивает искомую альтернативность научных предложений в смысле Фейерабенда (или «избыточность» системно-коммуникативном смысле)!

Это действительно сближает науку как целостную систему с политикой, экономикой или спортом в том смысле, что избыточность или альтернативность наноят непоправимую пользу коммуникативным системам в целом – уже на третьем, глобально-популяционном уровне эволюции (в рамках механизма закрепления новообразований). Партия, фирма, научная теория могут быть более или менее успешными в рамках соответствующих форм социальности, более или менее адаптивными к потребностям электората или актуальным научным вызовам, но именно эффективное функционирование охватывающего целого (политической системы, научной системы, системы хозяйство и так далее) зависит от означенных факторов максимизации альтернативности и конкуренции на соответствующих рынках: политических программ, продуктов и услуг, как и на специфических рынках научных публикаций, компетенций, научных школ, научных лабораторий и научных институтов и так далее. Адаптируется в этом случае не теория, не политическая партия, а наука или политика в целом.

Аргумент Фейерабенда состоял в том, что теория Галилея победила (в нашей терминологии – прошла фильтр средового отбора), несмотря на его игнорирование требований научного метода и вопреки всем аномалиям, которые она не могла объяснить. И хотя, строго говоря, нельзя говорить о победе теории Галилея при жизни самого ученого, она сохранилась в «генотипе», получила статус аллеля – возможной альтернативы, варианта, который – в этом качестве – прошел отбор и стал ждать своего часа, чтобы стабилизироваться как надежное и достоверное знание.

Библиография (2.2):

- Антоновский А.Ю. Кризис коллегиальности в научной организации и научная политика // *Эпистемология и философия науки*. 2020. Т. 57, № 3. С. 6–22.
 Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Наука Макса Вебера: рецепция и перспективы // *Эпистемология и философия науки*. Т. 55, № 4. С. 174–188.

- Бараш Р.Э., Антоновский А.Ю. Радикальная наука. Способны ли ученые на общественный протест // *Эпистемология и философия науки*. 2018. Т. 55, № 2. С. 18–33.
- Касавин И.Т. Когда будущее граничит с утопией: наука в перспективе // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2022. № 68. С. 193–200.
- Касавин И.Т. *Наука – гуманистический проект*. М.: Весь мир, 2020. 492 с.
- Касавин И.Т. Научное творчество как социальный феномен // *Epistemology and Philosophy of Science*. 2022. № 2.
- Касавин И.Т. Нормы познания и познание норм // *Эпистемология и философия науки*. 2017. Т. 54, № 4. Р. 8–19.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
- Луман Н. Эволюция науки // *Epistemology and Philosophy of Science*. 2017. Т. 51, № 1. С. 215–233.
- Сапрыкин Д.Л. «Золотой век» отечественной науки и техники и «классическая» концепция инженерного образования // *Вопросы истории естествознания и техники*. 2013. Т. 34, № 1. С. 28–66.
- Столярова О.Е. Научный реализм и идея перформативности // *Эпистемология и философия науки*. 2018. Т. 55, № 2. С. 42–48.
- Тухатулина Л.А. Парадокс Мертона-Поппера и в свете «материализации» рациональности в науке // *Эпистемология и философия науки*. 2018. Т. 55, № 2. С. 49–52.
- Шлейермахер Ф. Фрагмент из работы «Нечаянные мысли о духе немецких университетов» // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2018. Т. 55, № 1. С. 215–235.
- Ющенко А.А. *Условные рефлексы ребенка. Опыт изучения физиологии больших полушарий ребенка секреторно-двигательным методом*. М.: Госиздат, 1928.
- Antonovskiy A.Yu., Barash R. Ed. The Evolutionary Dimension of Scientific Progress // *Social Epistemology*. 2021. №35(6). P.1-15.
- Bird A. What Is Scientific Progress? // *Nous*. 2007. Vol. 41, № 1. P. 64-89.
- Campbell D.T. Blind variation and selective retention in creative thought as in other knowledge processes // *Psychological Review*. 1960. Vol. 67, № 6. P. 380–400.
- Feyerabend P. *Against Method*. London: Verso, 1975.
- Habermas J. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Band I, 1981. Suhrkamp. S. 30.
- Hull D.L. *The Metaphysics of Evolution*. Albany: SUNY Press, 1989.
- Jouglu A. *Profession: animal de laboratoire*. Paris, 2015.
- Luhmann N. *Wissenschaft der Gesellschaft*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990. 732 S.
- Maier H. *Gemeinschaftsforschung: Bevollmächtigte und der Wissenstransfer die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus*. Göttingen: Wallstein, 2007.
- Stichweh R. *Wissenschaft, Universität, Professionen*. Soziologische Analysen. Bielefeld, 2013.
- Weber M. *Gesamtausgabe*. Tübingen: Moch Siebeck, 1992. Vol. 17. Wissenschaft als Beruf.

Глава 2.3. «Наука общества» Никласа Лумана.

Системно-коммуникативный поворот в исследованиях научной коммуникации

30 лет назад вышла из печати книга Никласа Лумана «Наука общества». Эта работа заняла свое место в ряду из нескольких фундаментальных монографий, каждая из которых посвящалась одной из ведущих коммуникативных систем мирового общества: хозяйству, политике, праву, массмедиа, религии, искусству, движениям протеста. Вышедшая в 1990 году книга и была призвана определить положение науки среди соразмерных ей коммуникативных систем. Это положение не являлось чем-то естественно-понятным. С одной стороны, с точки зрения системно-коммуникативного анализа общества наука находится «в той же плоскости исследований», в которой рассматривались исследования о хозяйстве общества, о политике общества, о праве общества. И все-таки наука претендовала и на некое «преимущественное положение». Причем, в отличие от политики, претендующей на доминирование «внутри общества», наука занимает доминирующую позицию «над обществом». Ведь, специализируясь на наблюдении, она претендовала на некий более широкий сектор обзора. Что гарантировалось ее уникальной наблюдательной оптикой, а именно бинарным различием истинного/неистинного [Luhmann, 1990: 167-271], применение которого регулируется коммуникативными программами (теориями и методами), лимитирующими исследовательский процесс. Именно это сочетание бинарного кодирования и программ [Luhmann, 1990: 184-185] обеспечивало уникальную функцию научной коммуникации – проведение научного исследования.

Конечно, политика может управлять наукой, определяя государственно-значимые темы как некое государственное задание для науки. Хозяйство может направлять научные исследования, финансируя разработку хозяйственно-значимых технологий. Но лишь

наука может определить истинность или ложность своих утверждений о природе, человеке и обществе, и в этой функции наблюдателя, внешнего по отношению к остальному обществу, никакая другая система не может ее заменить. Истины сменяются истинами, но не приказами, транзакциями или правовыми актами.

Наука мыслилась Луманом как контрдикторно-позиционированная по отношению к политике. Всякая система так или иначе сталкивается с необходимостью избирательного и редукирующего отношения к окружающей ее действительности, которая не может наблюдаться и осваиваться системами во всей ее сложности, которую приходится так или иначе редуцировать. Но редукция сложности внешнего мира выстраивается этими системами диаметрально противоположно. Если некоторый Эго, как политик, свои действия подчиняет действиям вышестоящего Другого, то некоторый Эго, как ученый, свои переживания координирует с переживаниями Другого. Наука, безусловно, состоит из действий и коммуникаций, но стилизует их как взаимно удостоверяемые переживания внешнего мира, то есть как восприятия, наблюдения, эксперименты, но не как произвольные действия.

Наука в этом смысле – вместе с ценностной коммуникацией – занимает левый верхний квадратик схемы переменных или констелляций Никласа Лумана: Эго испытывает переживания, реагируя на переживания Другого. Политика занимает нижний правый квадратик: Эго действует, подчиняясь и реагируя своими действиями на действия Другого.

В этом смысле политика самореферентна. Она основана на воле к действию, и – как проективная или произвольная – коммуникация, может и не считаться с тем, что наличествует во внешнем мире. Наука, напротив, преимущественно инореферентна, ведь сам внешний мир она полагает в качестве объективного и ограничивающего деятельностный произвол ученого-наблюдателя.

Итак, преимущественное положение науки в обществе вытекает из ее выдающихся способностей «объективного», а значит, внешнего – по отношению к обществу и к остальному миру – наблюдения. «Но где же нам найти такую позицию вне общества? – пишет Луман – и кто бы мог, если такая позиция нашлась бы, это общество наблюдать?» [Luhmann, 1990: 355].

Наука и комплексность

Проблема науки как выделенного наблюдателя заявляется в этой работе как ключевая. И это, по мысли Лумана, требовало реконструировать науку как комплексную коммуникативную систему в ее неразрывной связи – и при этом непреодолимой дистанции – с не менее комплексным обществом¹.

Наука как система наблюдает внешний мир, а значит, развивает в себе ресурсы, позволяющие ей переработать сложность внешнего мира, осуществить некие «правильные редукции» [Luhmann, 1990: 362-469]. Для этого она, как наблюдатель, должна дистанцироваться от объекта. Однако наука не может выйти за пределы, по крайней мере, части своего внешнего мира, а именно, общества. Она неспособна занять позицию над обществом, и в этом смысле вынуждена наблюдать (= обозначать его и, прежде всего, отличать себя от него) свой внутренний внешний мир (общество), неизбежно сталкиваясь с парадоксом, который Луман обозначает как геделизацию.

Геделизация: общественные условия современной науки vs. наука как предпосылка современного общества

Первый аспект этого отношения касается общественных условий существования науки как обособившейся коммуникативной практики. Это вопрос о том, что разграничивает науку и ее «внутренний внешний»

1 Решить проблему комплексности можно было бы, словами Лумана, развить методологию исследования комплексных систем, предложенную еще в 1948 году [Weaver, 1948], что сделало, однако, не было.

мир (то есть общество). Второй вопрос тематизирует социальное воздействие общества на науку, возможности взаимопроникновения науки и других социальных систем вопреки их коммуникативной замкнутости.

Эти вопросы выявляют парадокс в отношении общества/наука. Наука в своих зрелых (= обособившихся от остального общества) формах коммуникации возникает на определенной стадии развития общества¹. Но ведь возникновение и самой современной науки, в свою очередь, служит условием расщепления науки и всего остального общества. И только наука, как наблюдатель и производитель этого расщепления, может оценить и зафиксировать эту новую – современную – стадию общественного развития.

Значит ли это, что возникновение науки маркирует и является условием достижения обществом некоторой зрелой – дифференцированной – стадии? И в этом смысле именно данный новый тип коммуникации выступает условием существования и причиной генезиса современного (= функционально-дифференцированного) общества? Наблюдать, и как следствие, познавать, можно лишь в том случае, если возникли социальные дистанции, если наблюдатель занимает положение «над обществом». «Усиление наблюдательной способности» есть «де-холизмизация (Deholiesierung), расчленение целого, ограничение, концентрация, редукция сложности» [Luhmann, 1990: 616]

Появления сообщества ученых как коммуникативно-выделенной корпорации, избавленной от повседневных забот, делает возможным принципиально новую коммуникацию, способную к «высокой спецификации в выборе тем и значительной разгрузки в сложности повседневности как предпосылка для возрастания соб-

1 Луман связывает это, среди прочего, и с коммуникативным обособлением в 17 веке типов аристократического (придворного) общения и коммуникации ученых, которые «не подходили для веселого времяпрепровождения, особенно при дворе, поскольку были поглощены своими мыслями» [Luhmann, 1990: 242; Jacques de Caillièrre, 1664].

ственной сложности» [Luhmann, 1990: 616].

Это обстоятельство Луман определяет как «парадокс геделизации». Поскольку сам парадокс Луман не расшифровывает, предположим, что речь здесь идет о невозможности одновременно непротиворечивой и полного теоретического описания науки. Так, если пронумеровать предложения такого рода «теории науки», действительно мы приходим к соответствующем парадоксу.

Первая аксиома: общество путем самодифференциации производит коммуникативную систему науки.

Этой аксиомы оказывается недостаточно, поскольку наука как коммуникация остается обществом (суммой всех коммуникаций), а значит, должен быть объяснен ее генезис именно как части и одновременно формы проявления общества. Отсюда вторая, дополняющая, аксиома:

Наука в своих наблюдениях производит современное общество, поскольку только в процессе обособления науки может иметь место и фиксироваться (наблюдаться и описываться) дифференцированный (= современный) характер самого общества.

Вывод: наука производит общество, которое производит науку, которая производит общество, которое... (парадокс самореферентности)².

Наука и ее общественный внешний мир

Общественная функция коммуникативной системы науки – исследование внешнего мира, редукция его сложности [Luhmann, 1990: 364-367]. Это подразумевает, что в распоряжении всего общества (а не просто его отдельных систем – хозяйства, образования, политики, и даже религии и так далее) благодаря науке появляется в том числе и некоммуникативный, необщественный внешний мир. В каком-то смысле наука обще-

2 Аналогичные процессы геделизации применительно к концепциям Фрейда, Гегеля [Hombach, 1989].

ства выполняет для последнего ту же функцию, каковую восприятие выполняет для психической системы (для сознания). Это вовсе не означает, что наука наблюдает (или, что то же самое, обсуждает) мир таким, каков он есть в некой реальности самой по себе. Это лишь означает, что в своих коммуникациях наука проводит некоторое разграничение. При этом вторая сторона этой границы (как то, что не является научной коммуникацией) постулируется как комплексный внешний мир науки и общества. У науки нет приоритетного доступа к реальности, у нее лишь свой собственный доступ к комплексной реальности.

Обладая такими уникальными средствами и соответствующей функцией, наука остается социальной системой. Это значит, что она не только осуществляет исследования внешнего мира всего общества, осуществляя свою уникальную функцию. Как социальная система, она сопряжена с другими социальными системами, которым она – в ответ на определенные запросы (прежде всего, со стороны индустрии, политики, образования) предлагает свои достижения в обмен на определенные ресурсы.

В этом смысле, условием редукции внешней комплексности мира выступает редукция внутренней комплексности внешнего мира. Наука должна успешно справиться с давлением из других коммуникативных систем, чтобы – реагируя на их запросы – тем не менее реализовать собственную функцию – осуществлять исследования на основе собственных приоритетов, интересов и мотиваций. Наука должна дистанцироваться от остальных систем; выработать тактики фильтрации, канализирования, буферизации, и так далее [Gornitzka, 2013] и систематически отклонять попытки других систем оказывать (в том числе и деструктивное) воздействие на автопоэзис (автономное самовоспроизводство) научной коммуникации [Young, 2017]. Такая редукция социальной (внутренней внешней) комплексности, как

условие переработки наукой ее внешней комплексности, есть важнейшая общественная предпосылка современной науки.

Свобода от политических воздействий на науку

Общественной предпосылкой обособления науки служит ее коммуникативная автономия. Эта автономия проявляется в ее собственном (а не навязанном извне) определении баланса между ее функцией (исследованием) и ее достижениями (продуктом обмена с другими системами). Как мы можем интерпретировать эти положения системно-коммуникативного подхода к науке, исходя из современных реалий?

И сегодня означенная общественная предпосылка не реализована в полном объеме. Прежде всего, в силу того влияния, которое политическая система общества пытается оказывать на науку. Политическая система ждет от науки «конкретных научных результатов». Этими результатами политика сама затем отчитывается перед электоратом, интерпретируя их как свой собственный успех. Политика оказывает давление, наблюдает науку, требует от нее «достижений» (выполнения госзаданий) в ответ на финансирование, и пытается «разбираться» в содержании фундаментальной науки.

Другими словами, политика претендует на «редукцию комплексности» самой науки, которая для нее, как для системы, в свою очередь является внешним миром. Правда политика лишена тех наблюдательных средств редукции внешнего мира, каковые имеются у науки (бинарного кода истины/лжи и соответствующих теоретико-методологический программ приписывания данных значений). Политика действует иначе. Она создает для себя пул экспертов от наукометрии как еще одну подсистему с функцией «структурного сопряжения» науки и политики. При этом политика наблюдает науку с помощью собственной внутрисистемной оптики – бинарного кода власти, и поэтому все ее наблюдения так или

иначе служат внутреннему – политическом автопоэзису: удержанию и максимизации собственной власти, но не осуществлению наукой ее собственной социальной функции (научного исследования).

При этом такого рода политическое наблюдение науки, как всякое наблюдение, вызывает некие квантовые эффекты, это значит, дефинитивно, меняет существо научного исследования¹.

При этом политика, в свою очередь, сталкивается с проблемой комплексности внешнего мира и пытается редуцировать комплексность противостоящей ей научной коммуникации. Она исходит из научных результатов, полученных именно на уровне достижений², то есть отбирает и оценивает лишь то, что сама навязывает науке как исследовательские темы или приоритетные продукты (скажем, оборонные исследования, социально-значимые технологии, или продукты, запрашиваемые в национальной экономике, то есть все то, что можно оценить, даже не прибегая к научной экспертизе, а лишь по их экономическим и иным эффектам).

Результаты, полученные на уровне функции (= автономного исследования, самореферентно оцениваемого наукой) тоже интерпретируются сегодня как достижения, как национальные показатели на интернаци-

ональном рынке публикаций. Эта специфическая редукция политикой внешней для нее комплексности науки к достижениям, но не исследованиям, не является каким-то злым умыслом или осознанной коррупцией науки. Ведь политика дефинитивно не способна самостоятельно оценить фундаментальность и фронтирность собственно научного исследования (социальной функции науки). Ее экспертных ресурсов хватает лишь на то, чтобы оценить «обменные трансакции достижениями», то есть то, покупает ли индустрия достижения ученых (прежде всего в форме технологий), «покупают» ли издательства, журналы, базы публикаций и цитирований научные статьи тех или иных дисциплин или стран; насколько успешно система образования переводит научный контент в образовательные компетенции. Политика рассматривает науку как «производителя достижений» на квази-рынках – рынках публикаций, рынках технологий, рынках исследовательских компетенций, рынках фондирования (грантов) и так далее. Лишь в обмен на это (но не за само исследование) наука, с точки зрения политики и так называемого «академического капитализма» [Muench, 2014], может получить средства для собственного развития.

На уровне достижений внешнее воздействие на науку проявляется, прежде всего, в навязывании политикой науке тех или иных исследовательских тем (связанных с технологиями, безопасностью, экологией и так далее). Такое внешнее навязывание (и соответствующее обещания вознаграждения в форме грантов и повышенного бюджетирования) приводит к инфляции истины [Luhmann, 1990: 623]. Такая инфляция подразумевает завышенные ожидания в отношении будущего исследовательского успеха. В ответ на «политические интервенции» возникает «лихорадка». Формулируются поспешные и необоснованные проекты и заявки как свидетельство борьбы (используем здесь метафору) «научного иммунитета» против такого рода чужеродных интервен-

1 Эмпирические подтверждения таких «коррумпированных» эффектов политического наблюдения над наукой в работе ряда ведущих групп шведских и датских ученых см.: [Whitley, 2014]. «Политический прессинг имеет свои эффекты. В обеих группах исследователи были крайне восприимчивы к тем способам их наблюдения, которым прибегала политическая система» [Young, 2017: 502].

2 О дистинкции функция/достижение подробнее: [Stichweh, 2013: 20; Luhmann, 1990: 367]. Наука, с точки зрения системно-коммуникативной теории, выполняет две задачи. С одной стороны, озабочена своей социальной функцией – фундаментальным исследованием. С другой стороны, почти каждая дисциплина (но в особенности междисциплинарный проект) вступает в «структурные сопряжения» с тем или иным контрагентом – отраслью индустрии, образования или соответствующими политическими «стейкхолдерами» (министерствами, партиями, общественными институтами и так далее).

ций из внешнего мира науки [Столярова, 2019].

При этом нарушается «внутрисистемная коннективность» коммуникации, то есть неслучайная последовательность коммуникаций, ориентированная на внутрисистемную темпоральность. Применительно к науке это означает, что результаты исследований подгоняются к желаемым. Четкость понятий, определенность в постановках проблем и консенсус в отношении того, решены ли они или нет (в особенности, в отчетных документах), оказываются негарантированной. Инфляция истины приводит к тому, что заявляются негарантированные, а то и заведомо невыполнимые научные результаты или достижения, подобно тому, как в инфляционирующей экономике, ориентированной на будущий рост цен, обещают высокие процентные выплаты по инвестициям.

Авторитет ученого в полицентричной модели системно-коммуникативных автономий

Наука отделяет себя от остального общества и – парадоксальным образом – рассматривает это как важнейшую предпосылку выполнения ей своей общественной функции. Если суммировать коммуникативные предпосылки науки, отделяющие науку от всего остального общества, можно отчасти свести их, к некоторой базовому коммуникативному свойству, о именно к отказу от притязания на авторитета, основанного на так называемой «староевропейской» семантике.

Эта семантика связывала в единый смысловой узел истинные высказывания, глубинные структуры мира, апелляцию к власти и моральное превосходство [Антоновский, Бараш, 2018а; Касавин, 2017]. В этом смысле всякое истинное познание фиксировало подлинное бытие, единственно-возможную природу, реконструировало «замысел Бога», свидетельствовало об избранности, было прекрасным и нравственным актом, а значит, имело для ученого высокий мотивационный смысл, поскольку наделяло познающего общественным авторитетом. И этот авторитет основывался на един-

ственно-возможной – истинной – точке зрения или наблюдательной позиции.

«Традиция исходила из того, что мир дан как независимый от наблюдения, – уже только потому, что всякий человек имел собственное впечатление, что вещи не исчезают, когда он отворачивается или уходит. ... Знающий исходя из этой предпосылки был как раз таким сторожем доступа к действительности. Из всего того, что было видно, он видел больше других; так поставленная наука могла претендовать на авторитет. Тем, кому что-то не видно, она могла сообщить, что видит она. ... Авторитет – это понятие, зарезервированное тем самым за ролью говорящего в некотором моноконтекстно-определяемом мире. Оно обозначает атрибутированный ему коммуникативный успех» [Luhmann 1990: 627].

Эта староевропейская семантика в форме так называемой пифагорейской установки¹ собственно и прочно связывало научное сообщество с его социальным внешним миром (прежде всего, с притязаниями ученых на моральный и религиозный авторитет). Распад этого смыслового узла, а вместе с ним и базового мотива научной деятельности, зафиксировал в 1917 году в своем манифесте Макс Вебер [Weber, 2002; Пружинин, 2019; Щедрина, 2019; Антоновский, Бараш, 2018b].

Луман рассуждает в веберовском стиле, связывает «зрелость» научной коммуникации с «разложением континуума рациональности, который в более ранних обществах (и не только староевропейских) сцеплял Бытие, Мышление, Желание и Ценности как Истинное и Благое в космосе и обществе» [Luhmann, 1990: 666].

Сегодня же комплексность мира, познаваемого наукой, по мнению Лумана и Вебера, утрачивает ценностное единство. Но теперь к веберовскому списку такого рода утраченных иллюзий в способностях науки реконструировать комплексность внешнего мира² Луман до-

1 См. о «pythagorean commitment» Галилея, Кеплера, Ньютона и других [Losee, 2002: 40-44].

2 Иллюзии о том, что наука – это «путь к истинному бытию», «путь к истинному искусству», «путь к истинной природе»,

бавляет еще и утрату семантического сцепления науки с остальным обществом. Как мы знаем, язык науки непонятен другим, и, кроме того, у науки не обнаруживается внешней публики, способной оценить ее достижения и так далее. Это также объясняет невозможность «ценностного обоснования» научных утверждений, которую Вебер просто фиксировал just as fact в современных ему науках, и которой Луман предложил системно-теоретическое обоснование.

Зафиксированный Вебером распад староевропейской семантики подразумевал важные трансформации в предметном измерении научной коммуникации. Прежде всего, приходилось отказываться от единства истинного и сущего, от «онтологических конструкций мира с их простым пунктуальным (eins-zu-eins) отношением бытия и мышления» [Luhmann, 1990: 629]. Как следствие, приходилось отказываться и от всякого рода «естественных онтологий». Комплексность внешнего мира больше не могла пониматься как синтетическое единство ценностей (природы, истины, добра, красоты,) и как единственно-данная во всяком наблюдении из любой позиции.

Отметим, что это изменение в предметном измерении научной коммуникации, сопровождалось изменениями в социальном измерении. Разнообразие равноправных онтологий (презентаций внешней сложности из разных наблюдательных позиций и с помощью разных наблюдательных инструментов), очевидно, коррелирует с идеей равноправия и независимости самых разных сообществ-наблюдателей. При этом, лишь научное сообщество наблюдателей, отказавшись от притязаний на авторитет и признавая за другими сообществами их право на собственные наблюдения и «онтологии», все-таки – внутри себя (то есть внутри исследования) могло настаивать на истинности собственных мировых

конструктов и собственной уникальной наблюдательной оптики – бинарном коде истина/ложь.

При этом вне себя наука наблюдала и постулировала полицентричный общественный внешний мир, комплексность и дифференцированность которого лишь дополнительно возрастала в связи с ростом комплексности и дифференциацией общественных наук¹.

Эти общественные следствия обособления науки от своего социального внешнего мира (прежде всего от политики и религии) сделали для нее возможным понимать (и этим также и генерировать) новый поликонтекстный мир [Günther, 1979]. Согласно этой модели обособляющихся системно-коммуникативных автономий (политики, религии, хозяйства, искусства и так далее), наука не перехватывает авторитет у религии и политики, и не использует свой авторитет для «продавливания» политических решений или навязывания религии научной онтологии. И все-таки кое-что полезное она для них делает, а именно, обеспечивает разгрузку [Luhmann, 1990: 629; Луман, 2017]. В частности, политика получает от науки данные (сегодня – big data), хотя и принимает свои политические решения самостоятельно, а в своих партийных программах отказывается от научно-теоретических обоснований.

Со времени Ф. Шлейермахера и его проекта реформы академической и университетской науки, реализованной В. фон Гумбольдтом, система образования избавилась от опеки религии и «поставила» на науку, которая – в форме исследовательского университета [Шлейермахер, 2018] – обеспечивает разгрузку для системы образования. Наука также избавляет образование от необходимости самой производить образовательный контент. Еще раньше, вспомним здесь Осиандра и

1 Возрастание сложности социального мира науки вытекает из дисциплинарной дифференциации социальных наук, каждая из которых (экономика, политология, культурология, искусствоведение, религиоведение и так далее) осуществляет функцию «прерывания континуальности реальности» [Stichwehe, 2013: 32].

«путь к истинному Богу», «путь к истинному счастью» [Weber, 2002: 494].

Беллармина, религия отказывается от научного обоснования религиозной космологии или онтологии.

При этом всякая система как автономная коммуникация, обладает лишь собственными наблюдательными инструментами и не может позаимствовать чужие. Образование использует собственный бинарный код компетентности / некомпетентности и сама по себе не имеет возможности задействовать актуальные на данный момент различия истинного/ложного знания. Отсюда гипертрофированное отношение в системе образования к аксиоматическим построениям типа евклидовой геометрии, «оставшиеся лишь для школы» и полная неинформированность учащихся о неполноте формально непротиворечивых аксиоматизаций. Авторитет знающего ушел из науки и перебрался в школу. Учитель – подобно авторитарному политику – предлагает «стабильные научное описание», хотя ученые ему вовсе не делегируют такую прерогативу. Учитель коммуницирует с учащимися, опираясь на авторитет ученых. Однако этот авторитет наука не только не подкрепляет с точки зрения современной физики в ее описаниях квантовой неопределенности, характеризующую состояния внешней природы, но и с точки зрения социальной теории. В форме социальной теории наука постулирует такую же неопределенность или поликонтекстуальность для прочих коммуникативных систем современного общества:

«Ученые могут предлагать истину или ложь, – но как это поможет, если уже изначально об этих предложениях судят как о правомерных или неправомерных, как о политически поддерживаемых или исключительно «приватных», как об экономически оцениваемых и экономически-бессмысленных; или если религия говорит ученым, что они таким путем никогда не обретут способность узреть Бога» [Luhmann, 1990: 631]

Впрочем, и собственная комплексность науки требует признания поликонтекстуальности даже и внутри нее. Этот парадокс был описан Вебером. С одной стороны, ученые убеждены в надежности научного знания.

И, действительно, что может быть надежнее, чем доказательное, обоснованное, экспериментально-подтвержденное теоретическое высказывание? Но с той же убедительностью приходится говорить о неизбежном отказе от этого знания даже в самом ближайшем будущем («Всякий из нас знает, что его работа устареет через 10, 40, 50 лет» [Weber, 2002: 486]). С этим противоречием наука вынуждена жить. Она либо создает себе «провизиональное пространство» рабочих гипотез, то есть очень убедительных, но все-таки временных интерпретаций [Leydesdorff, 2007]. Это заставляет относиться к природе когнитивно, а не нормативно, то есть быть готовым к разочарованиям в надежности того или иного знания, и рассматривать отказывающегося от наличного знания, не как фрика или деликвента, а как человека, идущего на «эпистемологический риск», то есть как важнейшее условие нахождения на научном фронтире. Либо возникает более радикальное понимание, что у природы вообще не существует в какой-то инвариантной и независимой от наблюдения формы; что имеют место лишь те или иные «презентации природы», предстающие сменяющих друг друга и сосуществующих парадигмах [Shapin, Shaffer, 1985], при том, что каждая все-таки внутри себя претендует на вечную истину.

Здесь системно-коммуникативная теория сталкивается с той же проблемой, которую поставил, но не решил Макс Вебер. Как науке соединить свои притязания на универсализм (представление научной рациональности как рациональности *par excellence*), достоверность и доказательность научных утверждений (как алиби науки перед всеми партикулярными сообществами, сплоченным ценностно-нормативно) с очевидной недолговечностью актуальных научных истин и когнитивной природой ожиданий, характеризующих научный дискурс? Очевидно, что науке важно сохранить и то, и другое: с одной стороны, вариативность и контингентность своих утверждений (когнитивные ожидания), а с другой

– и притязания на обоснованность и достоверность научных утверждений [Collins, 1987].

Системно-коммуникативная теории науки в 21 веке:

переход от «мирознания»

к коммуникативному успеху

На вопрос о возможности достоверного знания в условиях поликонтекстуального мира и отказа науки от притязания на общественный авторитет системно-коммуникативная теория дает собственный ответ. Сегодня критерием научного успеха в поликонтекстуальном и полицентричном мире являются функционирующие технологии, которые словно компенсируют невозможность достоверного знания о природе и обществе (как базис научного авторитета).

«Существует ли знание, не пораженное этим распадом авторитета и допускающее его общественное употребление? ... Мы не будем неправы, если на этот вопрос, имея ввиду технологии, мы ответим положительно. Технологии функционируют даже и в мире, остающимся неизвестным, неважно, получает ли он моноконтекстные или поликонтекстные описания» [Luhmann, 1990: 632].

Технологии словно выводят научную коммуникацию за пределы научной коммуникации, осуществляют функции инореференции и являются последним критерием коммуникативного успеха, заставляющих системы из внешнего мира науки все-таки акцептировать научные «запросы на контакт». Технологии словно компенсируют возрастающее значение социального измерения научного успеха, которое оно получило в ущерб измерению предметному. Всякое научное притязание (открытие, изобретение, публикация) раз и связано с его локализацией в двух измерениях: в социальном и предметном, то есть, с одной стороны, в области научных публикаций (как известно, допускающих разного рода имитации), с другой стороны, в области непосредственной экспериментальной или теоретического исследования.

Если же эксперт намерен задаться вопросом о том, создает ли исследовательская группа имитационный публикационный хайп (в социальном измерении) или производит реальный научный продукт (в предметном измерении научной коммуникации), то каков бы ни был ответ, он и сам должен принять форму научной публикации, то есть получить значение в социальном измерении науки. И если в этой статье будет написано, что рецензируемая публикация не является продуктом реального исследования, это будет всего лишь еще одной точкой зрения, еще одной публикацией ученого. И к ней должен быть применен тот же самый вопрос? А что презентует эта публикация – коммуникативный запрос на признание и успех или реальный научный продукт как результат полноценного исследования? Такое сверхзначение социального измерения действительно верифицируется функционирующими технологиями.

Технологии образуют фокус устойчивости для научного знания в процессе перехода от «мирознания» к «коммуникативному успеху» при всей их непрозрачности. Они – надежное знание, так как удостоверяют примененное в них знание самим их функционированием. Но они же делают мир менее ненадежным и приводят к сбоям.

Коррекция системно-коммуникативного подхода

Подводя итог, остановимся лишь на двух соображениях, которыми сегодня может быть дополнена системно-коммуникативная теория науки.

Во-первых, вводя различие между функцией (автономным научным исследованием) и достижениями (научным продуктом для других систем общества), системно-коммуникативная теория в ее классической форме не фиксировала коррелятивную дистинкцию между междисциплинарным и трансдисциплинарным типами знания – двумя принципиально-разными формами интеграции науки. Такая интеграция сегодня выступает противовесом ее очевидной дисциплинарной дифференциации и фрагментации.

При этом междисциплинарные проекты интегрируют дисциплины окказионально, то есть в ответ на потребности и запросы из социального внешнего мира (прежде всего из индустрии). Напротив, трансдисциплинарные тенденции (теории систем, структурализм, математизация, цифровизация и так далее), напротив, произрастают из внутренних потребностей науки в формализации, математизации, систематизации. Они являются следствием не окказионального, но систематического анализа некоторого структурно-инвариантного объекта научного исследования, например, языка, организма, числа [Stichweh, 2013: 33]. Между тем, именно эта трансдисциплинарная интеграция науки делает возможным «сборку» дисциплинарно разрозненных научных сообществ в единое целое, в равноправного партнера или «стейкхолдера», способного высказывать и политические аргументы в области научной и общественной политики, утвердить свою позицию самостоятельного игрока и в каком-то смысле вернуть социальный авторитет.

Во-вторых, созданная тридцать лет назад системно-коммуникативная теория науки еще не могла рефлексировать феномен социально-сетевой науки. И все же в качестве общественной предпосылки науки Луман выделил важнейшее условие – «функционирующую технологию» – как принцип достоверности использованного в ней научного знания. В этом смысле само общество, отправляя запрос на технологии, (парадоксальным образом) удостоверяет и контролирует достоверность знания. Однако сегодня общество делает это по-другому. Такой технологией стала научная сеть, которая отчасти «снимает» описанный выше парадокс одновременной достоверности и контингентности (временности) научных утверждений. Она делает возможным достоверность, максимизируя контингентность. Теперь научная статья в ее сетевом представлении, на площадках Publon, Researchgate, Google-Academy и др. становится доступной для review огромному количеству

ученых и экспертов, что полностью нивелирует оставшиеся интерактивные формы коммуникации (ученые и диссертационные советы и так далее) и анонимизирует науку и способность ученых в какой-то иной форме кроме текстуальной «продвинуть» свои идеи.

Эта выраженная самореферентность системы науки (ее самооценка в форме многократно умножившихся социально-сетевых рецензий и экспертиз) стала некоторым «разочарованием в ожиданиях» системы, которая традиционно стилизует себя как «инореференциально» оперирующую коммуникацию.

Наука становится образцом безличной коммуникации текстов, что в целом еще более радикализует «антигуманистический» пафос системно-коммуникативной теории. Прежде всего, два следствия этой теории представляются в этом контексте, скорее, неожиданным. Во-первых, обнаружили, что социальные сети, как новые средства распространения коммуникации, сгенерировали новые пространства «структурных сопряжений» науки и ее внутреннего внешнего мира. Речь идет о больших издательствах, влиятельных журналах и корпорациях «Web of Science» и Scopus как формах коммуникативной системы хозяйства, которые в социальных сетях «оказались» сопряженными с собственно научной коммуникацией. Каждое выдающееся достижение научной коммуникации (открытие или изобретение) теперь продается и покупается системой хозяйства и в этом аспекте транзакции становится также важным событием в истории экономической системы.

Это же обстоятельство, со своей стороны, вызвало к жизни и другую форму «структурного сопряжения», а именно – грантовую систему поддержки науки, которая в виде рекурсивной связи *высокорейтинговая публикация → цитирование → грант → высокорейтинговая публикация → цитирование → грант...* стали коммуникативным стандартом ведущих научных групп.

В этой ситуации политическая система, распределяющая бюджеты и фондирование, рассматривает успех

науки (как элемент-событие коммуникативной системы) и как свой собственный, электорально-значимый успех (и как следствие, элемент истории политической системы). В этих условиях давление на автономию науки и в целом политическое принуждение к достижениям (но не к исследованиям) стало некоторой неожиданностью для общества, в котором базовые процессы и коммуникативный успех связываются, скорее, с процессами дифференциации и обособлением коммуникативных систем, нежели с интеграцией и структурными сопряжениями между обособившимися системами коммуникаций.

Наконец, совсем новой формой структурных сопряжений стали «сетевые сообщества», связывающие науку и системы массмедиа, и отчасти, гражданское общество, протестную систему коммуникации, претендующие на то, чтобы «очистить» науку от возникающих – вследствие политического и экономического давления на науку – коррумпирующих эффектов. В России таковым сетевым сообществом, призванным контролировать автономию науки, и защищать его от экспансии со стороны политической системы, стало сообщество Диссернет. Это форма гражданского и протестного активизма в области науки заслуживает, однако, отдельного обсуждения.

Библиография (2.3):

- Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Наука Макса Вебера. Рецепция и перспектива // *Эпистемология и философия науки*. 2018b. Т. 55. № 4. С. 174-188.
- Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Радикальная наука. Способны ли ученые на общественный протест // *Эпистемология и философия науки*. 2018a. Т. 55. № 2. С. 18-33.
- Касавин И.Т. Нормы в познании и познание норм // *Эпистемология и философия науки*. 2017. Т. 54. № 4. С. 8-19.
- Луман Н. Эволюция науки // *Эпистемология и философия науки*, 2017.
- Пружинин Б.И. Наука как профессия и как феномен культуры // *Вопросы философии*. 2018. № 8. С. 5-9.
- Столярова О.Е. Можно ли говорить о грехопадении науки // *Эпистемология и философия науки*. 2019. Т.56. № 3. С. 45-50.
- Шедрина Т.Г. Призвание или профессия? К вопросу о культур-

- но-историческом смысле научного познания в докладе М. Вебера // *Вопросы философии* 2019. № 8 С. 33-37.
- Шлейермахер Ф. Нечаянные мысли о духе немецкого университета // *Эпистемология и философия науки*. 2018. Т.55. № 1. С. 215-235.
- Collins H.M. Certainty and the Public Understanding of Science // *Social Studies of Science*. 1987. №17. P. 689-713.
- Gornitzka A. Channel, filter or buffer? National policy responses to global rankings // T. Erkkila (Ed.) *Global university rankings: Challenges for European higher education*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013. P. 75-91.
- Günther G. Life as Poly-Contextuality // *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. №2. Hamburg, 1979. P. 283-306.
- Hombach D. Die Drift der Erkenntnis. Zur Theorie selbstmodifizierter Systeme bei Gödel, Hegel und Freud. München, 1989.
- Leydesdorff L. Scientific Communication and Cognitive Codification: Social Systems Theory and the Sociology of Scientific Knowledge // *European Journal of Social Theory*. 2007. №10(3).
- Luhmann N. *Wissenschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp, 1990.
- Muench R. *Academic capitalism: Universities in the global struggle for excellence*. New York: Routledge Press, 2014.
- Shapin S., Shaffer S. *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.
- Stichweh R. *Wissenschaft, Universitaet, Professionen* // *Soziologische Analysen*. Bielefeld. 2013.
- Weaver W. Science and Complexity // *American Scientist*. 1948. №346. P. 536-544.
- Weber M. *Schriften 1894 – 1922*. Stuttgart: Kröner, 2002.
- Young M., Sørensen M.P., Bloch C. et al. Systemic rejection: political pressures seen from the science system // *High Education*. 2017. №74. P. 491-505.

Глава 2.4. *Классические подходы философии науки* (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). *Системно-коммуникативный взгляд*

В главе дебатруется проблема научной коммуникации в условиях несоизмеримости научных парадигм. Томас Кун не раз привлекал внимание к автологическому или самообосновывающему характеру подтверждения научных парадигм [Кун 1977: 195-199, 207]. Достоверность того или иного научного притязания (теории, гипотезы) обосновывается внутри парадигм, что исключает апелляцию к неким общим критериям, принуждающих их сторонников к согласию или взаимопониманию: «Пространство, которое подразумевалось ранее, обязательно должно было быть плоским, гомогенным, изотропным и не зависящим от наличия материи. Чтобы осуществить переход к эйнштейновскому универсуму, весь концептуальный арсенал, характерными компонентами которого были пространство, время, материя, сила и т. д., должен был быть сменен и вновь создан ... Коммуникация, осуществляющаяся через фронт революционного процесса, неминуемо ограничена [Кун, 1977: 197-198].

Как следствие, сам предмет исследования не может выступить в функции объективного критерия или условия истинности научных высказываний. Это обстоятельство было обозначено понятием несоизмеримости и подразумевало отсутствие «общеразделяемого базиса» в содержании понятий, методов, проблем и критериев решений в научной коммуникации в период научных революций. Рациональный выбор лучшей теории, и как следствие, научный прогресс в целом, в условиях отсутствия независимых, внепарадигмальных критериев успешности новых теорий выглядит проблематичным.

*Методология: понятие коммуникативных измерений
и эволюционных механизмов*

Для разрешения этой уже классической проблемы

возможности научной коммуникации мы воспользуемся методологией системно-коммуникативного [Луман, 2005; Луман, 2018] и эволюционно-коммуникативного [Кэмпбелл, 2012; Campbell, 1974] подходов. Смену научных теорий и научный прогресс в этом контексте мы будем рассматривать как коммуникативный процесс, который реконструируется в трех универсальных смысловых горизонтах: (1) предметно-проблемном, (2) темпоральном и (3) социальном измерениях коммуникации¹:

- (1) Научная коммуникация, очевидно, предстает со-держательным и непротиворечивым описанием не-которого проблематизируемого феномена, которое получает соответствующие индексы истины или лжи, где сам предмет полагается производителем или критерием истинности суждений.
- (2) Но всякая – в том числе и научная – коммуникация остается социальной, то есть ориентированной на различение между консенсусом и конфликтом; учитывающей (позитивные и негативные) ожидания других ее участников [Луман, 2016: 81]. Науку как особый тип коммуникации как раз и отличает всеобщее ожидание того, что предлагаемое в коммуникации знание должно становиться (и тем самым подтверждаться или отклоняться) знанием Другого.
- (3) Наконец, всякая коммуникация осуществляется во времени, является актуально-мгновенным событием, встраивающимся в их исторические последователь-

1 Уже сам Кун указывает на относительное равноправие предметного и темпорального контекстов теории. Так, по Куну, можно пренебречь первым (например, объяснением непосредственных механизмов гравитации, как поступил Ньютон), ориентируясь на перспективность новой теории: «требуется выбор между альтернативными способами научного исследования, причем в таких обстоятельствах, когда решение должно опираться больше на перспективы в будущем, чем на прошлые достижения. Тот, кто принимает парадигму на ранней стадии, должен часто решаться на такой шаг, пренебрегая доказательством, которое обеспечивается решением проблемы» [Кун, 1977: 207].

ности или линии; имеет характер нового целеполагания, нацелена на будущие достижения, не имевших места в прошлом. Применительно к науке это, среди прочего, означает, что новое теоретическое знание (лучшие коммуникативные предложения) должно сопровождаться подтверждающимися предсказаниями или следствиями, причем зачастую независимо от того, получено ли удовлетворительное объяснение феномена (сущности кислорода Лавуазье, гравитации Ньютона и так далее) в предметном измерении коммуникации.

В этом смысле, понимание, и как следствие, акцептация и успех научного сообщения (лучшей гипотезы или теории) как запроса на контакт в среде научного сообщества должно получить определенность в такого рода трехмерной системе отсчета: в вопросе адекватности (адаптивности) предмету суждения, ожиданиям Другого, новым прорывным целеполаганиям. Для науки это означает, что научное знание должно получить по возможности три позитивных значения – истинности, общезначимости и новизны¹.

При этом предметное измерение коммуникации не является ведущим, но остается соравноправным двум другим. Разночтения в интерпретациях предмета исследования, семантики ключевых понятий, не являются препятствием для понимания, поскольку успех может обеспечиваться и позитивными значениями в остальных

измерениях (Ньютон не формулировал предметных описаний гравитации, а Галилей пренебрегал эмпирическими подтверждениями своих утверждений)

Кроме того, в качестве условий акцептации и успеха лучшего научного знания могут быть рассмотрены универсальные «эволюционные механизмы». В универсальных понятиях общей теории эволюции может реконструироваться развитие органической жизни, коммуникации, а также генезис и диффузия научного знания [Кэмпбелл, 2012: 141]. Речь идет о механизмах изменчивости или вариативности, отбора средовыми фильтрами, и наконец, механизмах сохранения и стабилизации эволюционных достижений, их устойчивого и воспроизводимого состояния («парадигмы» Т. Куна, «исследовательские программы» И. Лакатоса, «пролиферации» П. Фейерабенда). Таким образом:

- (1) Всякая коммуникация, не исключая и научную, образует избыточные и вариативные предложения смысла («слепые вариации» в смысле Кэмпбелла), которые требуют редукции, выбора чего-то одного из предложенного многообразия. Эволюционный механизм «проб и ошибок», первичного отбора «сумасшедших идей», личных идиосинкразий, рабочих гипотез, необоснованных и неустойчивых предположений, генерирующий пул вариативности не менее важен для эволюции научного знания².
- (2) Собственно средовой отбор есть вторая стадия или механизм редукции избыточных предложений смысла, на котором осуществляется приписывание им истинностных индексов, что вовсе не означает из

2 Поэтому уже на этом этапе, с этой общеэволюционной точки зрения, можно оспорить административные требования к научным институтам – «срезать комплексный механизм слепой изменчивости» [Кэмпбелл, 2012: 141], отказаться от случайной и неуправляемой кристаллизации вариантов, требования сосредоточивать усилия на исключительно так называемых «фронтирных» научных достижениях, прошедших отбор через соответствующие средовые фильтры (высококвалифицированную экспертизу в журналах первого уровня) как некое доказательство адаптивности научных притязаний к научной среде.

1 Например, и данный текст будет понят и одобрен рецензентами, если будут исчислены значения по соответствующим измерениям; если текст хотя бы отчасти содержательно тематизирует (приближается к решению, объясняет) заявленный в названии предмет или проблему (и тем самым, получает позитивное значение в предметном измерении научной коммуникации); если текст вызывает согласие, или наоборот, несогласие, провоцирует дискуссию, подтверждается или не подтверждается другими исследованиями в социальном измерении коммуникации. Если текст открывает новое направление поиска, фиксирует новые и неожиданные следствия из предложенного теоретического подхода, а значит – перспективна в темпоральном горизонте научной коммуникации.

оспаривания в других ведущих журналах и лабораториях.

- (3) На третьем этапе эволюционного отбора первоначально «журнально– представленное» знание акцептируется как фундаментально-значимое, как относящееся к «области избирательного сохранения», как стабильная и неизбывная часть самой среды, в свою очередь становящейся фильтром для позитивного и негативного отбора новых научных коммуникаций и, как следствие, мишенью для новых оспаривающих его научных публикаций.

Ниже, опираясь на лумановскую идею смысловых коммуникативных измерений и кэмпбелловскую идею эволюционных механизмов отбора, проинтерпретируем некоторые классические понятия философии науки, а также ряд подходов к научному прогрессу, представленных Томасом Куном, Имре Лакатосом и Полом Фейерабендом. Затем рассмотрим линии развития дискуссий о прогрессе: в отношении (1) коммуникативной дифференции науки (в ее социальном измерении), (2) проблемы «регресса экспериментатора» (в предметном измерении) и (3) дихотомии аккомодации / предикции (в темпоральном измерении научной коммуникации).

*Томас Кун и социальное измерение научной коммуникации:
несоизмеримость методологическая
и семантическая*

Томас Кун поставил проблему научного прогресса в условиях коммуникативной несоизмеримости понятий языка науки у представителей конкурирующих научных парадигм. В период нормальной науки социальное измерение блокирует предметное и доминирует. Научный консенсус как социальный фактор (словно независимо от возникающих аномалий и противоречий между теорией и эмпирическими данными в предметном измерении) образует ведущий фильтр отбора научных достижений, которые должны адаптироваться к так

называемым «экземплярам», стандартным образцам и техникам решений научных проблем. Так, в 18-ом веке, согласно Куну, догматически утверждается корпускулярная теория света, а в 19 веке – в его волновая теория. Свобода научного поиска в условиях такого догматического принуждения к консенсусу ограничивается решением головоломок в процессе определения и уточнения констант (постоянная Больцмана, гравитационная постоянная, силы гравитации в разных областях Земли и так далее) [Кун, 1977: 60-69].

В период нормальной науки всякое отклоняющееся научное предложение, нестандартное радикальное решение или проблемопостановка, в свою очередь оказываются отклоненными. В этот период предметное и социальное измерения коммуникации жестко соопределяют друг друга. Доминирующие истины, определяют консенсус, а консенсус принуждает принимать доминирующие истины. По мнению Куна, тестируется (на адаптивность к среде) не парадигма, не ключевые положения теории (как значения в предметном измерении), но квалификации и компетенции самих ученых (как негативные значения в социальном измерении коммуникации). Например, предсказанные в ОТО гравитационные волны долго не обнаруживались экспериментально. Но фиаско с обнаружением гравитационных волн свидетельствовало не об аномалии, с которой столкнулась теория, но о неспособности самих ученых получить предсказанные результаты. («Плохой плотник обвиняет свои инструменты» – пишет Кун [Кун, 1977: 114]). Так, никто не отказывался от ньютоновской теории и на основании другой аномалии, орбиты Урана, несогласующейся с законами Ньютона.

В эволюционном смысле нерешенная головоломка или аномалия, которая должна была бы негативно характеризовать значение теории в предметном измерении, и в этом смысле свидетельствовать о ее неадаптивности к средовым фильтрам отбора, тем не менее словно

«вытесняется» и компенсируется в социальном измерении коммуникации.

В период революционной науки предметное измерение словно прорывается, разблокируется от предметного и приобретает самостоятельное значение. Предметные значения (аномалии, новые данные), с одной стороны, разрушают общенаучный консенсус, но формируют новые коммуникативные границы вокруг внутрипаригмальных (= внутригрупповых) научных понятий, поскольку смыслы (и даже референты) соответствующих понятий в силу их семантической несоизмеримости у конкурирующих паригм оказываются разными.

При этом разблокирование предметного измерения (или аккумуляция критической массы аномалий, таких как нулевой результат эксперимента Майкельсона Морли, прецессия перигелия Меркурия и так далее и, как следствие, привлечение к ним внимания исследователей) становится возможным только в случае вступления науки в конкурентное коммуникативное поле. Так, у ньютоновской теории должен был появиться контрагент, который бы объяснял возникшие аномалии, благодаря чему социальное измерение (внутри-паригмальный консенсус) тотчас восстанавливается в своих правах.

Это переформатирование социального измерения в период научных революций связано с особым характером, автологическим или самообосновывающим характером паригм, получившим название несоизмеримости. Несоизмеримость классифицировалась как методологическая, семантическая и наблюдательная [Hoyningen-Huene, 1990; Sankey, 2009].

Методологическая несоизмеримость указывала на отсутствие независимых коммуникативно-значимых критериев лучшей теории. Так, успех понятия гравитации в ньютоновской теории апеллировал к исключительно-внутреннему критерию в темпоральном из-

мерении коммуникации, к более аккуратным и точным предсказаниям новых состояний механической системы, описываемых законами Ньютона. Тогда как понятие гравитации в картезианской паригме апеллировало к предметному измерению – к самому феномену или объекту теоретического описания, объясняя непосредственные каузальные механизмы этого процесса. Менее плотное вещество под действием центробежных сил, согласно Декарту, концентрировалось во внешних сферах и удерживало на внутренних орбитах более плотное и более инертное вещество планет.

Наблюдательная несоизмеримость указывала на теоретическую нагруженность наблюдений (Тихо Браге видел солнце, поднимающееся над неподвижным горизонтом, а Кеплер – горизонт, опускающийся относительно неподвижного солнца [Hanson, 2009: 434]; в пузырьковой камере «студент видит перепутанные и ломаные линии, физик – снимок известных внутриядерных процессов» [Кун, 1977: 152].

Семантическая (или таксономическая) несоизмеримость обозначает различие в смыслах теоретических понятий в конкурирующих паригмах и поднимает проблемы, позднее подробно тематизировавшихся в различных подходах философии языка (как проблема радикальной непереводимости У. Куайна и т.д.). При этом translation failure (близко к смыслу радикальной непереводимости У. Куайна) связывался с тем, что изменившие семантику понятия (пространства, массы, времени и так далее) меняют структуру языка, а не только свой конкретный единичный смысл. Например, классическое понятие энергии, передаваемой объекту, совершающему работу и нагревающемуся, способной конвертироваться и при этом не исчезающей, очевидно связано с целым множеством других физических понятий (работа, конвертация, теплота и так далее), которые образуют комплексный смысловой контекст употребления понятия энергии и во всей этой комплексности должны

соучитываться при переводе на язык новой парадигмы. Но это контекст в конкурирующих парадигмах существенно различается. Позднее аналогичный аргумент будет в обобщенной форме использован Д. Дэвидсоном в его утверждении об отсутствии сознания у животных [Davidson, 1984: 155-170]¹.

Но означает ли изменение смысла теоретических понятий (массы, энергии, пространства) при переходе от ньютоновской парадигмы к теориям относительности, также и изменение фокуса в отношении соответствующих им референтов? Другими словами, стоят ли за разными научными понятиями и разные аспекты внешней физической реальности? Перевод семантически-различающихся утверждений с языка одной парадигмы на язык другой возможен в том случае, если описывается некий в себе идентичный феномен, свойство реальности, или даже абстрактная модель одной и той же реальности². По видимости, соответствующие понятия массы в ньютоновской и релятивистской парадигмах действительно описывают различные свойства реальности³. И все же остается вопрос, а что делают те, кто утверждает несоизмеримость (несравнимость, неперевоимость), фиксируя различия между ньютоновской и реляти-

висткой массами?

Из рассуждений Куна следует важный вывод для понимания научной коммуникации. Научная дискуссия, научная критика как ядро научной рациональности не выполняет свою роль. Ведь всякая критика предполагает сравнение аргументов (описаний, пропозиций) на предмет их «лучшего соответствия» в себе идентичного феномена или объекта как производителя истины (truthmaker) или ее критерия.

И все-таки, если опираться на системно-коммуникативную теорию и задействованную нами методологию, коммуникация (не исключая и научную), не требует исключительно предметного понимания. Понимание как условие акцептации коммуникативного предложения и продолжения коммуникации есть следствие фиксации и атрибуции тех или иных значений в более комплексном пространстве – не только в предметном, но и во временном и социальном измерениях. Понимание как фиксация значений в означенном трехмерном пространстве и на этой основе решение о том, акцептировать ли предложенное сообщение (в том числе научную теорию), продолжить или не продолжить общение, шире исключительно пропозиционального истолкования, то есть фиксации истинности на основе предметного анализа сообщения.

Научное понимание в его отношении к обсуждаемому понятию и предмету можно рассмотреть с точки зрения различных теорий референции. Так, понятия массы и пространства соответственно в ньютоновской и релятивистской парадигмах имеют разные смыслы. Так, с точки зрения дескриптивной теории референции понятие массы описывается через кластер описаний, которые будут истинны применительно к этому понятию. Ньютоновская масса есть (1) мера инертности тела, (2) скалярная величина; (3) массам соответствуют величины, обратно пропорциональные ускорениям взаимодействующих тел; и так далее

1 Ведь у собаки, в отличие от человека, восприятие белки на дереве не сохраняет свою идентичность в меняющихся, но пропозициональных контекстах («кошка на дереве», «кошка на самом высоком дереве», «та же самая белка на дереве, что и вчера» и так далее).

2 В том смысле, в каком, например, волновая и матричная интерпретация квантовой механики все-таки, как показал фон Нейман, описывают один и тот же в себе идентичный физический феномен [Suppe, 1974: 222].

3 Так, сам Кун, видимо, утверждает неидентичность описываемых объектов, поскольку у него речь, скорее, идет о разных свойствах реальности – на «низких и высоких скоростях»: «физическое содержание эйнштейновских понятий никоим образом не тождественно со значением ньютоновских понятий, хотя и называются они одинаково. (Ньютоновская масса сохраняется, эйнштейновская может превращаться в энергию. Только при низких относительных скоростях обе величины могут быть измерены одним и тем же способом, но даже тогда они не могут быть представлены одинаково)» [Кун, 1977: 140].

Масса в СТО – это (1) инвариантная величина, одинаковая для всех наблюдателей во всех системах отчета (инвариантная масса или масса покоя); (2) масса – величина, которая зависит от скорости движения наблюдателя (релятивистская масса).

Вопрос перевода понятия массы с одного языка на другой предполагает сопоставление и сравнение означенных кластеров дескрипций, которые в данном случае очевидно радикально различны.

Однако вопрос о референтах понятий гораздо более сложен и в разных теориях референций рассматривается различным образом. С точки зрения, дескриптивной теории референции, различным смыслом соответствуют различные референты или аспекты внешнего мира. Однако точки зрения, каузальной теории референции (Сол Крипке), масса – есть имя, полученное в процессе некой «церемонии наименования», запускающего каузальную цепь его использований [Kripke, 1980]. В данном случае не так важно, какие кластеры дескрипций относятся к некоторому имени. Их истинность, непротиворечивость и объем знаний индивидов, коммуницирующих по поводу референта имени, не являются оправданием применения соответствующего имени. Данное имя связывает общающихся индивидов, обобщает не объекты реальности как переменная, а коллективы, использующие это имя, независимо от конкретных описаний данного поименованного объекта. Имя объекта выступает в этом случае значением в социальном измерении коммуникации.

К примеру, донаучное понятие «миазмов» как источника распространения и передачи заболеваний легко переводится на современный язык микробиологии [Kitcher, 1993], связывающей инфекции с микробами и вирусами, хотя все кластеры дескрипций, связанные с понятием миазмов и микробов, радикально различаются. Но всегда остается возможность соотнести понятие «миазмов» с идентичным в себе референтом

(микроорганизмами), осуществить соответствующий «перевод» несоизмеримых по смыслу (по совокупностям дескрипций) понятий, и дальше продолжать научную дискуссию, как будто речь идет лишь о некоем уточнении смысла во временном измерении. То, что раньше считали дурным воздухом, распространяющим болезнь, теперь уточняется и представляется в виде микроорганизмов, переносящих заболевания. Строго понятийное различие между этими понятиями не мешает понимать их общность.

В этом смысле значения в темпоральном и социальном измерениях, атрибутируемые научным суждениям, делают возможным более свободное отнесение понятия к референту, в пределе – произвольное соотнесение означающего и означаемого в смысле Ф. де Соссюра. Так, можно сказать, что понятия атомов в суждениях античных философов подразумевали те же референты, что и современной физика микрочастиц, с поправкой на соответствующие горизонты – время, язык и картину мира древних мыслителей.

Это различие горизонтов или измерений позволяет приблизиться к решению парадокса Макса Вебера. Последний, с одной стороны, утверждал объективность и истинность ведущими маркерами научной рациональности и принадлежности к научному сообществу (в отличие от ценностно-рациональной интеграции политических групп и сообществ). Однако, с другой стороны, Вебер постулировал относительно краткосрочный характер всех истинных утверждений (10-40 лет). Постулирование измерений коммуникации как равноправных условий и контекстов понимания и акцептации научных суждений позволяет уточнить и разрешить этот парадокс. Строго говоря, объективность и истинность как значения в предметном измерении коммуникации не противоречат преходящему и временному характеру научных утверждений как значению в темпоральном измерении научного дискурса.

Уже особый социальный статус и авторитет ученых (с монополиями на функцию – научного исследования), их общественно-признанная социальная функция во-многом определяет (истинностные) значения их суждений в предметном измерении. Так, дискуссия о притязаниях астрологии, очевидно, не разрешается исключительно в предметном измерении научной коммуникации. Никто не пытается фальсифицировать суждения астрологов, а если бы и попытался, то лишь убедился бы в их фальсифицируемости, а значит в «научности», по крайней мере, в попперовском смысле этого понятия. По мнению Фейерабенда, ученые, осуществляющие критику астрологии, чаще всего не вникают в предметную суть астрологических учений. Теоретические отклонения предметных притязаний астрологов оцениваются почти исключительно во временном и социальном измерениях, как устаревшие взгляды неинклюдированных в научное сообщество и научные организации дилетантов.

Наш дименсиональный подход смещает проблему семантической несоизмеримости в область проблемы перевода. Можем ли мы перевести понятие с языка одной парадигмы на другую? Например, произошедшее в 2006 году исключение Плутона из списка планет явилось ярким примером перевода понятия с одного языка на другой (в социальном и временном измерении). До 2006 года его описание соответствовало смыслу понятия планеты, но с официальным изменением языка парадигмы (введением официального и более строго понятия планеты) оно получило классификацию карликовой планеты (которая, по существу, планетой не является).

Этот случай в свою очередь показывает, что материальный референт не является последним аргументом в переводе понятий с языка на язык и их различению. И в то же время, именно он (в данном случае, сам Плутон) делает возможным различение двух понятий: планеты и карликовой планеты.

Перевод был осуществлен этой комиссией как сопоставление одного кластера описаний (контекстов,

отнесений) к другой сумме описаний. В частности, комиссия приняла во внимание критическую массу новых предметных описаний (Плутон – меньше Луны; Плутон – планета с эксцентричной орбитой; Плутон – планета с отличающейся плоскостью орбиты). Но имелись и веские предметные основания сохранить за Плутоном его планетный статус (в рамках «нормально-планетной парадигмы»). Его предметные описания показывали многочисленные сходства с настоящими планетами и отличали Плутон от карликовых планет и астероидов (слоевое геологическое строение, ядро, кора, мантия и сферическая форма как следствие гидростатического равновесия).

Социальное измерение «вторгается» в предметное в случаях, поскольку сами референты не позволяли разрешить вопрос о предметном единстве различиях небесных тел на некоторой объединяющей «объективной» основе. В результате было принято произвольное (в предметном измерении), но социально и темпорально обусловленное решение об изменении классификации планет и исключении Плутона из их списка. При этом Плутон был «переведен» из «нормально-планетной» в «мало-планетную» парадигму, оставаясь при этом в себе идентичным референтом обоих парадигмальных смыслов. Причем большинство членов комиссии, принимавших решение об исключении из списка, не разделяли это решение, но не смогли принять участие в заседании [Shiga, 2006].

Эволюционный поворот в методологии исследовательских программ во временном измерении научной коммуникации

Имре Лакатос ставит проблему научного прогресса, эксплицитно разрывая взаимозависимость предметного и социального измерения в исторической (темпоральной) перспективе. Нет никакой уверенности в неизбылемости текущих научных утверждений, лишь время все расставит по своим местам.

Так, с одной стороны, «хорошая теория» осуществ-

вляет прогрессивный, а не дегенерирующий проблемный сдвиг – тем, что путем модернизации защитного пояса (1) объясняет явления, которые успешно объяснялись в прошлой теории и при этом (2) формулирует больше новых предсказаний, получающих новые подтверждения. Например, предположение Лавуазье о существовании восьмой планеты (которое объясняло отклонения в орбите Урана, образовывала защитный пояс и «спасала» законы Ньютона), было подтверждено в 1846 году.

Но, с другой стороны, это понимание научного прогресса рассогласовывалось с представлением о научной рациональности, поскольку окончательный вывод о прогрессивном/регрессивном сдвиге может сделать только наблюдатель из иной темпоральной перспективы. Сам рационально мыслящий ученый, актуально формулирующий свою теорию, оказывался на это неспособным. Является ли новая теория «прогрессивным» или «дегенеративным» сдвигом, становится ясным спустя годы и даже десятилетия.

Так, говоря о программе Праута, И. Лакатос пишет: «Всегда следует помнить о том, что, даже если ваш оппонент сильно отстал, он ещё может догнать вас. Никакие преимущества одной из сторон нельзя рассматривать как абсолютно решающие. Не существует никакой гарантии триумфа той или иной программы. Не существует также и никакой гарантии её крушения» [Лакатос, 2003: 284].

Программа Праута (основанная на том, что атомные веса химических элементов являются целочисленными) столкнулась с таким количеством аномалий, что даже сам ее автор отказался от нее. Эта, демонстрирующая дегенерирующий проблемный сдвиг программа тем не менее нашла достаточно сторонников, и была подтверждена спустя сто лет.

Эволюционный смысл методологии научно-исследовательских программ, среди прочего, состоял в том, что теории отныне понимаются как образующие

некоторую линию, серию или последовательность, и только в этом виде к ним можно применять критерии успешности (атрибутирование соответствующих трендов прогрессивности или дегенеративности).

Позднее эта идея получила разработанную эволюционную интерпретацию в понятии «концептуальных линий» Дэвида Халла, как своего рода «популяций» или «видов» в дарвиновском смысле. Концептуальные линии интерпретировались как «вещи, развивающиеся в результате селекции, будь это популяция [в органической жизни] или концепт [в науке]. Они должны трактоваться как исторические сущности» [Hull, 1988: 16].

Если развивать эту биологически-фундированную эволюционно метафору применительно к эволюции «концептуальных линий» или «исследовательских программ», приходится вносить ряд уточнений.

В органической природе средовые фильтры для отбора живых организмов не подразумевают «специального» и сколько-нибудь продолжительного приспособления или все более полной и совершенной оптимизации. Нет никаких актуально-неопределенных трендов, прогрессивность или дегенеративность которых определится лишь в какой-то отдаленной перспективе. В живой природе биологический вид не получает никаких «абсолютных значений», гарантий воспроизводства или пролиферации.

Между тем, фильтры отбора лучшего знания должны допускать большие временные люфты. Проходят десятилетия ожиданий, прежде чем станет известно, какой – окончательный – прогрессивный или дегенеративный сдвиг осуществила та или иная исследовательская программа, понятая как эволюционирующая «историческая сущность».

Если последовательно разворачивать эволюционную метафору, приходится либо признать, что и дегенерирующие программы, в свою очередь, демонстрируют эволюционный успех и должны пониматься как необходимая составляющая научного прогресса, по край-

ней мере в моменте. Либо отказаться от дистинкции прогрессивного/дегенеративного проблемного сдвига. Например, последовательно развиваемая идея флогистона не может быть просто списана как ошибочный, конечно-дегенеративный тренд в истории науки. Ведь это понятие, даже будучи ошибочным, правильно объясняло связь горения, окисления и дыхания, «и в качестве истины, должно войти в каждую успешную физическую теорию» [Хьюэлл, 2016: 31].

В целом, темпоральное (эволюционное) измерение научной коммуникации представляло вызов понятию рациональности. Пример программы Праута убеждает в равно-рациональном выборе любой – и прогрессирующей, и дегенерирующей – программы. Если она, в конечном счете, окажется тупиковой или ложной, то и в этом случае ее доведение до логического завершения позволит раз и навсегда закрыть данное исследовательское направление, прекратить ее финансирование, и как следствие – редистрибуцию экономических ресурсов из других не менее важных сфер жизни общества.

И даже если внутринаучная рациональность здесь оказывается под вопросом, поддержка актуально-дегенерирующих программ представляется рациональной в общесоциальном и внешне-научном смысле. Поддержка разнообразных и конкурирующих программ, независимо от их актуальных трендов (в предметном измерении коммуникации), обогащает науку в целом, обостряя внутринаучную конкуренцию и делая ее более жизнеспособной и эффективной, а значит – перспективной в темпоральном измерении коммуникации. Это обстоятельство выказывает следствие и для социального измерения коммуникации.

Эпистемологический риск поддержки по видимости дегенерирующей программы, обещая повышенные дивиденды в случае эпистемологической удачи, мотивирует работу исследователей в области сомнительных и актуально неподтвержденных подходов. Высоко веро-

ятное в этом случае фиаско научного проекта (как негативное значение в предметном измерении научной коммуникации) не должно дефинитивно и непосредственно определять (и существенно не определяет) негативно социально-репутационные показатели ученого, идущего на означенный эпистемологический риск. Ведь именно готовность к разочарованиям в утвердившихся истинах и отказ от нормативных представлений о предмете составляет существо когнитивных ожиданий как базовых социально-структурных условий научной коммуникации – как системы, специализирующейся на высокорискованном научном предприятии.

Когнитивная ориентация (готовность к разочарованиям в утвердившихся нормах и стандартах науки) делает возможным рациональный выбор в том числе и в пользу теории, сопряженной с аномалиями и актуально не подтверждаемых фактами, но перспективных в темпоральном измерении. В эволюционном смысле это помогает увеличить пул эволюционной вариативности, гибкость науки и общую терпимость к отклоняющемуся поведению (как возможно перспективному в будущем). Аналогичным образом и в органической эволюции сохраняются фенотипические структурные свойства в виде аллелей, актуально не востребованных генов, но «хранящихся в популяции» и ожидающих будущей актуализации.

Эволюционизм Пола Фейерабенда

Пол Фейерабенд сосредоточивается на рассмотрении научного прогресса в социальном измерении научной коммуникации и во многом предвосхищает позднейшие идеи эволюционной философии науки. Максима anything goes словно снимает известную трилему – проблемной, семантической или эпистемической интерпретации научного прогресса [Bird, 2007], согласно которой существо прогресса составляют либо последовательные решения проблем (в стиле Куна),

либо приближение к истине (в стиле Поппера), либо аккумуляция новообретенного знания. Пролиферация идей в формате *anything goes* оказывается шире любой из этих интерпретаций.

В эволюционно-теоретическом контексте акцент на пролиферацию идей показывает важность эволюционного механизма варьирования и важность расширения домена вариаций безотносительно актуальной истинности, обоснованности и достоверности предлагаемых идей. Напротив, избыточные актуальные методологические и теоретические требования к научным сообщениям сужают домены вариаций. Требование истинностного отбора уже на этой начальной стадии исследования и преждевременное отклонение «сумасшедших гипотез», ослабляет научную конкуренцию и создают тепличные условия для утвердившихся теорий, авторитетных научных школ или научных групп.

В поддержку своей идеи Фейерабенд ссылается на случай Галилея. Его теории пролиферировали (в нашей терминологии, оказалась адаптивной к средовым фильтрам) несмотря на его полное игнорирование требований научного метода¹ и вопреки всем аномалиям («восприятиям»), которые она не могла объяснить: «Галилей заменяет также восприятия, которые, по-видимому, угрожали учению Коперника. Он согласен, что такие восприятия существуют, хвалит Коперника за пренебрежение ими и стремится устранить их, прибегая к помощи телескопа. Однако он не дает теоретического обоснования своей уверенности в том, что именно телескоп дает истинную картину неба» [Фейерабенд, 1986].

С точки зрения эволюционной метафоры, это

показывает, что на стадии эволюционного варьирования (где методологически выверенный и экспериментально-подтвержденный отбор лучших теорий еще не действует), Галилей (как ранее Кеплер и Коперник) руководствовался другими, «наводящими» критериями (красоты, элегантности, стройности, простоты и так далее [McAlister, 1999])².

Здесь мы в очередной раз сталкиваемся со стандартной ситуацией парадокса Геттьера («знания неизвестной истины»). Полученное на этапе варьирования знание, очевидно, не отвечает его стандартному пониманию как «обоснованного истинного убеждения» [Антоновский, 2010: 101-118]. Эволюционная метафора позволяет разрешить этот парадокс путем разведения эволюционного механизма варьирования (где все подходы и гипотезы принимаются как временно-валидные) и обособленного от него механизма эволюционного среднего отбора, подтверждения на основе методологических и инструментально-экспериментальных проверок.

Этот же парадокс в социальном измерении научной коммуникации разрешается с помощью дистинкции – между (1) индивидуальным утверждением (инсайтом, гениальной догадкой, даже ошибкой) на стадии варьирования и (2) коллективным, интесубъективным удостоверением (подтверждением в мировых лабораториях) на стадии эволюционного отбора.

В этом контексте нет ничего удивительного в том, что на этапе эволюционного варьирования телескоп не мог выступить решающим средством инструментально-экспериментального подтверждения. Это сравнительно новое инструментальное средство подтверждения не преодолевало средовые фильтры отбора «лучшего знания», в основании которых лежало ари-

1 Так, о принципе круговой инерции Фейерабенд пишет: «Шаг за шагом Симпличио вынуждают согласиться с тем, что тело, движущееся без трения по сфере, центр которой совпадает с центром Земли, будет совершать «беспредельное», «вечное» движение. То, с чем соглашается Симпличио, не опирается ни на эксперимент, ни на подтвержденную теорию. Оно представляет собой новое смелое внушение, содержащее громадный скачок воображения» [Фейерабенд, 1986].

2 Эстетические качества нового теоретического решения в этом смысле ориентируют в поисках на стадии научного открытия как инструменты для ориентации в вариативности и генерации новых гипотез, на стадии, пока классические рациональные средства (эмпирической верификации, эксперимента и так далее) ограничены или еще не действуют.

стотелевское различие между земными и небесными, состоящими из эфира, объектами. Надежные данные наблюдения земных объектов в этом контексте не являлись основаниями, чтобы доверять телескопу в деле наблюдения небесных сфер, где, по мнению большинства авторитетных мыслителей того времени, действовали иные законы.

Таким образом, измерения научной коммуникации и их коммуникативно-эволюционный смысл – новые контексты и дискуссии.

Т. Кун, И. Лакатос и П. Фейерабенд явно и неявно сформулировали эволюционно-коммуникативные условия научного прогресса, которые в той или иной форме сегодня получают дальнейшее развитие в контексте исследований системно-коммуникативной теории науки и ряда программ STS. Ниже кратко представим некоторые дискуссионные направления в философии науки в контексте заявленных измерений научной коммуникации.

Социальные измерения науки в системно-коммуникативном подходе

В книге «Наука в свободном обществе» Фейерабенд эксплицитно устанавливает эволюционно-коммуникативные контексты науки, требующие учета наблюдательной позиции других дискурсов или традиций [Фейерабенд, 2010]. «Демократическая установка» требует отказа от дискриминации и «процветания» самых разнообразных дискурсов и традиций, что демополизирует положение науки в «публичной сфере» (если использовать термин Ю. Хабермаса). Несмотря на то, что наука в своей исторической борьбе с «устаревшими» дискурсами и традициями, приобрела монопольный доступ к некому «супероружию», даже в войне налагаются запреты на такого рода вооружения.

В этом смысле Фейерабенд, конечно, говорит не столько о внутринаучном, сколько об общесоциальном прогрессе. В контексте системно-коммуникативной теории, речь идет, об обособлении равноправных и авто-

номных систем коммуникаций (религии, искусства, наука, массмедиа и так далее) [Луман, 2007].

Религия, исторически доминировавшая в прошлые эпохи, сегодня уступила место науке, монополизировавшей общеобщественную наблюдательную перспективу, представляя дело так, как будто все общество смотрит на мир и на само себя глазами науки. Но эта монополия, по мнению Фейерабенда, делает хуже самой науке, которая, с одной стороны, оказывается в тепличных условиях и зоне комфорта, и у которой, с другой стороны, как у всякого наблюдателя, обнаруживаются собственные «слепые пятна».

Другие коммуникативные системы, так или иначе, решили проблему ограниченности собственной наблюдательной перспективы. Например, коммуникативные суждения правовой системы, наблюдающей мир посредством различения законное/незаконное, корректируются внешними инстанциями, судом присяжных, массмедийными осуждениями, движениями протеста (например, против запрета абортов, правовой дискриминации и так далее). Благодаря этим инстанциям словно вскрываются «слепые пятна» правового дискурса, не способного фиксировать обстоятельства «по ту сторону» правовых различений (например, обстоятельства, извиняющие «незаконные» действия субъектов права), что делает возможным финальную коррекцию и самого правового дискурса.

Но и научная система коммуникации, специализированная на функции научного исследования, использует собственные наблюдательные инструменты кодирования научной коммуникации, позволяющие концентрироваться на научном контенте и демаркировать и отклонять все остальное (дистинкции истинного/ложного, методов/теорий) [Луман, 2015]. С точки зрения этих различений, многие внешние контексты научного исследования (о величине финансирования исследования, экологических опасностях, об этических и религиозных запретах) «невидимизированы» в науке,

поскольку являются наблюдательными дистинкциями и ориентирами внешних для науки систем коммуникаций. Так, очевидно, что ученые не критически воспримут любые расходы на финансирование Big Science, ведь политически-мотивированная редистрибуция ресурсов из системы хозяйства в систему науки и соответственная дистинкция «платить/не-платить» не является кодом научной коммуникации и не беспокоит ее.

С точки зрения системно-коммуникативной теории науки, близкой к подходу Фейерабенда, любое ужесточение конкуренции через допущение в научный сектор «публичной сферы» внешних дискурсов и традиций, в свою очередь пошло бы на пользу самой науке. Среди прочего, это заставило бы более критически и основательно дифференцировать (в том числе экономически и монетарно) собственные научные проекты. В противном случае общество и дальше будет платить за все, что науке представляется достойным исследования, что, как мы знаем на примере Александра фон Гумбольдта, зачастую ограничено исключительно личной или коллективной идиосинкразией исследователей или научных групп.

В истории науки имеется достаточно примеров «слепых пятен», связанных с такого рода ограниченностью системно-специфического наблюдения (лоботомия, научное рассмотрение гомосексуализма как психического отклонения – лишь некоторые из них). И допущение в «экспертные ареопаги» так называемых lay-persons (в качестве некоего аналога суда присяжных в правой системе), за которые сегодня ратуют многие представители STS, могло бы в той или иной степени нейтрализовать этот научный «произвол».

Конечно, такой допуск внешне-научных дискурсов в поле науки неизбежно потребует научного ответа течением «динайализма», общественного непризнания актуальных научных суждений и достижений, прежде всего в отношении негативных климатических прогнозов, опасности СПИДа, необходимости вакцинации).

Но и этот «плохой аспект» допуска внешних перспектив в научное поле может рассматриваться как позитивный триггер, поскольку выводит ученых из состояния общепризнанных правых в любых общественно-значимых дискуссиях и является классическим требованием «коммуникативной рациональности» в смысле Хабермаса, которым ученые зачастую пренебрегают, вступая в коммуникацию с «некомпетентными» с их точки зрения сообществами.

Предметное измерение научной коммуникации и «регресс экспериментатора»

Критика Фейерабендом экспериментальных подтверждений гелиоцентризма у Галилея неявно фиксировало сложное автологическое отношение между теорией и так называемыми «детекторами» (в данном случае телескопом). Наблюдение посредством телескопа служило обоснованием гелиоцентризма благодаря получению новых данных (кратеры Луны, фазы Венеры, луны Юпитера). Но эти новые данные, в свою очередь, должны были подтвердить инструментальное значение телескопа, способного фиксировать ненаблюдаемое «невооруженным глазом». Непринятие экспериментальных подтверждающих данных, полученных Галилеем, как раз и было связано с сомнениями в способностях телескопа адекватно фиксировать небесные тела (лунный рельеф, видимый в телескоп, не соответствовал видимому «невооруженным глазом» и так далее). Обратное подтверждение технических возможностей инструмента посредством полученных данных в данном случае не сработало.

Это автологическое отношение подтверждения между инструментом и данными наблюдения было обозначено Гарри Коллинзом как проблема «регресса экспериментатора» [Collins, 1985]¹. Такое взаимообо-

1 Применительно к детектору гравитационных волн Коллинз пишет: "What the correct outcome is depends upon whether there are gravity waves hitting the Earth in detectable fluxes."

сновывающее отношение имеет очевидный эволюционный смысл, поскольку в данном случае обе его стороны представляют собой средовые фильтры взаимного отбора. Детекторы (телескопы, микроскопы, уловители гравитационных волн и так далее) выступают факторами отбора «лучше подтверждаемых» гипотез. Но ведь и детекторы должны пройти отбор на предмет того, какие из них поставляют более надежные данные, подтверждающие те или иные гипотезы. Это в целом соответствует тому комплексному отношению, в которых эволюционирующие сущности находятся со средой.

В общезволюционном смысле этот вопрос можно поставить более широко. Возникает вопрос, наблюдатель ли приспосабливается к наблюдаемому, развивая собственные средства познания, которые «санкционируются» средой, отбираются ею как адекватно-фиксирующие ее или, напротив, отклоняющие соответствующими фильтрами? Или, напротив, наблюдаемая внешняя среда, предлагает своему наблюдателю такие «выпуклые» или «полезные» свойства, чтобы быть замеченной, «освоенной» и отобранной соответствующим наблюдателем? В этом случае среда приспосабливается к наблюдателю, предлагает ему те свойства, которые он отбирает как полезные для себя¹.

Выход из парадокса обеспечивается либо так называемой «калибровкой» инструментов, то есть выходом в темпоральное измерение научной коммуникации [Collins, 1985: 100]. Либо через обращение к социальному измерению коммуникации – анализу конкурирующих объяснений у конкурирующих научных групп. Так, мож-

To find this out we must build a good gravity wave detector and have a look. 'But we won't know if we have built a good detector until we have tried it and obtained the correct outcome! But we don't know what the correct outcome is until ... and so on ad infinitum» [Collins, 1985: 84].

1 Так, с одной стороны, селекционер выступает средовым фильтром, отбирающим подходящие ему свойства сельскохозяйств. С другой стороны, сельскохозяйств являются средой, которые «отбирают» определенные манипуляции селекционера, лишь некоторые из которых осмысленны в контексте поиска лучших свойств.

но посмотреть, какие типы сред могут отвечать за наблюдения у оппонентов-ученых. В данном случае, результаты детектора гравитационных волн Вебера действительно получили соответствующие объяснения у конкурирующих научных групп (объяснялись либо как шум самого детектора, как электрические возмущения, как эффекты землетрясения или космические излучения).

Темпоральное измерение научной коммуникации как дихотомия аккомодации / предикции

Томас Кун, анализируя конкурирующие парадигмы Ньютона и Декарта, показал, что успех каждой из них не сводится исключительно к предметному описанию механизмов проблематизируемого объекта или явления. Способность предсказывать будущие состояния механических систем в случае с гравитацией оказалось лучшим аргументом в пользу ньютоновской парадигмы, нежели предметное объяснение гравитации посредством вихревой теории. В эволюционном смысле это означает, что лучшая теория может быть отобрана средовыми фильтрами, если (темпоральное) качество новизны экспериментального подтверждения ее положений оказывается выше. Дискуссии о прогрессе науки в темпоральном измерении, среди прочего, формулировались в формате понятийной дихотомии аккомодации и предикции [Barnes, 2005; Achinstein, 1994].

Аккомодация характеризуют теории, формулируемые для объяснения актуально-доступных научных данных. Предикция обозначает новое и неожиданное подтверждение теории, которая не формулировалась изначально в расчете на эти подтверждения, которые в этом случае представляется – психологически, но не логически – более валидными («no miracle»-аргумент Хиллари Патнема [Putnam, 1984]). Продолжительные успешные предсказания были бы чудом, если бы за ними не стояло реалистическое и, как следствие, истинное теоретическое описание объекта. В этом смысле успех коммуникации в объектном измерении выводится

из успеха во временнóм. Ведь теория в этом случае подтверждается как в темпоральном, так и в социальном горизонте: новое и неожиданное свидетельство разрушает утвердившиеся нормативные ожидания (которые всегда проецируются на прошлое – «всегда так было, а значит, должно быть»), подтверждают объективный, а не манипулятивный характер утверждений.

Напротив, теории, подтвержденные «аккакомодационно», получают характер так называемого «специально-го дизайна», поскольку учитывают уже известное и в этом смысле (уже на стадии варьирования) заранее адаптируются к требованиям средового отбора лучшей теории. Это противоречит методологическому требованию последовательного прохождения эволюционных механизмов (варьирования, селекции, стабилизации). Напротив, в случае предикции автор получает алиби от обвинений в «специальном дизайне», поскольку дефинитивно защищен от обвинений в подверсытывании его теории под известные данные. Теория получает в этом случае более высокую (психологическую) убедительность.

Если аккомодации делают решения проблемами (формат спецдизайна), то предикции, напротив, превращают проблемы в решения. Предсказанные (и психологически неожиданные следствия, такие как «пятно Арагона» в волновой теории света Френеля, отклонение луча звезды при прохождении рядом с Солнцем, предсказание орбиты планеты Галлея) предстают проблемами и аномалиями, требующими объяснения и нейтрализации, но тотчас же получают решение в предложенных теориях. Все такого рода «предикции» перевешивают аккомодацию в функции решающих экспериментов [Zahar, 1978].

С точки зрения эволюционной метафоры, эволюционирующие сущности не должны заранее, на стадии варьирования специальным образом адаптироваться к внешнесредовым фильтрам отбора (в данном случае, новооткрытым аспектам феномена (в предметном измерении) и нормативным ожиданиям (доминирующим

взглядам ученых) в социальном измерении. Таким образом, концепция коммуникативных измерений объясняет, почему акцептируется и получают большую убедительность коммуникативные предложения знания в тех случаях, когда они получают позитивные значения в предметном, социальном и временнóм измерении. Как и то, почему менее убедительными предстают те предложения знания, которые позитивно характеризуются лишь в одном или двух горизонтах коммуникации.

Мы не будем углубляться в дискуссию о соотношении аккомодации и предикций в темпоральном измерении научной коммуникации. Ее эволюционный смысл состоит в том, что решение в пользу одного или другого позволит приблизиться к ответу на вопрос о ключевых средовых фильтрах эволюционного отбора, к которым «адаптируются» научные высказывания и теории. В контексте этой дискуссии, требует ответа вопрос о том, является ли истинность теории «избыточной», если теория формулируется в формате спецдизайна для объяснения уже известных свидетельств (62 элемента таблицы Менделеева)? [Barnes, 2005] Речь и здесь идет о варианте парадокса Геттьера. В случае аккомодации успех теории объясняется и ее истиной (в предметном измерении), и специальным дизайном (в измерении социальном). Но если теория подверстана специально под известные данные, то даже будучи истинной, она не является знанием в его стандартном определении знания как «обоснованного истинного полагания», так как обоснование как необходимый элемент означенного определения здесь осуществлено некорректно.

Наш предварительный ответ состоит в том, что у успеха адаптирующейся к эволюционным фильтрам теории, есть три коммуникативных измерения. То, что она в конечном счете отобрана (= акцептирована научным сообществом) демонстрирует ее успех в социальном измерении. То, что она истинна, демонстрирует ее успех в предметном измерении коммуникации; и то, что она

формулирует новые подтверждающие ее следствия, демонстрирует ее успех во темпоральном измерении научной коммуникации.

Этот отбор, в свою очередь, осуществляется на трех эволюционных уровнях или стадиях. На этапе варьирования («контекст открытия») теории акцептируются лишь как версии, варианты или рабочие гипотезы для дальнейшего – предметного, истинностного – отбора (вторая эволюционная стадия). На этапе стабилизации научное знание акцептируется как утвердившейся образец решения проблем, как парадигма, в смысле Томаса Куна).

Итак, мы показали, что куновское понятие несоизмеримости, в особенности, в семантическом аспекте, акцентировало преимущественно предметное измерение коммуникации. Этому понятию несоизмеримости языка конкурирующих парадигм может быть противопоставлено понятие трехмерного пространства коммуникативных измерений. Мы дополняем предметное измерение коммуникации, в рамках которого осуществляется средовой эволюционный отбор лучшего знания, соразмерными ему социальным и темпоральными горизонтами, делающими возможными научную коммуникацию, преодоление означенных языковых барьеров и, как следствие, прогресс науки.

Библиография (2.4):

- Антоновский А.Ю. Семантический контекстуализм и проблема нестандартного определения знания // *Эпистемология и философия науки*. 2010. Т. 26. № 4. С. 101-118. 2. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
- Кэмпбелл Д. Эволюционная эпистемология // *Эволюционная эпистемология. Антология*. 2012. С. 141-178.
- Лакатос И. *История науки и ее рациональные реконструкции*. М.: Акт, 2003.
- Луман Н. *Эволюция*. М.: Логос, 2005.
- Луман Н. Эволюция науки // *Эпистемология и философия науки*. 2017. № 2. С. 215-233.
- Луман Н. *Дифференциация*. М.: Логос, 2007.
- Луман Н. *Истина, знание, наука как система*. М.: Логос, 2015.

- Фейерабенд П. *Избранные труды по методологии науки*. М.: Прогресс, 1986.
- Фейерабенд П. *Наука в свободном обществе*. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010.
- Хьюэлл У. *Философия индуктивных наук, основанная на их истории*. Т. I. М.: КноРус, 2016.
- Achinstein P. Explanation vs. Prediction: Which Carries More Weight // *Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*. 1994. №2. P. 156–164.
- Barnes E. Ch. On Mendeleev's Predictions: Comment on Scerri and Worrall // *Studies in the History and Philosophy of Science*. 2005. №36(4) P. 801–812.
- Bird A. What Is Scientific Progress? // *Nous*. 2007. №41 (1). P. 64–89.
- Campbell D.T. *Evolutionary Epistemology* // The Philosophy of Karl Popper // Ed. by P. A. Schilpp. The Library of Living Philosophers. №14. Book I. La Salle, Ill.: Open Court Publishing Co., 1974. P. 413-463.
- Davidson D. *Thought and Talk* // Truth and Interpretation. Oxford, 1984. P. 155-170.
- Hanson N.R. *On observation* // Philosophy of Science: An Historical Anthology. Blackwell, 2009.
- Hoyningen-Huene P. Kuhn's Conception of Incommensurability // *Studies in History and Philosophy of Science*. 1990. №21. P. 481–492.
- Kitcher Ph. *Advancement of Science: Science Without Legend, Objectivity Without Illusions*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Collins H.M. *Changing order. Replication and Induction in Scientific Practice*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Kripke S. *Naming and Necessity*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.
- McAlister J.W. *Beauty and Revolution in Science*, Cornell University Press. 1999.
- Putnam H. *What Is Realism?* // Jarrett Leplin (ed.), Scientific Realism. Berkeley: University of California Press, 1984. P. 140-141.
- Sankey H. Scientific Realism and the Semantic Incommensurability Thesis // *Studies in the History and Philosophy of Science*, 2009. №40(2): P. 196–202.
- Shiga D. ANGELS to watch over US air force satellites // *New Scientist*. T. 4. 2006.
- Suppe F. *The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories* // Suppe (ed.), The Structure of Scientific Theories Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1974. P. 221-260.
- Whewell W. *Philosophy of the inductive sciences based on their history*. T.I. Ed. I.T. Kasavin, trans. A.L. Nikiforov. M., 2016.
- Zahar E. "Crucial" experiments: a case study // Progress and rationality in science. Dordrecht, 1978.

Раздел 3:

***НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И КРИЗИС
КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ***

Глава 3.1. *Научная политика и кризис коллегиальности в научной коммуникации*

Три системных уровня коммуникации в обществе и науке

В настоящей главе мы будем исходить из распространенной точки зрения, что всякая коммуникативная система, не исключая и науки, функционирует на трех базовых уровнях: интеракции, организации, мирового общества [Stichweh, 2005; Luhmann, 2019].

На первом: интерактивном уровне осуществляются прямые (или технически опосредованные) контакты людей в некотором общем пространстве-времени. Так, Ньютон непосредственно спорил с Гуком или опосредованно дискутировал с Лейбницем, и в этих дискуссиях обсуждался и утверждался научный приоритет и оценивались научные достижения. Наука Нового времени во многом определяется интерактивно, и научная репутация формировалась в ходе личного (но в особенности письменного¹) общения или коллективной дискуссии на совместных заседаниях. Коммуникативный успех (т.е. акцептация посылаемого запроса на контакт, который в науке обычно представлен претензией на научное открытие или изобретение) не был существенно обременен формальными условиями. И неграмотный, как, например, князь Александр Меншиков, мог быть членом Лондонского королевского общества, расписываясь на документах общества четырьмя крестиками [Pavlenko, 1988: 320–325]. Однако его формальная принадлежность к организации еще не делала его ученым и не придавала его высказыванию какого-то научного смысла. Оценка научного достижения предполагала коллегиальность и возможность ответа критикующему лицу по всем критическим пунктам на совместных заседаниях или в виде письменных ответов на возражения.

¹ Письма ученых друг другу становятся базисом научной корпорации или *Respublica literaria* [Miller, 2000].

На втором – организационном – уровне уже специфика аффилиации меняет условия коммуникативного успеха. Так, высказывание члена диссовета НИИ или вуза так или иначе принимаются (в социальном измерении научной коммуникации) относительно независимо от весомости и осмысленности аргумента в предметно-тематическом измерении коммуникации. Репутация исследователя – это репутация и организации, в которой он состоит, репутация журналов, в которой он публикуется, репутация вуза, который он окончил.

С одной стороны, сегодня именно на уровне организации фактически реализуется функция науки как макросистемы, а именно проведение научного исследования. Но, с другой стороны, чтобы сохранить эластичность и самовоспроизводиться, организации вынуждены конфронтировать сразу с несколькими внешними мирами [Stichweh, 2013: 135–152], не только исследовать внешний мир (природу, общество и сознание), но и выстраивают отношения с внутренним (т.е. социальным) внешним миром: регулирующей их деятельность политической системой, индустрией, образованием, массмедиа, гражданскими движениями и т.д. В XX в. в этом контексте кристаллизуется форма управления наукой под названием «научная политика»: «Зависимость от... внешних ожиданий в 20 веке получает новое качество в связи со стоимостью научного исследования. Поскольку финансирование... исследований осуществляется в основном государством, то решения о реализуемости намеченных исследований становятся политическими. Форма управления “научная политика” становится фундаментальным в понимании науки 20 века» [Stichweh, 2013: 5]

Главным вопросом научной политики (как и всякой другой, в частности экономической, политики) оказывается вопрос о том, как «отобрать и поделить», в нашем случае, научное знание. Знание делят, прежде всего, на то, которое интересно самим ученым и остается

в их распоряжении, и то, которое в каком-то смысле «отчуждается» политикой ради некой «общественной пользы» и называется «общественно полезным» или «прикладным». Примечательно, что это различие, будучи изобретенным самими учеными («светоносные и плодотворные опыты» Ф. Бэкона), свое политическое значение в виде различения исследований на «фундаментальные» и «общественно полезные» (Grundlagenforschung/Gemeinschaftsforschung [Schauz, Lax, 2018; Maier, 2007]) получает в нацистской Германии.

Конечно, и в прошлом ученые не только исследовали природу, но и учитывали «общественные» эффекты своих трудов (вспомним, драму Галилея и стратегию Декарта, откладывающего публикации «общественно опасных» трудов). Переход к исследованиям в рамках организаций, с одной стороны, в какой-то мере защищает ученых от общественного (религиозного, политического) прессинга, но, с другой, требуют невиданных дополнительных ресурсов на поддержку воспроизводства этих организаций (устойчивости коллективов, амортизации приборов и инфраструктуры, оплаты менеджмента, расходов на юридическую поддержку, охрану и т.д.). Собственно исследовательская функция в этих контекстах может становиться исчезающе малой по сравнению с задачами выживания самой организации. Организация в отличие от «независимого ученого» не может не отвлекать ресурсы на прямые запросы из «внутренних внешних миров» науки: на оборонные заказы, запросы из индустрии, и не в последнюю очередь, конечно, на политические требования от науки «высоких достижений мирового уровня» и выходу из так называемой зоны комфорта, в которой, по мнению регулятора, склонны пребывать творческие люди.

В этом смысле за полезные функции организации науки (и все связанные с этим эффекты его дисциплинарной специализации) приходится расплачиваться расфокусированием научного труда: с одной стороны, на

собственную социальную функцию науки – проведение фундаментальных научных исследований, а с другой, – на исполнение внешнего заказа в области прикладных исследований. Правда, именно в ответ на эти «внешние интервенции» наука и генерирует «междисциплинарные исследования», что делает возможным – пусть временную – интеграцию ученого сообщества, естественным образом самодезинтегрирующегося вследствие специализации на дисциплины и сектора.

Третий системный уровень коммуникации (мировое общество) включает в себя подсистемы политических, хозяйственных, религиозных, массмедийных и, не в последнюю очередь, научных коммуникаций [Stichweh, 1996]. На этом уровне, ни личные контакты, ни формальная принадлежность к организации уже не являются гарантированным условием научного признания. В большинстве случаев такой запрос попросту не преодолевает порога восприятия мировой науки. Каждый год публикуется порядка 2,5 миллиона работ с ежегодным пятипроцентным приростом [Junha, 2010], но лишь ничтожное количество публикаций из этого океана текстов каким-то невероятным образом «отбирается», т.е. оказывается востребованным и включается в стабильно воспроизводящийся корпус знания [Luhmann, 2017].

Очевидно, что сегодня этот «искусственный отбор» уже не осуществляется в ходе коллегиальных обсуждений в рамках организаций или организованных на их базе конференций. Сотни тысяч ученых-исследователей – независимо от коллегиальных фильтров научных организаций – осуществляют массовую оценку сотен тысяч публикаций, по итогам которой принимается квазискоординированное решение о том, достойно ли то или другое научное сообщение критического или позитивного ответа на него. В то же время коллегиальное решение об одобрении исследования на уровне НИИ или факультета, и даже на уровне самой влиятельной международной конференции, еще не гарантирует его

востребования мировым сообществом. Как и наоборот: мировая востребованность ученого автоматически не приводит к «преодолению» организационных фильтров, последующему трудоустройству в НИИ или вузе или его повышению по службе.

Эффективность организации и ее сверхсложность

Организации, пришедшие на смену средневековым корпорациям, стали плотью современного общества и понимаются сегодня как «самовоспроизводящиеся системы решений» [Luhmann, 1992: 166] по спецификации бинарных кодов (власти/оппозиции, истины/лжи, законного/ незаконного, покупок/продаж, веры/неверия), разрешающих так называемую проблему невероятности коммуникации¹. Этот «автопоэзис» включает и связывает решения квалификации исследователей, об их профессиональном трудоустройстве², о перспективных тематиках, о принятии рукописей к печати, о признании достижений членов организаций и соответствующих вознаграждениях и поощрениях и т.д. Сегодня основания для организационных решений переносятся с организационного на уровень мирового общества.

В последние десятилетия обозначилась новая тенденция в эволюции организаций, которую можно было бы назвать «неорганизованными социальными движениями» [Gerbaudo, 2012; Tufekci, Wilson, 2012], претендующими на функцию организаций. Их участ-

1 Сегодня только организация (в нашем случае, научная или образовательная), погруженная в самоформирующуюся высококонкурентную среду, вынуждает своих членов к иммерсивному погружению в научную тематику или проблему, чтению сотен текстов (в том числе и скучных и бесполезных для ее решения), формулированию рискованных гипотез. И все это – за счет отрешения от всех других радостей жизни, что для повседневного общения является в высшей степени невероятным положением дел.

2 Именно в рамках организации возникает современный феномен профессии, ведь решения о квалификации как критерии инклюзии в профессиональное сообщество могут быть приняты только организациями [Stichweh, 2005: 2013].

ники координируют активность через социально-сетевые формы интеграции как своего рода искусственные нейросети, не вступают в формальные объединения, не подчиняются решениям центральных органов, которые у них попросту отсутствуют.

Какая же судьба ждет научную организацию? Ее собственная комплексность возросла настолько, что она не может перерабатываться на основе традиционных механизмов принятия решений. Разного рода «неорганизованные» наблюдатели фиксируют «слепые пятна» и «сбои» собственно научного наблюдения (= исследования)¹ и этим реализуют возможности наблюдения второго порядка. Такого рода аутсорсинг научного самонаблюдения отчасти позволяет разрешить парадокс Мертона – Поппера, который состоит в том, что исследователи, будучи сообществом, утверждают и разделяют соответствующие корпоративные или, иначе, коммунистические ценности в социальном измерении научной коммуникации. Но ведь никакие интегрирующие сообщество ценности не являются фундаментальными для «организованного скептицизма» ученых [Merton, 1973] в ее предметно-тематическом измерении. Как следствие научное сообщество естественным образом дезинтегрируется, что рано или поздно подрывает всякие утвердившиеся социальные иерархии (научные школы, НИИ), изначально организованные вокруг той или иной актуальной темы.

Конечно, наука все еще остается иерархией дисциплин в том, что касается ее тематического интереса. Более зрелые науки задают образцы исследовательских протоколов, стандарты теоретической и методологической верификации гипотез и т.д. Однако в отношении социально-ролевой структуры научной организации она

предстает, скорее, социальной гетерархией, ведь вопрос истинности научного высказывания не может быть решен «распоряжением сверху».

Научное администрирование все еще сохраняет ключевое значение для научного исследования. Руководитель организации, ученые советы, представляющие «ведущих исследователей», контролируют тематическую повестку, оценку научных результатов, разделение научного труда и внутреннюю структуру лабораторий, вопросы научной репутации, траектории научной карьеры отдельных исследователей, присвоение научных должностей и званий. Конечно, в силу гетерархического устройства НИИ произвол руководителя или формального органа ограничен более жестко, чем это имеет место в политических или экономических организациях. Ведь достижения исследователя, как члена организации, с тех пор как наука стала макросистемой мирового общества, не могут полностью оцениваться внутри самой организации. Как следствие любые иерархии вынуждены считаться с внешней оценкой достижений своих членов, а эта внешняя оценка апеллирует в конечном счете к бинарному коду истины/лжи, где решение в пользу одного или другого значения не может быть принято решением организации.

Минусы «организованной науки»

Итак, организация в науке сохраняет значение (пусть уже не в оценке научных достижений и выбора фронтальной тематической повестки, но, прежде всего в вопросах инклюзии/эксклюзии в научное сообщество). И здесь трудно не зафиксировать разрыва или несоответствия. С одной стороны, тематическая повестка (госзадание), финансирование и оценка научных достижений соотносится в контексте запросов, предложений и ожиданий самых разных игроков научной политики: регулятора, НИИ, ведущих исследователей, научных групп, промышленных партнеров НИИ, заин-

¹ В России эту функцию «внутренней научной полиции» берет на себя ряд сетевых сообществ («Диссернет», «Диссеропедия», «АНРИ», «Общество научных работников», интернет-медиа «Троицкий вариант», комиссии РАН). [Бараш, Антоновский, 2018]

тересованных министерств (обороны, экономики и т.д.), госкорпораций, больших коллабораций (ЦЕРН, ИТЕР, Human Brain Project и др.), иностранных корпораций (WoS, Scopus), гражданских волонтеров («Диссернет»), редколлегий ведущих журналов, экспертных сообществ при госорганах («Советы по науке, технологиям...»), социально-сетевых сообществ на самых разных научных интернет-площадках.

Однако, с другой стороны, вопрос входа/выхода из науки и формально понимаемой репутации (степени, должности, звания и даже гранты) монополизирован научными организациями (неважно, идет ли речь, о НИИ, вузе, ВАКе или РНФ).

Возникает вопрос, почему научная организации в одиночку (т.е. своими решениями) не справляется с комплексностью первых двух вопросов, но все еще монопольно решает «кадровый вопрос»? Почему НИИ в вопросе кадровой ротации и распределении репутаций и вознаграждений часто не учитывает «внешние оценки» и «внешним образом» определенные повестки? На наш взгляд, этот разрыв возникает из парадоксального основания научной коммуникации: с одной стороны, демократического, с другой стороны, меритократического устройства научного сообщества. И то, и другое остаются желаемыми и неустраняемыми формами инклюзии в научную систему.

Демократизм научной организации основывается на апелляции к внешним инстанциям (мировой науке в самом широком смысле, объективной реальности как «удостоверителю истинности» научного предложения), каковые отчасти и ограничивают произвол управленцев и администраторов науки. Но тот же демократизм (в конкурсных и аттестационных решениях) обуславливает кадровую стагнацию и формирование балласта, создавая известный «эффект бульона». Кроме того, и ведущие исследователи (PI) заинтересованы в своем выделенном положении на общем фоне и первенстве

своей лаборатории в среде «бульона». И в этом смысле, вопреки всему демократизму конкурсных процедур PI несклонны поддерживать конкурентов: других выдающихся ученых, способных «оттянуть на себя» часть финансирования и признания (если, конечно, речь не идет об их собственных протееже).

Научный демократизм в условиях внешнего прессинга (со стороны регулятора, разного рода оптимизаторов, конкурентов за общественное влияние и финансирование) обеспечивает сплоченность научного коллектива. Каждый член демократического органа внутреннего управления, препятствуя кооптации новых сотрудников, рассчитывает на аналогичное отношение и к своей персоне. Наука слишком долго оставалась «осажденной крепостью», островком (далеко не только академической) свободы, чтобы так легко отказаться от своего корпоративного устройства, доставшегося ей в наследство даже не от гумбольдтовско-шлейермахеровского проекта [Schleiermacher, 2018], но еще от цехового устройства средневекового университета.

«Естественная монополия» НИИ в кадровых вопросах, как и все вытекающие эффекты стагнации, есть негативный побочный результат тех механизмов, которыми наука защищается от политического произвола в вопросах инклюзии. В этом смысле вопрос сплоченности научного коллектива – это во многом вопрос его выживания. Поэтому отсутствие подлинной конкурсности (и в целом недореализованность принципа меритократии как «инклюзии лучших» на основе исключительно научных достижений) можно понимать как одну из форм защиты научного сообщества от так называемого академического капитализма [Muench, 2013; Weber, 1922: 526]¹.

1 «The large institutes of medicine or natural science are 'state capitalist' enterprises... The worker, that is, the assistant, is dependent upon the implements that the state puts at his disposal; hence he is just as dependent upon the head of the institute as is the employee in a factory upon the management». [Weber, 1922: 526]

Конечно, платой за избыточно широкую фильтрацию членов организации становится уменьшение его КПД. Кроме того, коммуникативная замкнутость научного сообщества, ее корпоративность, защищает науку от политической и иной экспансии в нее извне, но препятствует коммуникации с другими сообществами, и этим зачастую приводит к стагнации.

Коммуникативные границы между организациями и «долины смерти» в движении научного знания

Итак, в общем случае автономия организации препятствует структурным сопряжениям между системами коммуникаций. Например, если НИИ издает научный журнал, то администрация, конечно, вряд ли допустит его перехода на современные издательские бизнесплатформы со всеми их «академически-рыночными» механизмами конкуренции (peer review) и отбора действительно прорывных работ¹.

Этот же феномен проявляется и в том, что организационные структуры затрудняют диффузию знания посредством его «коммодитизации», т.е. перехода от фундаментальной разработки через прикладную инновацию в готовый к масштабированию продукт. В этом смысле сегодня принято говорить о «долинах смерти» на шкале TRL. Об этом «прерывании коммуникации» между научной организацией и потребителями ее продукта в интервью автору говорит начальник Инжинирингового центра Экспериментального завода научного приборостроения РАН в Черноголовке Александр Веретенников:

«Если посмотреть на продвижение знаний по шкале уровня готовности технологии (УГТ или TRL), то первые ступени в ней занимают фундаментальные и поисковые исследования, затем идут прикладные ис-

следования, затем опытно-конструкторские работы и освоение в серийном производстве. общепринятый термин “долина смерти” относится к участку на шкале, соответствующему уровням TRL 3–7, когда у научных организаций уже не хватает компетенций проводить полноценную опытно-конструкторскую работу и выдавать результат, понятный промышленности, а у промышленности, с одной стороны, нет доверия к такому результату, а с другой, абсолютно другие правила работы (условия финансирования, разные временные шкалы, разные программные инструменты разработки и прочее). В результате переход продукта научных исследований через такую “долину смерти” почти невозможен».

Организационные формы слишком неповоротливы как в вопросе отчуждения авторских прав на разработку, так и в вопросе тематик госзадания, что и создает «долину смерти» в точке перехода между фундаментальным и прикладным знанием.

Аналогичные коммуникативные барьеры возникают между регулятором и учеными в вопросе понимания ключевых условий научного успеха. Данное утверждение представляет, скорее, гипотезу, и, конечно, требует социологической верификации. Попытаемся развернуть ее в небольшую таблицу:

<i>Условия успеха науки в качестве общего интереса ученых и регулятора</i>	<i>Семантика исследователей</i>	<i>Семантика регулятора</i>
Обстоятельный и неспешный характер исследования	«Продуктивная среда» научной коммуникации	Расслабляющая и демотивирующая «зона комфорта»
Академическая свобода	Условие креативности, научной критики, деидеологизированной объективности	Застой тематики, нечувствительность к внешним вызовам и запросам индустрии
Отчетность и контроль	Отвлечение ресурсов на ненаучные цели	Оптимизация финансирования и стимулирования лучших

¹ Так, на Западе научные журналы как механизмы структурного сопряжения науки, политики и хозяйства [Young et al., 2017] издаются на базе коммерческих издательств (Springer Science, Taylor & Francis и т.д.) и свободны от влияния научных организаций.

Экспелентность исследования	Измеряется научными открытиями, оценивается коллегиально внутри НИИ	Измеряется рейтингами, оценивается регулятором или внешними наблюдателями (WOS, Scopus)
Исследовательский риск	Тип научной рациональности; Выход на фронтиры	Нецелевое расходование средств, необоснованное отвлечение ресурсов
Ошибка, опровержение первоначальной гипотезы	Оптимизация исследования путем закрытия ложных исследовательских ходов	Основание для закрытия темы или направления
Международная мобильность и открытость	Обмен знанием и технологиями, встраивание в международную СРТ	Утечка ресурсов (кадров, технологий)

Означенные коммуникативные трудности связаны с более общей проблемой всякой организации – утратой ею функции социального контроля [White, 2008] в условиях роста общественной сложности (прежде всего, увеличения членов организации и как следствие количества и качественного разнообразия коммуникативных запросов на контакт). Применительно к науке это подразумевает дисциплинарную специализацию, умножение тематик, исследовательских протоколов, запросов из других коммуникативных систем (в предметном измерении коммуникации); увеличение числа ученых и умножение их компетенций (социальное измерение); разнообразие форм финансирования и возможностей академической мобильности (временное измерение).

НИИ как форма организации просто не в состоянии своим структурным разнообразием (или иначе – внутренней сложностью) ответить разнообразию, сложности и динамике его внешнего мира¹. Оно, очевидно, не успевает реагировать на изменения фронтирной тематической повестки, адаптировать себя в мировую СРТ путем вступления в международные коллаборации и се-

тевые платформы, аккумулировать новые компетенции, ротировать кадры, реагировать на все новые возможности фондирования (гранты), а также проектного и тематического финансирования.

Высокая чувствительность к этим вопросам просто перегрузила бы организацию, так как потребовала бы регулярной перестройки внутренней структуры и создания специальных инстанций-подразделений, специализирующихся на наблюдении роста и динамики внешней сложности. Эту функцию наблюдения внешней сложности не удастся передать ни научно-организационному отделу, ни секторам и лабораториям, которые обеспечивают ключевую функцию научной системы – проведение исследований по заданным темам, а не отслеживание кристаллизации новых тематик, запросов индустрии, издательской конъюнктуры и т.д.²

По мере возрастания комплексности (числа участников системы, предметно-дисциплинарной специализации, временного давления) те ресурсы оценки научных достижений, которые используют НИИ для обеспечения коммуникативного успеха (сегодня это прежде всего видимость для других в форме цитирования и запросов из других систем), становятся недостаточными. Помимо предметных ограничений (например, не все члены УС и ДС являются специалистами, способными оценить заявленную тему диссертации, монографию, проект и т.д.) важнейшим ограничением становится временное. В рамках заседаний УС и ДС приходится утверждать десятки самых разных вопросов (тем диссертаций, монографий, кадровых и инфраструктурных вопросов), исключаящих всякое глубокое вникание в их существо в предметном измерении коммуникации, в особенности в условиях, когда каждый ведущий ученый претендует на собственную позицию по каждому из этих вопросов. Недостаток времени приводит к негативным эффектам и в социальном изме-

²См. о том, как эта проблема решалась шведской и датской наукой путем тотального разделения труда на уровне «ведущих научных групп» (а не организаций): [Young et al., 2017]

¹ Используем здесь понятие из «закона необходимого разнообразия» [Ashby, 1962].

рении коммуникации. Так, согласовать интересы и запросы администрации, ведущих исследователей и остальной массы сотрудников в этих условиях становится невозможно; приходится довольствоваться исключительно поверхностным анализом и как следствие – поверхностной акцентацией такого рода запросов на коммуникацию (а значит, и на инклюзию в научное сообщество).

На интерактивном уровне коллегиального обсуждения, на котором долго развивалась нововременная наука, каждый ученый имел возможность вступить в прямую коммуникацию (персонально критически отозваться на его достижение, или напротив, заявить о своем приоритете в некоторой области) с каждым ученым в своей области, если такой запрос на контакт был предметно подкреплён его научным достижением. На этом уровне инклюзия в сообщество и консенсус обеспечивалось предметно, прежде всего, «коммуникативной рациональностью» аргумента (Ю. Хабермас). Ресурсов убедительности дисциплинарного языка, объединяющего коллег по цеху в некоем общем «жизненном мире», было вполне достаточно для того, чтобы оценить притязание на прорывное научное достижение. Сегодня такая коллегиальная оценка научных достижений и проектов внутри организации, очевидно, недостаточна. В качестве своего рода компенсации реализуются те или иные формы научного аутсорсинга.

Социально-сетевая катастрофа и научная коммуникация

Но главное, с чем не справились организации, – это новая компьютерная «коммуникативно-сетевая катастрофа», аналогичная тем «коммуникативным катастрофам», которые в теории коммуникации связывают с появлением письменных, печатных и электрических медиа: «All three new developments, that of writing, that of printing, that of computers, we can best imagine as ‘catastrophes’... as ‘brutal leaps’, which enable a system to survive, when it actually should have ceased existing» [Baecker, 2006: 32–33].

«Организации», как и все другие нововременные формы бюрократической рациональности, возникли благодаря печати (циркулярам, уставам, правилам порядка, договорам, письменным административным распоряжениям). Организационно-бюрократическая форма коммуникации предполагает, что формальное членство дает прерогативы и «бенефиты» (не обязательно материальные) ее членам, а значит, не предметный интерес, а сама инклюзия часто оказываются для них мотивационным фокусом. Поэтому и члены организации могут не пожелать жертвовать прерогативами членства ради гипотетического риска возможного, но не гарантированного успеха в науке как формы в высшей степени рискованного предприятия.

Компьютерная и социально-сетевая катастрофа (и связанное с ней компьютерное изготовление и переработка научных текстов, математизация и цифровизация, универсальная доступность научных данных, в особенности аккумуляция *big data*, сетевое преодоление всех институциональных, региональных, национальных и, отчасти, дисциплинарных границ, и связанная с этим легкость и простота создания сетевых платформ и разделения научного труда; как следствие многообразие исследовательских перспектив и множество запросов, исходящих из других коммуникативных систем; и не в последнюю очередь перепроизводство квалифицированных ученых и экспертов) поставила под вопрос саму «субъектность» научной организации, понимаемую как способность к эффективному коллективному действию. Коллективные решения организационного типа по «переработке» внешнемировой сложности примитивными средствами организаций (коллегиями, дирекциями, советами и т.д.) стали невозможными.

Вместо заключения:

Возникает вопрос, кристаллизуются ли функциональные эквиваленты организации, способные взять на себя основную функцию системы научной коммуни-

кации (научное исследование) и скомпенсировать очевидные слабости формально-организованной науки? Сформулируем рабочую гипотезу, которую мы не можем здесь обстоятельно обосновать:

(1.) требуются новые, более оперативные и мобильные средства научной коммуникации и научной оценки, обеспечивающие успех и акцентацию научного труда и научных достижений на мировом уровне и осуществляющие контроль над внутренней и внешней сложностью науки; предположительно, в качестве такого рода медиа сегодня выступают сетевые площадки или платформы, которые объединяют публикационные и экспертные функции, осуществляемые экспертами-волонтерами, критическую рефлексию которых не сужают формальные правила членства, а также условия включения/исключения из организации. На этом уровне оцениваются не только научные достижения ученых, их публикации, но и все научные институты, научные группы, лаборатории, журналы, издательства, НИИ и даже научная политика национального регулятора науки;

(2.) требуются новые – неформальные – оргформы научного исследования, способные выступить конкурентоспособными исследовательскими единицами, научный продукт которых можно было бы однозначно и оперативно оценивать, опираясь на вышеозначенные медиа. Предположительно, такими формами могут служить (в том числе междисциплинарные) «ведущие научные группы», отвечающие запросам из внешнего мира науки (индустрии, образования, политики и т.д.) и создающиеся на время решения такой (прикладной) проблемы. Вторую, в чем-то аналогичную неформальную оргформу представляют коллаборации, создающиеся в целях разработки больших и малых трансдисциплинарных проектов. Это, прежде всего, ЦЕРН, Международная космическая станция, Human Brain Project, Международный

экспериментальный термоядерный реактор. Они не являются классическими организациями, и членство в них не является формальным, научные достижения получают практическую оценку, не нуждаются во внешнем контроле, а имитация научных результатов здесь исключена словно естественным образом. Вот как в интервью автору сущность коллаборации описывает заместитель директора ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, ведущего отечественного института, входящего в коллаборации с ЦЕРНом, Иван Логащенко:

«Коллаборации формируются вокруг конкретной задачи. Например, для изучения свойств b-кварка или поиска гравитационных волн нужен инструмент, требующий участия большого числа конкретных специалистов. Как правило, они привлекают новых участников для расширения спектра исследований. Это своего рода одноранговая сеть. Предложенная участником идея доступна для всех участников как равноправных экспертов. В ней постоянно рождаются и сообщаются оцениваются новые идеи. Это коллективное мнение и задает повестку (программу экспериментов), которая определена возможностями инструмента, суммарным знанием участников и генерацией все новых идей. Коллаборации – самоуправляемые единицы. Управление либо не формализовано (есть один-два лидера в роли *spokesperson* и научного руководителя), либо (в больших коллаборациях) есть внутренние комитеты, парламент, исполнительный комитет (директорат) и общее собрание. Строго выполняются принципы ротации и неформального консенсуса (в случае несогласия начинается согласование). Нельзя просто прийти в коллаборацию, как в обычный НИИ, нужно быть ей полезным».

Фактически означенные новообразования, по-новому ставящие и решающие проблему инклюзии в научное сообщество, уже кристаллизовались в мировой науке. Регуляторы (прежде всего, ответственные министерства) переключаются с поддержки НИИ и вузов на поддержку ведущих научных групп, которые могут вклю-

чать в себя представителей разных организаций. При этом никакая из них (даже организация, через которую осуществляется финансирование, а во многом и исследовательские фонды) уже де-факто не в состоянии контролировать работу научных групп или коллабораций. Контроль (решений заявленных задач, соответствия повестке, стандартам научной коммуникации и т.д.) осуществляется не на интерактивном коллегиальном уровне, не на уровне организационного администрирования (дирекции НИИ), а на уровне мирового общества, организующегося через достаточно автономные ризоматические социальносетевые узлы-сообщества. Именно эти сообщества образуют тот самый «академический рынок», где определяется востребованность научного продукта в его самом широком смысле: исследовательских тематик, квалификаций, публикаций, грантовых проектов, экспертиз, патентов, инноваций, поставленных проблем и т.д.

На этом «социально-сетевом рынке» и определяется «цена» означенных научных достижений, институтов, исследователей, востребованных в той степени, в какой они были «оплачиваемы» в самой разнообразной «коммуникативной валюте»: рецензиями, цитированиями, лайками, комментариями, посредством *shares*, *scors*, числом посещений, числом скачиваний и т.д.). В этой ситуации «коммуникативного академического рынка» НИИ слишком громоздок и неповоротлив, чтобы эффективно на нем конкурировать. Он не способен сформировать механизмы «устойчивого развития», поскольку за редким исключением не может использовать *Matthew Effect*, который сегодня на системно-коммуникативном языке называется научным «автопоэзисом». Сегодня такой автопоэзис предстает в форме системной рекурсивности: грант-публикация-цитирование → грант-публикация-цитирование → *грант, публикация, цитирование...*

Конечно, и эта автопоэтическая рекурсивность какое-то время может воспроизводиться в форме «ими-

тации исследования». Однако аутсорсинг и краудсорсинг [Kasavin, 2019] экспертных и контролирующих функций, передаваемых сетевым «научным волонтерам» в функции «внутренней научной полиции», делает такого рода имитации нежизнеспособными в долговременном плане.

Наука в этом смысле способна выказывать свойства не только коммуникативной системы, но и так называемого движения, т.е. некоего сетевого суперсубъекта, способного эффективно координировать деятельность и коммуникацию своих участников вне жестких вертикальных иерархий, не ориентируясь на единый центр принятия решений. Собственно, такой «сетевой субъект» уже сегодня «принимает решения» о судьбах и направлениях исследований, публикаций и даже целых журналов, о том, что «пойдет» и что актуально. Эти решения, в конечном итоге, оформляются как решения организаций, но их резоны формулируются в форме анонимной «квазирыночной» экспертизы, словно размазанной на десятки или сотни слабосвязанных между собой социально-сетевых групп (как в рамках специализированных научных социальных сетей, таких как Publon, ResearchGate, Google-Academy, Orcid, Mendeleev). Каждый результат научного труда, поставляемый на такой «сетевой рынок», получает соответствующую «рыночную» цену, востребован или невостребован независимо от коллегиального обсуждения в научных организациях на ее интерактивном уровне. Даже научные академические журналы вынуждены учитывать этот рынок и адаптироваться к нему, пытаются «продавать» себя на нем, получая «reviews» и цитирования в научных социальных сетях и на этом основании могут рассчитывать на повышение своей квартильности и влияния.

Библиография (3.1):

Ashby R. Principles of the Self-Organizing System // in H. von Foerster, G.W. Zopf, Jr. (eds.). *Principles of Self-Organization*. London: Pergamnon Press. 1962. Pp. 255-278.

- Baecker D. Niklas Luhmann in the Society of the Computer // *Cybernetics & Human Knowing: A Journal of Second-Order Cybernetics, Autopoiesis, and Cyber-Semiotics*. 2006. Vol. 13. Pp. 25–40.
- Бараш Р.Э., Антоновский А.Ю. Радикальная наука. Способны ли ученые на общественный протест // *Эпистемология и философия науки*. 2018. Т. 55. № 2. С. 18–33.
- Gerbaudo P. *Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism*. London: Pluto Books. 2012. 208 p.
- Касавин И. Т. Иллюзия дарения: как сети превращают бескорыстный обмен знанием в навязчивый краудсорсинг // *Эпистемология и философия науки*. 2020. Т. 56. № 4. С. 29–36.
- Luhmann N. Organisation // in W. Küpper, G. Ortmann (eds.). *Mikropolitik: Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen*. Opladen: Westdeutscher Verlag. 1992. Pp. 165–185.
- Луман Н. Эволюция науки // *Эпистемология и философия науки*. 2017. № 2. С. 215–233.
- Luhmann N. Interaktion, Organisation, Gesellschaft // in Lukas E., Tacke, V. (eds) *Schriften zur Organisation 2*. Wiesbaden: Springer VS, 2019, pp. 9–20.
- Maier H. *Gemeinschaftsforschung: Bevollmächtigte und der Wissenstransfer die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus*. Göttingen: Wallstein. 2007. 614 S.
- Merton, R.K. The Normative Structure of Science // in Merton, R.K. (ed.). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago: University of Chicago Press. 1973. Pp. 223–280.
- Miller P.N. *Peiresc's Europe. Learning and Virtue in the Seventeenth Century*. New Haven and London: Yale University Press. 2000. 252 pp.
- Muench R. *Academic Capitalism: Universities in the Global Struggle for Excellence*. New York and London: Routledge Press. 2014. 314 pp.
- Павленко Н.И. *Полудержавный властелин* М.: Политиздат. 1991. С. 422.
- Schauh D., Lax G. *Professional Devotion, National Needs, Fascist Claims, and Democratic Virtues. The Language of Science Policy in Germany* // in: D. Kaldewey. D. Schauh. *Basic and Applied Research: The Language of Science Policy in the Twentieth Century*. New York, Oxford: Berghahn Books. 2018. pp. 64–103.
- Шлейермахер Ф. Из сочинения «Нечаянные мысли о духе немецких университетов» // *Эпистемология и философия науки*. 2018. Т. 55. № 1. С. 215–235.

Глава 3.2. Избыточное знание и социально-сетевая эволюция науки

К формулированию проблемы:

сложность vs. рациональность

Совместима ли сверхсложность современной науки с рациональной организацией научного знания и коммуникации, – вот проблема, которую мы ставим в центр исследования. Нельзя сказать, что прежде наука была простой в ее понимании внешней аудиторией, но, по крайней мере, сами ученые в общем и целом разбились в том числе и в проблемах сопредельных научных дисциплин, не говоря уже о разного рода (методологических, инструментальных) условиях ее познания. Ученые и сами зачастую производили собственные инструменты (вспомним телескопы Галилея и Ньютона или Вольтов столб).

Поэтому под сложностью науки мы имеем в виду не только и не столько непонятность и недоступность научных высказываний, в своей предметности сегодня очевидно несовместимых с субъективным опытом обычного человека, а в своей абстрактности оторвавшихся от реалий повседневности жизненного мира человека. Мы будем говорить о структурной сложности в системно-коммуникативном смысле – о способности коммуникативных систем задействовать собственное структурное многообразие (в данном случае, всю предметную специализацию, дисциплинарную и социальную дифференциацию науки) ради получения все более точного и все более глубокого истинного знания. Ради достижения этой цели самой науке приходится усложняться настолько глубоко, что она становится недоступной для самой себя.

Характерным примером служит технически-инструментальная опосредованность наблюдений. Биолог, использующий электронный микроскоп для изучения вирусов или секвенатор для расшифровки генетическо-

го кода, часто имеет дело с «черными ящиками» и сегодня уже, как правило, не знаком ни с устройством, ни с принципами их работы. В этом смысле корректность интерпретации наблюдений уже далеко не всегда обеспечивается знанием наблюдателем своих собственных инструментов. Очевидно, что данная технизация науки, имеющая своим следствием появление нового кластера научных специальностей и, соответственно, нового класса технически- и инженерно-ориентированных исследователей, специализирующихся на проектировании и производстве научных инструментов, разгружающих других ученых, одновременно обуславливает внутреннее взаимонепонимание. Впрочем, даже фундаментальная и абстрактная теория может представлять такого рода техникой, как, например, квантовая физика, не допускающая визуализацию, понимание как наглядное представление, но являющаяся «инструментальным условием» производства самого разного – теоретического и прикладного научного продукта.

Итак, внутренняя недоступность науки для самой себя как следствие самопорожденной и успешно применяемой сложности кажется сегодня очевидной. В силу этого наука в какой-то мере теряет свое традиционное системно-коммуникативное свойство, а именно – рациональность. В этом смысле теоретическое описание самой науки может и должно осуществляться с помощью научного инструментария, и в этой способности – залог ее рациональности. Но именно эта рациональность сталкивается с проблемой сложности: как возможно такое самонаблюдение и самоорганизация науки, если сами ученые не понимают, как устроены их инструменты? Что же тогда говорить об администрировании современной дисциплинарно-дифференцированной науки?

При всем этом очевидно и то, что сама наука – на практическом уровне своих экспериментов, наблюдений и теоретизаций – отлично справляется с собственной сверхсложностью и не ставит себе вопроса о соб-

ственной (не)рациональности. Вопрос, следовательно, стоит в поисках теоретического объяснения этого парадоксального обстоятельства. В заключительной части главы мы предложим это объяснение и покажем, что рациональное самописание, самооценка и самоорганизация научного знания возможны благодаря именно огромному классу ученых, которые иногда получают пренебрежительное обозначение «научного балласта». А пока обратимся к социальным последствиям возрастания научной сложности.

Социальные последствия возрастания сложности: индикаторы вместо коллегиальной оценки

Далее мы сузим общую проблему сложности и рациональности науки до одного аспекта. В соответствии с положениями системно-коммуникативной теории, которую мы берем на вооружение, сложность системы может реконструироваться не только в предметном (тематическом, дисциплинарном), но также и в социальном, и темпоральном измерениях. Так, дисциплинарная дифференциация наук влечет за собой соответствующие структурно-социальные изменения (появление новых классов ученых, специальностей, компетенций и т.д.), что требует социально-организационных решений и при этом – весьма оперативных (а лучше молниеносных). Ведь в противном случае научная организация не может рассчитывать на успех в рамках мировой научной конкуренции. Темпоральные и социальные условия (измерения) словно блокируют решения в предметном измерении научной коммуникации: так, при принятии решений об оценке достижений конкурсанта, претендующего на научную позицию, или о судьбе проекта, претендующего на финансирование, у соответствующей инстанции (коллегиального органа, научного совета) зачастую не оказывается возможности (главным образом времени, но также и соответствующих экспертов) для того, чтобы тщательно изучить предметное содержание рассматриваемых проектов и на этом основании дать им содержа-

тельную коллегиальную оценку. Коллегиальные органы и администрации институтов вынуждены опираться на то, что принято называть научной репутацией. И сегодня научные репутации формализованы в виде ряда обобщенных показателей исследователя или группы, реализующей свой проект.

Именно опора на репутационные показатели компенсируют «неповоротливость» и неспешность научных организаций, однако такие формализации требуют кристаллизации альтернативных алгоритмов в измерениях научных достижений. Сегодня за них отвечают новообразующиеся сетевые организации, обеспечивающие «структурные сопряжения» между наукой и системами ее обеспечения (административной и экономической). Это происходит не везде и не всегда, но тренд учета формальных и обобщающих показателей результативности обозначился достаточно четко. Индексы Хирша, импакт-факторы журналов, переменные цитирований, скачиваний, прочтений, рекомендаций и рецензий – вот лишь некоторые из переменных современной научной репутации. Содержательная экспертиза научного труда при этом не элиминируется. Но в своей основной массе означенная экспертиза осуществляется на некоем первичном уровне восприятия или, можно сказать, «первом слое» вхождения в «искусственные нейросети», которые сегодня по сути воплощают многочисленные интернет-сообщества. Здесь статьи действительно скачивают и читают, анализируют силу аргументов и новизну положений, но затем на следующих слоях этой «искусственной нейросети» содержательная информация перерабатывается, частично утрачивается и в конечном преобразуется в обобщающие «индексы успешности» (исследователей, проектов, журналов, институтов).

Конечно, и предметные дискуссии в форме рационального обмена аргументами в научных журналах нигде не исчезают. Новое знание воспринимается, усваивается, критикуется, комбинируется по-новому и транс-

лируются далее из текста в текст. Но не победа того или иного – более проработанного и обоснованного – аргумента, как бы ни возражал здесь Ю. Хабермас, становится основанием организационных решений о поддержке или отклонении проекта или фактором инклюзии исследователя в научную организацию. При этом и сам такого рода содержательный критический анализ научного достижения должен принять форму статьи, и значит, в свою очередь, стать импульсом в сетевом восприятии на той или иной электронной платформе, пройти через фильтрующие слои и в свою очередь превратиться в показатель. И только тогда выяснится «настоящая сила» содержащихся в нем критических аргументов.

Как следствие, обобщенная сетевая оценка анонимизируется (хотя автор при желании может посмотреть, кто скачивает, цитирует, «лайкает» или рекомендует его статью). В каком-то смысле эта анонимность воспроизводит знакомую всем анонимность коллегиальных решений – тайных голосований на диссертационных и ученых советах и конкурсных комиссиях. Эти тайные процедуры в процессе коллективного делиберативного выбора все еще широко распространены, ведь они обеспечивают беспристрастность, и как результат – объективность – научных оценок проектов и квалификаций. Но сегодня это уже кажется избыточным, ведь решения опираются на «объективные алгоритмы» вычисления научных репутаций.

Как следствие, сама научная организация, где работает исследователь или осуществляется проект, разгружается не только от необходимости детального анализа его труда (что в условиях научной специализации не всегда возможно), но и защищена от возможных инвектив со стороны сотрудника (в произволе и предубежденности комиссии): прежде всего – ссылкой на «объективность» и «независимость» онлайн-сетевой экспертизы. Не последнюю роль играет и то, что и сами научные организации подвергаются аналогичному оцениванию на научную эффективность, а значит

– вынуждены избавляться от «ухудшающих» рейтинги исследователей и бесперспективных тематик. И это обстоятельство, запуская положительные обратные связи, еще сильнее мотивирует администрацию в ее кадровых и финансовых решениях ориентироваться на репутационные индексы успеха своих сотрудников.

Казалось бы, в данных условиях научные организации должны дойти до стадии полной оптимизации и изживания из себя всех своих «неуспешных» коллег. Между тем этого не только фактически не происходит, но не наблюдается сколько-нибудь существенного смещения баланса между востребованными учеными и их менее успешными коллегами. Гипотеза, объясняющая этот парадокс, предложена в заключении главы.

Коммуникативные потери

и монополизация публикационного рынка

С социально-эволюционной точки зрения можно предположить, что сегодня мы наблюдаем трансформацию важных эволюционных механизмов научной коммуникации, ответственных за обновление, отбор и акцептацию лучшего научного знания. И как всякая трансформация это ведет к коммуникативным потерям.

Одна из самых существенных коммуникативных утрат нового порядка экспертизы сопряжена с тем, что новые инстанции отбора (сетевые экспертные наблюдения) как своего рода внешний мир научной организации, попросту не замечают или игнорируют большую часть научного продукта, произведенного соответствующими организациями.

Так, с одной стороны, сегодня до 80% научных текстов вообще не цитируется, а 50% и вовсе не читаются. Особенно это касается социально-гуманитарного знания. Как следствие, колоссальные массивы предложений научной коммуникации (если понимать научные статьи как коммуникативные запросы на контакт) вообще не встречают коммуникативного ответа, а означает – огромная часть аппарата науки, в сущности, работает

вхолостую. При этом нельзя утверждать, что данные тексты отклоняются как ненаучные, ошибочные или неактуальные. Они попросту не попадают на так называемый лингвистический рынок, как его понимал Пьер Бурдьё [Jaffe, 1993].

С другой стороны, как бы в противовес возрастающей невероятности коммуникативного успеха образуются большие научные консорциумы или коллаборации (CERN, IARC и многие другие, как правило, создаваемые вокруг установок Mega-Science). В рамках такого рода (успешных по самому своему типу) организаций нового типа составляются публикации за авторством сотен, а то и тысяч авторов. Эти «коммуникативные предложения» на мировом научном рынке публикаций, в отличие от конкурирующего «индивидуально-авторского» продукта, просто обречены быть востребованными как в отношении принятия в печать в самых влиятельных мировых изданиях, так и в отношении массового ответного цитирования. При этом личное участие конкретного автора в таких публикациях может стремиться к нулю. И в этом, в свою очередь, проявляется новая анонимность, в данном случае, анонимность действительного авторского участия в достижениях Mega-Science, что в каком-то смысле корреспондирует с анонимностью сетевой оценки научного знания.

Это обстоятельство, в свою очередь, заставляет говорить о трансформации механизмов эволюционного отбора лучшего научного знания. Позитивная оценка, признание и акцептация коллаборативного продукта де-факто осуществляется еще до выхода на «публикационный рынок» и до его отбора внешними фильтрами, экспертами научных журналов и сетевых ревьюэров (отвечающих за функционирование бинарного кодирования истина/ложь): коллаборации не могут ошибаться. Это заставляет еще раз вернуться к вопросу трансформации механизмов эволюции науки и рассмотреть их более подробно.

Вышеизложенное, на первый взгляд, свидетельствует о том, будто системная селективность науки, ее способность эффективно выбирать свои следующие операции отчасти дает сбой. С дарвинистско ориентированной системно-коммуникативной точки зрения, означенные механизмы на первом этапе обеспечивают предварительную генерацию пула случайных вариаций научных сообщений (первый механизм), которые затем в ходе рассмотрения статьи для публикации в научном журнале и последующей критики «отбираются» посредством бинарного кода истинного/ложного (второй эволюционный механизм) [Campbell, 1960; Luhmann, 1991; Antonovskiy, Barash, 2021]. При этом оба механизма функционируют независимо, наподобие того, как мутации в ходе органической эволюции не осуществляются специально или целесообразно, ориентируясь на внешние условия последующего естественного отбора и формирование новой популяции.

В рамках второго механизма селекции осуществляется приписывание истинности, что в конечном счете обеспечивает системообразование, т.е. коннекцию коммуникаций во времени (трансформацию одного текстового содержания в следующие тексты, ориентированные на предыдущий и основанные на нем). Напротив, констатация ложности или ошибочности делала возможным системную рефлексию, рекурсию или обращение к прошлому опыту в ходе анализа обстоятельств, повлекших сбой в научном производстве.

Постулат эволюционной теории науки состоял в том, что механизмы вариации и селекции, т.е. генерации научного знания и экспертной оценки научного знания действуют автономно. На стандартном языке философии науки это различие утверждалось в форме различения «логики открытия» и «логики обоснования». Систематическая концептуализация случайности на-

учного достижения сформулирована Мертоном и сконцентрирована в понятии серендипности [Merton, Barber, 2004]. Стандартные примеры такого рода случайных открытий включают в себя открытие «животного электричества» Луиджи Гальвани, послужившее отправной точкой изобретения Вольтова столба, открытие пенициллина Александром Флемингом. Как известно, в перечисленных случаях речь не шла о запланированных и ожидаемых научных открытиях, осуществленных ради реализации соответствующих научных целей.

Однако вышеприведенный анализ заставляет предположить, что в современном мире эти два эволюционных механизма разошлись слишком далеко. С одной стороны, первичные селекции (генерация научного сообщения как результат случайности, «мутации», «сумасшедшие гипотезы») вполне могут оказываться незамеченными и недоступными для механизма их внешне-мирового (онлайн-сетевого) отбора, а значит – включения (или исключения) в пул истинного и обоснованного знания. С другой стороны, в ряде случаев (в особенности, в рамках гигантских коллабораций) такого рода генерация первичных селекций становится настолько интенсифицированной, а сами новые открытия – настолько ожидаемыми, подготовленными и запланированными, что их «коммуникативные предложения» (в форме публикаций) просто не могут быть проигнорированными и отклоненными. Как следствие, концентрация и ожидаемость случайных открытий в одном месте (в проектах Mega-Science, в больших R&D лабораториях) как бы компенсирует огромные потери невостребованного научного продукта в рамках остальной науки. На наш взгляд, это в чем-то напоминает конкуренцию гигантских монополий и малых предприятий, неспособных произвести равноценный рыночный продукт.

Объясняет ли системно-коммуникативная теория феномен избыточности невостребованного знания?

Важно заметить, что сама наука на уровне ее опе-

раций несколько не страдает от невостребованности больших массивов «научного предложения» на академическом рынке. Проблема состоит в теоретическом описании и функционально-рациональном объяснении этого явления. Мы полагаем, что функционал или рациональный смысл данного феномена может получить объяснение не только в системно-коммуникативном смысле понятия рациональности, но и в ее узко экономическом значении. Зачем администрирующая науку политическая система растрчивает колоссальные ресурсы, перераспределяемые из экономической системы на производство невостребованного научного знания? Попробуем разобраться, как можно классифицировать это новое состояние науки?

С нашей точки зрения, речь в данном случае идет об очередной «коммуникативной катастрофе», вызванной к жизни появлением всемирной и глобальной сетевой коммуникации. И в других коммуникативных системах имеют место аналогичные процессы. Так, появляются все новые социальные движения, формирующиеся в онлайн-сетевых сообществах и, очевидно, солидарные друг с другом в своих протестных настроениях, но лишённые какой-то объединяющей идеи (коммуникативного медиума, бинарного кода), а значит, – рационально интерпретируемой задачи или функции. Они, как правило, не имеют формальных лидеров и организационных форм администрирования, а генерируются через стихийную самоорганизацию в соответствующих сетевых интернет-сообществах, а затем выплескиваются на улицы в несетевой, физически осязаемой форме. Общество будущего – это, предположительно, сетевое общество, контуры которого еще только начинают вырисовываться [Castells, 2006].

Как системно-коммуникативная теория из своих базовых предпосылок могла бы объяснить этот новый характер современной науки? В этой связи, прежде чем представить нашу рабочую гипотезу, объясняющую за-

явленную проблему избыточности знания и функционал «научного балласта», попытаемся зафиксировать, какие постулаты СКТ подтверждаются современным состоянием научной коммуникации, а какие не проходят теста на фальсификацию, могут быть отклонены или откорректированы.

СКТ и сложность

Возрастание внутренней сложности науки, прежде всего, в форме все более многочисленных и все более развернутых описаний внешней реальности (big data) в рамках соответственно все более развернутых и специализированных дисциплин, очевидно, соответствует основаниям системно-коммуникативного подхода, который связывает функционирование систем с непрерывным возрастанием их внутренней сложности. Вопрос состоит лишь в том, почему не реализуется важнейшая функциональная задача коммуникативной системы – редукция собственной сложности ее системным бинарным механизмом: истинностной или ложностной оценкой своих описаний реальности.

СКТ и новообразованные медиа распространения коммуникаций

Появление онлайн-сетевых медиа распространения научной коммуникации, в свою очередь, соответствует базовым предпосылкам СКТ. Как правило, такие новообразования имеют следствиями так называемые «коммуникативные катастрофы». Такие катастрофы уже случались в истории человеческой коммуникации [Baescker, 2006]¹.

¹ Так, возникновение устного языка обусловило возможность сказать «нет» в отношении любого сообщения (= запроса на контакт), что генерировало социальные конфликты; развитие письменности, очевидно, разрывало непосредственные интерактивные связи, выводило коммуникацию из-под власти актуальных нормативных запретов; изобретение печати стало важнейшим фактором религиозной реформации и в целом – важнейшим условием европейского модерна со всеми его войнами и революциями; наконец,

То характерное обстоятельство, что научная статья как предложение коммуникации «анонимизируется» и в этом смысле «теряет индивидуальное авторство», в свою очередь, соответствует так называемому «антигуманистическому» характеру СКТ. Участники коммуникации рассматриваются как операторы, как посредники при рекурсивном порождении одной коммуникации другой коммуникацией, при рекурсивном порождении одного научного текста другим научным текстом. Индивиды лишь «поставляют в распоряжение систем» свою способность восприятия импульсов из внешнего мира, чего сами системы (пока) делать не научились. В каком-то смысле, «автором» научной статьи становится сама гиперкомплексная коммуникация. В этом смысле, в том числе и критикуемые авторы являются соавторами соответствующего научного текста.

Но и непосредственный первичный производитель знания («экспериментатор»), еще не получившего форму коммуникативного сообщения, в свою очередь не может получить однозначную индивидуальную идентификацию. Подчеркивая это обстоятельство, Р. Штихве цитирует слова американского физика Эдварда Торндайка: «Кто такой экспериментатор? Редко, если вообще когда-либо, это может быть один человек... Экспериментатор может быть лидером группы молодых ученых, работающих под его наблюдением и руководством. Он может быть организатором группы коллег, который берет на себя основную ответственность за доведение работы до успешного завершения. Он может быть группой, объединившейся для выполнения работы без четкой внутренней иерархии. Это может быть процесс сотрудничества отдельных лиц или подгрупп, объединенных общими интересами, возможно, даже объединение бывших конкурентов, чьи конкурирующие

электронные медиа коммуникации обусловили невиданные возможности для конкурирующих сил и центров власти оказывать влияния и захватывать аудитории.

предложения были включены в проект вышестоящим органом. Таким образом, экспериментатор – это не один человек, а совокупность. Может быть три, более вероятно, пять или восемь, возможно, целых десять, двадцать или больше. Он может быть географически разбросан по всему миру, хотя чаще всего он будет работать в одном или двух учреждениях. Он может быть эфемерным, с изменчивым и бессрочным членством, границы которого трудно определить. Он – социальное явление, разное по форме и не поддающееся точному определению» [Stichweh, 2004].

СКТ и научная рациональность

Находит подтверждение и системно-коммуникативный тезис о рефлексии или рациональности в форме «повторного вхождения» или re-entry. Наука (скажем, в лице эпистемологии или самой СКТ) способна обнаруживать сама себя в своем собственном внешнем мире и может распределять индексы ложности или истинности по отношению к тому, как эти истинные и ложные атрибуты распределяются в ее внешнем мире (в самой анализируемой науке). С точки зрения СКТ, всякое наблюдение по своему определению должно со-учитывать и со-репрезентировать (сохранять или потенциализировать) смысловые содержания, отклоненные в результате применения системных различий (например, истины и лжи) [Luhmann, 1991]. В этом плане ошибки, заблуждения, ложные утверждения, опровергнутые теории получают «рефлексивное значение», что хотя и останавливает научный процесс, но запускает механизмы рекурсивного самоанализа или наблюдения второго порядка, способного сосредоточиться как раз на том, что было отклонено, и в чем причина допущенных заблуждений. Так, многие научные сообщения или теории (скажем, знаменитая программа Проута), отклоненные как недостаточно обоснованные, со временем оказались востребованными [Лакатос, 2003: 284].

Однако возникает вопрос, почему же огромные

массивы научных предложений оказываются вне области наблюдения или рефлексии? В данном случае СКТ, на наш взгляд, должна найти возможность объяснить воспроизводство огромных массивов невостребованного научного знания. С одной стороны, они пребывают в «потенциализированном» состоянии и ждут своего часа, чтобы быть оцененными на предмет их истинности или ложности. С другой стороны, почти невероятно, что когда-то к ним обратятся. Они словно выключены из процесса эволюции науки, о чем свидетельствует следующий тезис СКТ.

СКТ и эволюция науки

Системно-коммуникативная интерпретация эволюции науки предполагает усиление вариативности научных предложений (сумасшедших идей, идиосинкразий, рабочих гипотез, инсайтов и интуитивных прозрений), которое, как мы зафиксировали выше, образует первый механизм отбора знания. Затем в ходе реализации последующей эволюционной селекции (второго механизма эволюции – на уровне рецензирования и отбора журнальных публикаций, а также в процессе последующего критического разбора в других журнальных публикациях) означенные вариации отклоняются как ложные или акцептируются как истинные [Луман, 2017].

Однако и здесь возникает вопрос. Почему большинство вариаций просто не достигают соответствующих фильтров кодирования или отбора. Вопрос об их истинности или ложности как таковой даже не ставится. Производство научного продукта работает вхолостую, что, на наш взгляд, пока не находит объяснения в СКТ. При этом массивы избыточного научного предложения на рынке научных публикаций стремительно нарастают, что усугубляется специфической научной «демографией»: каждые 15 лет число ученых удваивается, и сегодня в науке занято живых ученых больше, чем было за всю историю развития науки до конца XX в. Если тренд сохранится,

что, конечно, невероятно, то к середине столетия все население планеты будет состоять из исследователей.

СКТ и бинарное кодирование в медиуме истины

Очевидно, что невостребованные научные публикации не кодируются ни как истинные, ни как ложные; они не получают и характерного для науки третьего значения – значения проблемы (т.е. отложенного, еще не истинного и не ложного знания). В каком-то смысле кристаллизуется обобщающее четвертое кодирование научного знания (как забытого или, наоборот, защищенного от забвения), что в чем-то воспроизводит «архаическую» трактовку истины, предложенную Мартином Хайдеггером [Хайдеггер, 1991: 8–27].

Безусловно, эта гипотетическая коммуникативная катастрофа (как и все прежние катастрофы), грозящая сбоем в системообразовании и функционировании бинарного кодирования (отклонения или акцептации системных операций), преодолевается в эволюции самой научной коммуникации, подбирающей для себя наиболее оптимальные пути своего воспроизводства. Так, уже сегодня постепенно отказываются от того, чтобы считать монографию первичным предложением или выражением научной коммуникации – научной операцией как элементарным событием научной системы. В качестве такой событийной единицы знания или элементарной коммуникативной операции сегодня практически утвердилось научная статья, сведенная к единому тезису, допускающему его однозначную верификацию (и как следствие – акцептацию или отклонение). Напротив, в более объемных научных трудах присутствует чрезмерно много смысловых содержаний, чтобы можно было привести их к некоторому единству, форме, допускающей коммуникативный ответ «да» или «нет», что в позитивном случае делало бы возможным подсоединение подключающихся операций. Монография, если она претендует на внутреннюю консистентность, представляет собой некую итоговую кодификацию знания (парадиг-

му) и манифестирует третий эволюционный механизм: стабилизации корпуса идеи как мишени для новых вариаций и инноваций.

СКТ и структурные сопряжения между системами

Одним из решений проблемы возрастающей сложности и проистекающей из нее избыточности знания явилось структурное сцепление науки с бизнесом, прежде всего, с издательствами и агрегаторами научных текстов (Web of Science, Scopus, РИНЦ и многие другие). Последние взяли на себя задачи дисциплинарно-распределенной аккумуляции научных достижений и статистической оценки их востребованности. Именно в рамках этой индустрии создаются сетевые электронные платформы, предлагаются бизнес-услуги (на наукометрической основе) по фильтрации и оценке не только научных текстов, но и научных и образовательных институтов, лабораторий, исследовательских траекторий ученых, научных журналов, исследовательских тематик и грантовых проектов. Эти электронные платформы и задействованные в них эксперты от науки представляют новые инстанции отбора лучшего и наиболее востребованного знания. При этом самореференциальным образом репутационно ранжируются, индексируются и в конечном счете «отбираются» в том числе и сами классические фильтры отбора знания, а именно – научные журналы. Именно это (отчасти) решает проблему переработки внутренней сложности научной коммуникации: благодаря этому структурному сцеплению науки и сетевой индустрии невероятность прочтения и бинарного кодирования новых текстов переводится в вероятность.

СКТ и сравнительный анализ коммуникативных систем

Методологическую основу СКТ составляет сравнение функциональных решений общественных про-

блем в аспекте того, как они осуществляются различными системами. В этом смысле «рынок» научных публикаций во многом действительно воспроизводит структурные свойства и динамику экономических рынков, где товары либо приобретаются в медиуме денег, либо отклоняются (со всеми следствиями в виде затоваривания и инфляции). В этом контексте «затоваривание текстов» на публикационном рынке и заметная «дефляция истины» (общественное недоверие к результатам научных исследований и проистекающий отсюда так называемый «дениализм») могут сравниваться с функционированием экономического рынка. В результате такого рода «рыночных отношений» генерируется специфический медиум научной коммуникации или комбинаторный потенциал для конструирования и предложения все новых текстов. И все-таки в силу выключения части текстов из «текстового обращения» возможности этого медиума, очевидно, реализуются не в полной мере: тексты пылятся в библиотеках, на жестких дисках, а сегодня – в облачных системах.

Рабочая гипотеза: верификация СКТ и решения проблемы научного перепроизводства знания

Какой же коммуникативный смысл можно найти в перепроизводстве научного знания, невостребованного в научной коммуникации? По своему объяснительному значению ответ на этот вопрос близок решению, которое было предложено в рамках СКТ в отношении проблемы генерации избыточных смысловых содержаний в коммуникации в целом. Какой коммуникативный смысл состоит в том, что каждому высказыванию о мире соответствует его языковое отрицание, делающее возможным дублирование описываемой реальности? Языковая частичка «нет», отвечающая за языковую потенцию отрицания (и одновременно конструирования) реальности, имеет очевидный социально-эволюционный смысл, состоящий в умножении пула вариативности коммуникативных сообщений, в запуске начального механизма варьирования

(= изменчивости, инновативности) коммуникативного процесса. Мы, следуя этой логике, попытаемся дать позитивный ответ на вопрос об эволюционной функции перепроизводства научных текстов.

Итак, наша рабочая гипотеза состоит в том, что перепроизводство научных сообщений является эпифеноменом, связанным с рядом эволюционных преимуществ или выгод, которые приносит такая на первый взгляд «ресурсно-расточительная» коммуникация в общую оптимизацию научного процесса. Так, на наш взгляд, науке «эволюционно-выгодно» держать наготове огромное количество специфическим образом натренированных и ориентированных сознаний. Этот массив сознаний словно компенсирует то обстоятельство, что у науки (в отличие от других коммуникативных систем) нет специфической «ролевой асимметрии», а следовательно, – отсутствует внешняя публика или аудитория, воспринимающая и понимающая ее достижения.

В качестве своего рода компенсации «невостребованные ученые», создавая внутринаучное «общественное мнение», обеспечивают научную публичность и в этом качестве являются ключевым фактором (но не актором!) «научно-организационных» решений и научной политики. Воспринимая и усваивая новейшую научную информацию, эти исследователи реализуют «активное право» отбирать достойных представителей науки: своими сетевыми реакциями (лайками, скачиваниями, репостами, прочтениями, цитированиями, рекомендациями, сетевыми рецензиями) именно они обеспечивают количественные распределения и «присвоения» научного влияния и репутаций (институтов, проектов, лабораторий, исследователей). В этом смысле именно они «трансформируют» научные сообщения в научные достижения, а их миссия состоит в осуществлении «представительной демократизации» науки. В своей совокупности они образуют «инстанцию отбора» (или второй эволюционный механизм), который обеспечивает (сегодня главным образом онлайн-сетевую) оценку

достижений лидеров науки.

Одновременно эта «внутренняя научная аудитория» обеспечивает реализацию еще более важной коммуникативной функции. Благодаря ей фронтальные исследования получают адекватную и полноценную научную рефлексию и освящение, и в этом смысле – подлинную публичность научных достижений. Их тысячекратное прочтение и анализ обеспечивает то, что ошибки, небрежности, подлоги, слабая обоснованность или неоригинальность не пройдут незамеченными для научной репутации лидеров науки.

Из нее же главным образом рекрутируются отряды «внутренней научной полиции» [Bruner, 2013], проводящие «научные чистки» и избавляющие науку от недостойного компонента. В нашей стране данную функцию «научной полиции» до недавнего времени обеспечивали такие научные сетевые сообщества, как «Диссернет», «Диссеропедия», «Общество научных работников», «АНРИ», интернет-газета «Троицкий вариант». Посредством этой аудитории, которая институциализируется в сетевых сообществах как самонаблюдающая инстанция, наука «дрессирует» саму себя, требует от исследователей покинуть пресловутую «зону комфорта». Ведь теперь решения о замещении научных позиций и судьбах научных проектов основываются на «объективных показателях», а не зависят целиком и полностью от произвола и круговой поруки соответствующих «коллегий» (ученых советов, диссоветов и конкурсных комиссий), члены которых всегда более-менее благосклонно настроены к своим конкурсантам и заинтересованы во взаимной позитивной оценке на следующих заседаниях. Все это значительно усиливает конкурентность, критичность и общую агональность научной коммуникации.

Итак, мы связываем процесс производства избыточного знания с мобилизацией восприимчивости науки в целом. Активация огромного числа «чувствилищ», оснащенных научным оборудованием и компетенция-

ми, делает возможными невиданные масштабы переработки – внешней и внутренней – научной информации. Соответственно, данная функция реализуется, распадаясь на ино-референциальную и само-референциальную задачи. Так, с одной стороны, создается гигантское чувствилище для улавливания и описания сверхсложного внешнего мира науки, генерации big-data (бесчисленных описаний видов микроорганизмов или бесчисленных звезд), не требующих при этом непосредственного коммуникативного ответа или акцептации со стороны других ученых в виде критики или цитирования. С другой стороны, этот класс исследователей посредством их онлайн-сетевых реакций наблюдает и фиксирует внутреннюю сверхсложность научной коммуникации, получающую генерализированное выражение в индексах влияния, научных репутациях и определении качества научного труда.

Библиография (3.2):

- Гуссерль Э. Феноменология // *Логос*. 1991. Вып. 1. С. 12–21.
- Лакатос И. *История науки и ее рациональные реконструкции*. М.: АСТ, 2003. С. 5–40.
- Луман Н. *Эволюция*. М.: Логос, 2005.
- Луман Н. *Истина, Знание, Наука как система*. М.: Логос, 2015.
- Луман Н. Эволюция науки // *Эпистемология и философия науки*. 2017. № 2. С. 215–233.
- Хайдеггер М. *О сущности истины* / Пер. с нем. З.Н. Зайцевой // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 8–27.
- Antonovskiy A.Y., Barash R.E. “The Evolutionary Dimension of Scientific Progress” // *Social Epistemology*. DOI: 10.1080/02691728.2021.2000662. Published online: 28 Nov 2021.
- Baecker D. Niklas Luhmann in the Society of the Computer, Cybernetics & Human Knowing: A Journal of Second-Order Cybernetics, *Autopoiesis, and Cyber-Semiotics*. 2006. Vol. 13 (2). Pp. 25–40.
- Brunner J. Policing Epistemic Communities // *Episteme*. Vol. 10 (4). Pp. 403–416.
- Bühl W.L. *Einführung in die Wissenschaftssoziologie*. München: Beck. 1974.
- Campbell D. Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Processes // *Psychological*

- Review*. 1960. Vol. 67 (6). Pp. 380–400.
- Castells M. *The Theory of the Network Society*. MPG Books Ltd, Bodmin. Cornwall. 2006.
- Jaffe A. Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power // *Language in Society*. 1993. Vol. 22 (1). Pp. 154–157.
- Lovelock J. *Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence*. London: Penguin Books, 2019.
- Luhmann N. *Wissenschaft der Gesellschaft*. Berlin, Germany: Suhrkamp, 1991.
- Meho L.I. The Rise and Rise of Citation Analysis. *Phys. World*. 2007. Vol. 20 (1). Pp. 32–36.
- Merton, R.K., Barber, E. *The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- Ridley M. *Evolution*. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2004.
- Stichweh R. *Wissenschaftler. Der Mensch des 20. Jahrhunderts*. Magnus Verlag, 2004.

Глава 3.3. Философия в коммуникативном измерении

О способности философии к универсальному суждению

Свой тезис мы начнем с обозначения проблемы. Нам представляется чрезвычайно странным и требующим объяснения то обстоятельство, что в наше время, в век дифференциации, специализации и профессионализации, все еще существует претендующая на научность дисциплина, способная на универсальное суждение. Под способностью к универсальному суждению мы понимаем способность философов наблюдать природу, общество, сознание¹ (инореференция) и одновременно рефлексировать свою способность к наблюдению природы, общества и сознания (самореференция)². На такую наблюдательную широту в современном мире может претендовать только один наблюдатель. Но как удалось сохраниться этому «динозавру» в мире, где требуется, финансируется, реферируется в публикаци-

- 1 Примерами служат универсальные суждения о том, что все означенные области подчиняются универсальным законам (а не локальным случайным генерализациям), что мир (не) познаваем, мир (не) детерминирован, мир имеет структурные уровни (формы движения, уровни сложности и т.д.), мир имеет зернистый субстрат (атомы, действия, коммуникации, клетки и т.д.), мир эволюционирует на основе инвариантных для всех его уровней эволюционных механизмов мутации, отбора, закрепления признаков в популяциях и т.д.
- 2 Как видно, означенная универсальность предполагает сочетание ино- и самореференции. Такого сочетания, очевидно, избегают другие генерализирующие наблюдатели (морализаторы, теологи, политики и т.д.). Так, моральное суждение, очевидно, не является универсальным, ведь оно не утверждает и не ставит самореференциального вопроса о том, почему сама мораль (если ее понимать как разделение всех поступков и мыслей на моральные и аморальные, благие и дурные) должна являться благом. Почему, собственно, ведь равно возможны два варианта. Вместо этого морализаторы ищут другие обоснования моральности морали – например, в тайнах и моральных установлениях религии [Луман, 2005: 54-76].

ях и образовательном процессе, главным образом, высокоспециализированное знание?

Метод

Для объяснения этого феномена, очевидно, требуется его так или иначе описать. Будем исходить из коммуникативного понимания науки и философии [Луман, 2017; Пружинин, Касавин и др., 2017], т.е. рассматривать его в одной плоскости с самыми разными – конкурирующими – способами коммуникации (наблюдения³). Вопрос состоит в *differentia specifica* именно философской коммуникации, противостоящей и отличающейся от всех остальных – внешних для философии и науки – типов дискурса, образующих контекст и зачастую особый предметный интерес философии.

Если это так, то следуя идеям позднего Витгенштейна, мы можем понять общественную и научную миссию философии, если рассмотрим универсальный философский контекст (прежде всего, общество и его коммуникативные системы) как некое противопонятие к понятию философской коммуникации. Другими словами, миссию и смысл существования современной философии (и науки как ее «материнской» коммуникативной системы) мы будем объяснять через внешний и смыслообразующий (по Витгенштейну) коммуникативный контекст современной философии.

В первой части мы сформулируем «негативные условия возможности» философии как универсального наблюдателя (где миссия философа определялась бы негативно, т.е. через то, чем философская коммуникация не является). Во второй части мы попробуем сформулировать позитивные условия возможности такой

- 3 Под наблюдением и наблюдателем мы понимаем различающую и обозначающую коммуникацию, поскольку, по крайней мере, в одной своей способности (обозначать тему разговора и отличать ее от не относящегося к теме контекста) она ничем не отличается от свойств психического восприятия или наблюдательной способности индивида.

философии. И попытаемся обосновать, что философ в современном обществе одновременно выступает в амплу ученого, художника и протестующего.

Философия и ее смыслообразующий коммуникативный контекст

При определении внешней коммуникативной среды, в которую погружена философия и от которой она себя – как наблюдатель – в своей очень специфической коммуникации старается отграничить, в первую очередь обращает на себя внимание гетерогенность, многополярность и полицентричность этого коммуникативного контекста. Поэтому более осмысленно говорить о полицентричной коммуникативной среде. Какие же центры образуют означенный коммуникативный контекст философского интереса?

Со времени Николая Кузанского мы знаем, что у Вселенной вообще нет центра и человек, образуя своего рода микрокосм, по крайней мере в своих притязаниях на «центральность», вполне сопоставим с макрокосмом, с которым он выстраивает некие отношения подобия. Эту же мысль можно выразить по-другому: с точки зрения равноправия систем отсчета (= наблюдения), положение центра определяется некоторым данным положением наблюдателя или системы, и в этом смысле количество центров определяется количеством наблюдателей. Поскольку количество наблюдателей, в качестве которых выступает как любое конкретное сознание, так и любая, в том числе и случайная, и спонтанная, коммуникация, поистине безгранично, приходится искать влиятельных и глобальных¹ наблюдателей. Может быть, именно они и образуют мировые центры наблюдения, способные соз-

давать описания мира и принуждать к их акцептации? Именно по отношению к ним можно было бы определить и положение философии, которая, в свою очередь, способна предложить альтернативное мироописание.

Полицентричность властных центров

Конечно, такими глобальными или универсальными наблюдателями, которые формируют самоописание современного общества, на первой взгляд являются мировые политические системы коммуникаций. Эти системы часто используют семантику государства, как символа или ориентира политического общения. «Все для блага государства», утверждают они. И эта формула, в свою очередь, выглядит вполне универсальной. В отношении всего, что делается и говорится, даже в отношении к любому философскому тезису, этот все-сильный наблюдатель (или политическая система) способен заставить учитывать государственный резон. Политические центры наблюдения претендуют на универсальный характер своих наблюдений, поскольку предметом коллективно-обязательных решений (= наблюдения политики) может стать любая другая коммуникация (научная, хозяйственная, интимная, религиозная и т.д.). Однако эта универсальность обманчива, т.к. она маскирует узкофокусированную линейную перспективу наблюдения из этого мирового центра. Эта универсальность политического наблюдения, как будет показано ниже, не сопоставима с наблюдательной универсальностью философии.

Насколько валидны универсальные притязания политических наблюдений? Способны ли они заместить собой все остальные возможности наблюдения? Очевидно, что в современном обществе любое притязание того или иного центра силы на создание стандартов общения (норм, ценностей, стандартов понимания и интерпретаций событий, коллективно-обязательных решений) всегда могут быть поставлены под вопрос или

¹ То есть таких, результаты наблюдений которых снабжались бы некими индексами обязательности (истинности, необходимости, обязательности к восприятию, реагированию или исполнению другими наблюдателями, опасности для других наблюдателей и т.д.). Очевидно, не всякий наблюдатель располагает такими возможностями.

оспорены другими наблюдателями без каких-то серьезных последствий для такого гипотетического деликвента. И в рамках научной коммуникации именно философская коммуникация, видимо, специализируется на релятивизации всех остальных претензий на примат и исключительность собственных наблюдений.

Из этого тезиса о наблюдательном превосходстве и универсальности философской коммуникации, способной сочетать самореференциальный и инореференциальный характер наблюдения, как нам кажется, проистекает функция (в том числе и политической) критики как важная составляющая миссии философа в полицентричном мире. Ведь ни у одной другой наблюдательной инстанции не обнаруживается таких высоко развитых стандартов скепсиса. В этом контексте смысл и миссия существования философии действительно отчасти задаются ее критикой политических институтов и политических наблюдений (или решений)¹.

И все-таки внешний смыслоопределяющий контекст существования философии не может определяться через центры власти. Для философии власть перестала служить главным вызовом и мотивом², через который она себя негативно или «апофатически» понимала прежде, создавая утопические теории общества по образцу

демократического устройства своей материнской системы научной коммуникации³. Кроме того, в современном мире политические описания общества непрерывно «переописываются» и другими – конкурирующими с философией – центрами коммуникации (наукой, искусством, литературой⁴). Именно поэтому политическая коммуникация в современном обществе уже не может претендовать на приоритет, идентифицировать себя с коммуникацией как таковой, служить образцом и нормативным стандартом для иных стилей общения.

Дифференциация полицентричного мира как условие его жизнеспособности

Сегодня является очевидным фактом, что состояние современного общества определяется как предельно дифференцированное – коммуникативно и профессионально. Можно сказать, что современное общество живет относительно бесконфликтно и устойчиво воспроизводится в силу такой распределенности на локально-центрированные коммуникации: наука не стремится к решению вопросов веры; политика не определяет истинность научных предложений и цены в хозяйстве,

1 Обращает на себя внимание, что в современном обществе появились огромные локальные пространства, неподвластные коллективно-обязательным (= политическим) решениям. Речь идет, например, о персонально-конструируемых биографиях, о жизненных стилях [Гиденс, 2003], о сферах удовольствий и индивидуальных потребностей, не в последнюю очередь, о сфере – в том числе профессиональных – интересов, об области интимных предпочтений и, конечно, о науке, включая и философию (ведь истину нельзя принять посредством решения), и о много другом, а в современном обществе, в первую очередь, о социальных сетях как средстве коррекции наблюдательного дефицита политической системы.

2 Этому тезису не противоречат известные попытки прояснить связь истины и власти в социально-эпистемологической рефлексии (назовем лишь некоторые) [Bloor, 2005; Foucault, 1979; Kasavin, 2017]. Исследовательский интерес ученых – это одно, а самопонимание философией себя через внешний политический контекст – это нечто другое.

3 «Утопии» (Т. Мора, Т. Кампанеллы и т.д.) представляются сегодня инореференциальными наблюдениями и реакциями философской коммуникации на политическую систему и ее притязания. Параллельную самореференциальную реакцию представляют проекты создания всевозможных «республик ученых» (как пример *Respublica literaria*, управляемая своими «генеральными прокурорами» и принципами [Miller, 2000]). В этом случае уже само научное сообщество «выстраивает» себя по образцу научно-откорректированной политики. Позднее, идею «научного союза» в роли интегратора «распадающегося» общества утверждает Фридрих Шлейермахер: «Нигде, кроме научного дела, так глубоко не проявляется сообщество, в котором должны состоять государства» [Шлейермахер, 2018: 345].

4 Которые затем вновь из этих «переописаний», согласно принципам «двойной герменевтики» Э. Гиденса [Гиденс, 2003], возвращаются в научное описание общества. Парадным примером служат идеи прогресса Льва Толстого, ставшие методологическим аргументом знаменитого манифеста Макса Вебера «Наука как призвание и профессия» [Weber, 2017; Kasavin, 2019; Касавин, 2019].

а хозяйство не определяет коллективно-обязательных решений и не покупает должности. Поэтому «пробоина в одном отсеке» (скажем, религиозные controversy и конфликты¹) не приводит к утрате общей плавучести «общественного корабля». Ушли в прошлое войны за инвестиру между политикой и религией. И религия больше не вмешивается в научные наблюдения. Таково определение «полицентрического мира» в его самом простом коммуникативном понимании.

Полицентричные идеологии

Тем не менее все вышеозначенные коммуникативные центры, очевидно, выказывают мировоззренческие притязания и пытаются навязать примат собственной наблюдательной оптики, по крайней мере, для своих адептов. Политика формирует политическую идеологию. Хозяйство – в рефлексии экономистов переносит экономическую калькуляцию прибылей и издержек на коммуникативную стратегию всякого человеческого поведения, как это имеет место в неопутиларизме. Система интимных коммуникаций (любовь, дружба) обеспечивает свое воспроизводство на основе гендерных идеологий. Наука формирует мировоззрение критицизма, скептицизма и фальсификационизма, на которых, собственно, и специализируются ее особая подсистема с функцией рефлексии – т.е. философия (науки). Собственно, философия всегда корректировала наблюдательный дефицит других глобальных наблюдателей. Она обличала, дополняла, подсказывала политике (Платон), проясняла смысл научных понятий (случай У. Хьюэлл² и вся аналитическая философия), проясняла вопросы веры («Теодицея» Лейбница).

1А если это происходит (как, например, в случае политического ислама или отечественной идеологизации православия), то это свидетельствует о недостаточной коммуникативной дифференцированности, т.е. о незрелости соответствующего общества и как следствие – о его уязвимости.

2О такой философской корректировке понятий Хьюэллом см.: [Касавин, 2019: 23-33]

Новый наблюдатель

в современном полицентричном мире

Но в начале этого столетия на авансцену мирового общества вышел новый игрок или новый наблюдатель. Речь идет об искусственном интеллекте, который среди прочих своих воплощений (интернета вещей, автопилотируемых механизмов и т.д.) материализовался в виде социальных сетей. Фактически возник квазисубъект, способный к принятию несознательных неререфлексивных решений на основе программных механизмов. Эта коммуникативная система оформилась, прежде всего, как социально-сетевая система протеста. Она взяла лучшее у так называемых новых социальных движений (60-гг.), а именно горизонтальные, «ризоматические» структуры управления. Она избавилась от недостатков организованного администрирования на основе харизматичного и формального лидерства, бюрократии, формального членства, боссизма, nepoтизма и других ограничений, свойственных организациям. Благодаря своего рода искусственным нейронным сетям решила главную проблему неорганизованного управления – координацию коллективного действия – и приступила к свержению господства политических систем (Арабская весна, Российский протест, Движение «Оккупай Уолл-стрит», Движение «Желтых жилетов», испанские «Индигнадос» и т.д.).

Фактически коммуникативная система социальных сетей стала непобедимой. Ведь ее нельзя распустить, т.к. она не основана на формальной организации членов, ее невозможно запугать, так как она основана на страхе за другого, на общем алармизме, и любая репрессия и тематизация опасности лишь умножает общий алармизм, подпитывая эту систему. Наконец, ее лидеров нельзя подкупить или арестовать, т.к. у нее нет лидеров, у нее нет центра принятия коллективных решений, а при этом способность к принятию коллективных – и при этом вполне рациональных – решений у нее, очевидно,

сформирована. Причем в отличие от административных решений коллективные решения социальных сетей предполагают внутреннюю мотивацию участников протеста и не требуют принуждения, насилия, идеологического внушения или ссылки на обязательность закона¹.

Может ли философия определить себя «негативно» через социально-сетевой коммуникативный контекст? Многие эмпирические исследования показывают особую роль философии (репрезентированной в Сети, как правило, блогами публичных интеллектуалов, которые, собственно, специализируются на функции так называемых информационных брокеров, на роли сетевых публичных интеллектуалов, которые словно «обеспечивают» сетевую коммуникацию сознанием и рефлексией [González-Bailón, Wang, 2016 : 95–104]. Их функция состоит в «наведения мостов» между разрозненными сетевыми сообществами и преодолении «сетевых разрывов». Они словно обеспечивают рефлексией нерефлексивные сетевые системы, в чем и состоит еще одна компонента миссия философа (и ученого) в современном сетевом обществе.

¹Появление нового актора доказало и так очевидное всем. А именно то, что эти коммуникативные центры или коммуникативные системы основаны на программных алгоритмах, которые организуют коммуникативные вклады участников этих систем. Здесь я солидаризировался бы со В.С. Степиным, который понимал традицию и культуру как особого типа программы. Такие эффекты прежде описывались в метафорах «невидимой руки рынка», «органической солидарности» и т.д. Вырваться из этой «матрицы» и в дотехнологическую эпоху было невозможно. Всякий участник политической системы вносил в нее свой «коммуникативный вклад» лишь в том случае, если реализовывал ту или иную программу: «подчиняйся высшей власти, подчиняй низшую, не обращай внимания на остальное». Предприниматель в свою очередь реализовывал программу «покупай, когда цены падают, продавай, когда цены растут». И исследователь не мог избежать алгоритма «формулируй теорию, проверяй ее методологически, а метод формулируй на основе теории».

Миссия философа в смыслоопределяющем контексте системы науки

Наш тезис состоит в том, что никто из приведенного реестра коммуникативных центров не способен на универсальные наблюдения и суждения, т.е. на такие суждения, которые не были бы обставлены теми или иными предметно-тематическими и временными ограничениями. Ведь даже и наука как материнская коммуникативная система философии ограничена условиями, накладываемыми профессионализацией и специализацией. Стандартный научный проект (и по грантам, и по госзаданиям) должен быть завершен в течение 3–5-ти лет, безразлично, успешно или нет. Как ни странно, и ученый оказывается парализованным в своих притязаниях на универсальное миропонимание. Чтобы заявить о некоторой нетривиальной идее, ученый должен слишком много знать. Ему следует прежде изучить в пределе все точки зрения на данный предмет, и лишь так он может доказать профессиональность и добиться научного успеха в обосновании новизны своего тезиса.

Однако научный успех может быть измерен только в ограниченных временных интервалах. Такие требования накладывает организация современной науки, в которой ученый, словами Макса Вебера, выступает «наемным работником государственно-капиталистической корпорации» [Вебер, 1990; Касавин, 2019; Антоновский, 2018] и заключает так называемый эффективный² контракт. Последним универсальным научным проектом, по моим сведениям, был социологический проект Никласа Лумана, который в течение всей жизни создавал универсальную теорию общества, теорию социальных систем, теорию социальной эволюции и ряд других универсальных концептов.

Итак, означенные ограничения на научные выска-

²То есть ограниченный определенным временным периодом, в конце которого требуется зафиксировать и отчитаться об успехе.

звания не позволяют ученому сделать универсальное суждение – универсальное по объектам и универсальное по времени. Кажется, что ученый не способен представить мир в его сложности, целостности и единстве, поскольку его наблюдения профессионально дифференцированы. Ровно 100 лет назад это явным образом сформулировал Макс Вебер в своем памфлете «Наука как призвание».

Так, математик и астроном видят мир, состоящий из треугольников или правильных многогранников¹, а в Новое время ищет «подлинные пропорции»². Филолог видит мир, состоящий из семантических артефактов, где слова предстают либо бирками от вещей (Л. Витгенштейн), либо семантическими артефактами, за которыми не стоит ничего (Ф. де Соссюр), кроме смыслов. Но именно поэтому языковые формы оказываются самодостаточными и образуют особую семантическую реальность, которая потом понимается как субстанция общества (Н. Луман). Социальный теоретик видит мир и природу как схватку стихий (властей, классов, элит) и т.д. И упорядочивающую силу научных законов уподобляет законам права или обычая³. А физикалисты (от бихевиариста Дж. Хоманса до неопозитивиста Дж.А. Ландберга [Lundberg, 1947]), напротив, видят общество, выказывающее номотетические зависимости, на манер физических законов.

Дисциплинарно ограниченные исследователи, переключая фокус собственных наблюдений на другой предмет, либо продолжают исходить из своих дисциплинарных стандартов, либо просто переходят на на-

блюдательные позиции других дисциплин. Так, биолог видит общество в микроскоп, а астроном видит общество в телескоп.

Но не только это ограничивает широту наблюдения ученого и его возможности в формулировании универсального суждения. Современный ученый, прежде всего, одержим критикой, живет в среде критики и существует благодаря критике. Именно критика делает возможным так называемую *scientific self-policy*⁴. А значит, никакое общество никогда не станет для него фактически «хорошим обществом». Ведь любое состояние может быть подкорректировано, улучшено или отклонено. В этом смысле, ученый не может претендовать на то, чтобы универсализировать собственную нормативность (прямой демократизм и безудержный критицизм), т.е. навязывать остальным сообществам, поскольку в этом случае рухнут последние табу, цементирующие общество.

Каков же выход? Означает ли это, что никакой миссии у ученых не может быть дефинитивно? И настоящему ученому суждено замкнуться в своей лаборатории, заниматься своей специализированной сферой и даже свои политические взгляды и ценностные предпочтения, как этого требует веберовский ригоризм, он должен оставить при себе и не предъявлять окружающим?

Выход, вероятно, в том, чтобы в самой этой «губительной» специализации и дифференциации найти средство, которое укажет ученому выход из собственной «Башни из слоновой кости» и позволит ему оглянуться по сторонам. Как говорил герой «Кавказкой пленницы», «тот, кто нам мешает, тот нам поможет». Здесь важно, что именно эта пресловутая научная специализация и профессиональная дифференциация, собственно, и при-

⁴Именно эта *self-policy* и обеспечивает самодостаточность научного сообщества как организации и коммуникативной системы. Именно она регулирует инклюзию и эксклюзию в научной среде, даже если последние решения об этом и принимают ВАКи и другие госорганы. О том, почему научная *self-policy* столь эффективна в сравнении с «внутренней полицией» других профессий, см.: [Hull, 1988].

¹Пример Иоганна Кеплера здесь особенно характерен.

Подробнее о «пифагорейской вере» Кеплера в его «Mysterium Cosmographicum» [Barker, Goldstein, 2001: 88-113].

²См. примечательную эволюцию многократно подтвержденного закона Тициуса – Боде, согласно которому расстояния планет от Солнца соотносились с членами геометрической последовательности «3, 6, 12, 24 ...» [Ньето, 1976].

³Именно в этом смысле можно понимать отказ от каузального понимания мира Дэвидом Юмом.

вели к тому, что внутри замкнутой системы научных коммуникаций отдифференцировалась особая подсистема с функцией рефлексии¹. При этом способность к универсальному суждению сама философия пока не утрачивает.

В этом смысле то, что философия до сих пор сохраняется в структуре научных институтов, далеко не случайность. Недоброжелатели и коллеги-ученые (конкуренты за финансирование) могут сказать, что это не заслуга философов, а недоработка чиновников и следствие культурной инерции. И все-таки это было бы слишком простым объяснением. Ведь у философов есть свое алиби. Только они, сами являясь продуктом дифференциации, специализации и профессионализации, сохранили способность к универсальному суждению как свою специальную функцию.

При этом философ, конечно, остается дилетантом в области научных теорий, но именно поэтому он и способен сказать больше, чем ученый. Исключительную роль дилетантов в науке невозможно переоценить (об этом в свою очередь утверждал Вебер в своей речи²).

Однако всякое универсальное суждение возможно не столько в модусе позитивного утверждения, а, скорее, в модусе отрицания, некоем апофатическом стиле. Безусловно, у философов меньше фактических знаний, но это означает и то, что запреты на некоторые исследовательские ходы для философов не абсолютны³.

1По отношению к науке она определяет себя как «теория познания» или эпистемология, а по отношению к другим коммуникативным центрам она структурно дифференцируется в соответствии с дифференциацией (1) общества профессий и (2) структуры внешнего мира общества, скажем, на философию языка (профессия филологов), философию сознания (профессия психологии и психика как внешний мир коммуникации), онтологию (всю ту же философию природы как внешнего мира коммуникации) и т.д.

2«Как раз дилетантам мы обязаны многими нашими лучшими постановками проблем и многими познаниями» [Вебер, 1990: 730].

3Прежде всего философ видит, что истина – это не только символ обоснованного знания, это еще и коммуникатив-

Философ менее критичен, чем ученый, но он и более критичен, чем ученый. Он формулирует гиперкритические и гиперскептические стандарты наблюдения, которые и не снились ученому. Там, где ученый фиксирует всего лишь данные собственного восприятия, там философ постулирует гипотетические «мозги в бочке» [Патнем, 2002], явно избыточные в контексте научного гипостазирования.

И в этом состоит еще одна составляющая миссия философа – дистанцироваться от науки как от внутреннего внешнего коммуникативного мира и смыслообразующего контекста философии⁴.

Промежуточные выводы:

Итак, универсальное научное суждение о природе, обществе и сознании, притязание на создание «теории всего» представляется, скорее, невероятным по целому ряду обстоятельств.

Во-первых, в условиях временного давления и отчетных требований, предъявляемых к профессии учено-

ный код науки, обеспечивающий инклюзию и эксклюзию в научное сообщество. И в этом смысле истина – коммуникативна, а не объективна. Для ученого это обстоятельство и эта нормативно-коммуникативная роль истины остаются слепым пятном. Так, ученый может отклонять идею флогистона, но философ, оставаясь ученым, способен увидеть некую «сермяжную правду» в том числе и в этом – ложном для ученого – концепте.

4Если философию мы будем понимать как наблюдателя, способного к универсальному суждению, то решается известный парадокс Мертона – Поппера [Merton, 1973]. Если ученый занимает позицию фальсификационизма (согласно которому ни одна теория не считается истинной, а является лишь правдоподобной), то и к фундаментальным ценностям общества должны предъявляться такие же требования исключительно временной валидности тех или иных основ консенсуса и их априорной недостоверности. В этом смысле фальсификационизм фальсифицирует все, а значит, подрывает общественные (и в этом смысле свои собственные, научно-коммуникативные) устои. Однако философ (по крайней мере, тот, кто придерживается системно-коммуникативного понимания философии) все-таки сохраняет означенный постулат коммуникативного характера общества (а значит, и научного сообщества).

го. На это у государственно-капиталистической организации, коей в наше время является наука, нет достаточно денег и времени. Поэтому практически нет журналов, посвященных таким экзотическим по нашим временам универсалистским тематикам. Во-вторых, не существует разработанного языка, в терминах которого можно сделать такие всеобщие наблюдения. И наконец, не должно было бы существовать – в условиях высокодифференцированного общества – также и сообщества, способного на такие высказывания. Ведь всякий наблюдатель ангажирован своей «центральной» системной точкой зрения, своим собственным медиа (власти, денег, веры, истины), и какие-то глобальные внешнемировые референты (прежде всего, человек и природа как большие, сложные и единые комплексы) для него гораздо менее значимы, чем успех в своей отдифференцировавшейся коммуникативной системе. И все-таки профессиональное сообщество с такими универсальными притязаниями – фактически и эмпирически – существует и даже получает, по некоторым меркам, неплохую зарплату. Это требует объяснения. Попытаемся ответить на вытекающий методологический вопрос, как вообще возможно универсальное суждение и как возможна такая самовалидация философии в современном мире.

Самообоснование философии. Принцип «значимой тавтологии», или Как возможно универсальное суждение?

Выше мы попытались определить миссию философии через внешний для нее коммуникативный контекст. Но возможно ли также и позитивное определение философии исключительно как философии, не через что-то «другое», а исключительно через нее саму? Ведь со времени Куайна мы знаем, что любое аналитическое определение всегда обременено эффектами синонимии, а следовательно, тавтологии и бессодержательности. Мы, тем не менее, полагаем, что как минимум некоторые тавтологии или предложения самообоснования («закон

есть закон», но особенно «философия есть только философия») имеют значимое содержание и могут быть включены в реестр так называемых значимых тавтологий (П. Рэйлтон). Прежде чем подойти к существу нашего тезиса, рассмотрим методологию вопроса о том, как вообще возможно самообоснование или самовалидация¹ некоторого общественно значимого феномена или типа коммуникаций.

Вопрос о «значимых тавтологиях» как средстве научного объяснения специально разрабатывался Эмилем Мейерсоном, а современную форму приобрел в модели научного объяснения Питера Рэйлтона.

Так, Мейерсон, развивая идею Хьюэлла, подразделяет все законы, с одной стороны, на «эмпирические генерализации» («законы изменения»), призванные предсказать исходы природных процессов, если известны или «задаются» те или иные их причины [Meyerson, 1962]. С другой стороны, согласно Мейерсону, для понимания природы и фиксации «необходимой истины» не обойтись без формулирования тавтологий или априорных «каузальных» законов («законов тождества»), призванных объяснить инвариантность природных процессов, показать существование научных объектов во времени (таковы законы сохранения, постулирования разного рода, не расходующихся в химических реакциях субстратов: атомов и т.д.).

¹Такое «самообоснование» является коммуникативным аналогом так называемого процесса эволюционной «самовалидации» – процесса, в котором некоторые свойства организма (большие рога, определенные пропорции тела и особенно лица и т.д.) становятся позитивными факторами эволюционного отбора, хотя и не выказывают никакой «полезности» для выживания организма, помимо того, что они словно сами по себе «отбираются» в процессе (в особенности полового) отбора. Ведь эти свойства как бы сами по себе увеличивают шансы на воспроизводство именно этих свойств, на то, что и потомки организмов-обладателей, демонстрируя эти свойства, получают приоритет перед конкурентами и будут отобраны (например, как половые партнеры). Об эволюционной самовалидации в науке см. [Луман, 2017], самовалидации в праве [Тухватулина, 2017].

В свою очередь, Питер Рэйлтон обращается к современной ядерной физике. Объяснение факта испускания альфа-частицы некоторым атомом должно включать в эксплананс как (1) дедуктивно-номологическую теорию радиоактивного распада и (2) проявление каузального механизма («туннельный эффект»), так и (3!) само событие испускания этой частицы («A parenthetic addendum to the effect that uranium did alpha-decay») [Railton, 1978 : 214]. Ведь это событие является крайне маловероятным, а значит, то, что оно все-таки произошло, объясняется в том числе и тем, что оно (и именно оно) все-таки произошло, а никак не вероятностью, вытекающей из дедуктивно-номологического обобщения.

Обобщая эту модель, действительно, можно было бы включать в эксплананс фактически любого события (включая факт нашего существования в этом мире и все наши поступки) сами означенные события. Ведь без этого «экзистенциального» допущения никак не объяснить факт их возникновения в условиях фактической не вероятности (особенно в самой широкой исторической наблюдательной перспективе, неизмеримой, восходящей к началам времен истории причин и следствий, приведших именно к этим событиям). Если этого не сделать, то все событийные траектории мировой истории, в соответствии с неким обобщением антропного принципа, выглядят как ведущие именно к появлению нас и наших действий, тем самым словно оправдывая все наши действия.

На первый взгляд такое пересечение эксплананса и экспланадума противоречит нашей интуиции. Однако есть множество «социальных» или повседневных примеров, по-видимому, подтверждающих этот тезис. Как объяснять, например, события самоубийства? Его фундаментальной социальной причиной, со времени Э. Дюркгейма, принято считать разложение традиционной социальной солидарности и ослабление социальных связей, свойственной традиционным обществам, что в

наше время делает суициды гораздо более вероятными. Но ведь увеличение вероятности (как и в случае квантово-механического объяснения испускания частицы) объясняет исключительно относительное увеличение процента суицидов, но никак не объясняет конкретные обстоятельства этого события. Следовательно, и здесь приходится включать в структуру объяснения этого действия конкретные обстоятельства (например, конкретную ситуацию и мотивы жертвы суицида), которые очевидно, как мотивы, входят в структуру самого события социального действия.

Итак, объяснение факта (самореференциально) апеллирует к самому факту, включает его в число своих предпосылок или условий его осуществления. Теория или описание явления создает явление, хотя бы в том аспекте, что делает возможным его наблюдение, а значит, в каком-то смысле включает в объяснение и сам этот факт, по крайней мере, в том виде, как он дан в этом наблюдении.

В реестр таких «сигнификантных тавтологий» (Рэйлтон) помимо перечисленных можно включить довольно много современных концепций. Например, объяснение факта дифференциации общества, включая объяснение обособления науки как особой коммуникативной практики или системы (отличной от политики, религии и т.д.), не может не включить в себя и сам факт обособления науки. Ведь пока не обособился этот наблюдатель, некому было бы сказать о том, что этот наблюдатель действительно коммуникативно обособился как автономное сообщество и имеет право на самостоятельные высказывания.

Так и «теория гуманности 2.0» Стива Фуллера, очевидно, может быть сформулирована, но, главное, обоснована и подтверждена только после того, как сам человек (предположительно, сам Стив Фуллер) достигнет состояния гипотетической «гуманности 2.0» и, значит докажет ее возможность.

Предположительно, и объяснение сильного ИИ (прежде всего, рееструкция связей внутренних нейронных слоев в естественных и искусственных нейросетях, которые сейчас недоступны наблюдателю [Анохин, 2019]¹, вероятно, станет возможным после овладения искусственными нейросетями путем создания особых «нейроинтерфейсов» управления ИИ – как предпосылки объяснения их внутренней архитектуры.

Также и утверждая тавтологию «закон есть закон» (т.е. объясняя выполнение закона действием закона, притом, что никто не требует специального «закона о выполнении законов»), мы подразумеваем, что в правовой коммуникации не должно быть иных инстанций или мотиваций как возможных источников правового решения (таких как деньги, дружба, политическое влияние, религиозные взгляды и т.д.), кроме самого закона [Тухватулина, 2017]. В этом смысле тавтология «закон есть закон», очевидно, несет в себе важное содержательное наполнение.

Представляется, этих – пусть и весьма гетерогенных – примеров достаточно, чтобы, по крайней мере, показать возможность теоретического объяснения (и как следствие, самооправдания) некоторых очень важных феноменов и коммуникативных практик нашей жизни через апелляцию к самому их независимому существованию.

Парадокс Гемпеля. О чем говорит квантифицированное научное суждение?

Мейерсон и Рэйлтон обосновали «содержательность» некоторых тавтологий, по крайней мере, в научном дискурсе. Попробуем показать, что не всякая тавтология является бессодержательной и в философии.

Для иллюстрации возьмем пример или парадокс, над которым размышлял Карл Гемпель [Hempel, 1945:

1 «Сети глубокого обучения содержат много слоев, и они дают результаты поведения, которое мы не понимаем» [Анохин, 2019].

1–26]. Его идея состояла в том, что во всяком научном (а значит, квантифицированном) суждении заложены некие возможности реферирования не только множества предметов данного научного интереса, но и всего остального мира. Так, в суждении все вороны черные, по видимости, наблюдается некоторое множество птиц. Но ведь это суждение эквивалентно суждению если не черный, значит, не ворон. А это значит, что восприятие, скажем, белых перчаток будет одновременно подтверждать оба эти – логически эквивалентные – суждения.

«Философия есть только философия» есть «значимая тавтология»

Воспользуемся этой идеей Гемпеля применительно к нашему случаю самообоснования философии. Наша идея состояла в том, чтобы доказать способность философии к универсальному суждению или наблюдению. Универсальность понималась нами как способность наблюдателя высказываться, одновременно, и о себе, и о своем внешнем мире; и тем самым – преодолевать ограничения наблюдения («слепое пятно»), которые характеризуют наблюдателей первого порядка (политику, науку, религию, хозяйство и т.д.), ангажированных собственной системной оптикой (системными различиями: власть, деньги, вера, истина и т.д.). Эта наблюдательная универсальность и проблематизируется в парадоксе К. Гемпеля. Источник сформулированного Гемпелем парадокса виделся ему в том, что нас обманывает интуиция. Суждение о воронах, с его точки зрения, не должно ограничиваться универсумом птиц, как подсказывает интуиция, но представляет собой – латентное для самого высказывающего наблюдателя – суждение обо всем мире в целом, точнее, о том, что мир словно «расколот» на черных воронов и весь остальной светлый мир. Если мы что-то доказываем, практически любое наше утверждение имеет своим референтом не только сам объект высказывания, но и в некотором смысле и весь остальной

мир. В этом и состоит роль квантора всеобщности «для всех X ». В практическом плане это означает, что можно доказывать свой тезис о том, что «все вороны черные», не будучи орнитологом и не выходя из дома, а просто перебирая нечерные предметы в поисках белого экземпляра ворона.

Можем ли мы применить это понимание к философии? Определяя всякую философию исключительно как философию, и мы – как философы – вынужденно реферируем весь остальной нефилософский мир. Однако для философов эта универсальность более не является латентной, а напротив, ожидаемой, желанной и стилистически обязательной. Всякая философия (как коммуникация, действие, деятельность, дисциплина) есть философия и в этом смысле равна самой себе, замыкается в самой себе и, значит, тем самым отличает себя от всего остального типа коммуникации и внешнего мира.

Казалось бы, это типичная тавтология, и в этом смысле могло бы считаться бессодержательным утверждением. И если бы, скажем, диссертант выдвинул его в качестве тезиса, выносимого на защиту, то философского успеха он, очевидно, бы не достиг. Ныне в ходу противоположные, редукционистские понимания философии. Например, философия (и теоретически, и перформативно) часто определяется как история философии (т.е. как история, а не философия); или философия понимается как аналитическое прояснение смыслов слов (в конечном счете, как лингвистика); или философия рассматривается как «часть культурной истории»¹.

Но если мы соглашаемся с гемпелевским тезисом, а также с вышеобоснованным тезисом о возможности «значимых тавтологий», то и утверждение о том, что философия есть только философия, и образует (в самом общем смысле) то искомое универсальное суждение обо всем мире, на которое способна только философия².

¹Ведь «наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить современная философия науки» [Фейерабенд, 1986: 450].

²Конечно, такие квантифицированные (= универсальные)

Развернем эту простую тавтологию, из которой, на мой взгляд, вытекает целый комплекс содержательных суждений.

- Философия есть только философская коммуникация, и значит, все медиа успеха чуждых для нее типов и форм коммуникации не должны служить для нее коммуникативными ориентирами (аттракторами).
- Так, философия является лишь философией, а значит, она противоположна экономической активности, калькулирующей прибыль и издержки.
- Философ не работает и ради политического успеха, не стремится за властью и славой, которую можно конвертировать в электоральные голоса.
- Философское суждение не является морализаторством, ведь всякая мораль предполагает особые дистинкции (доброго и дурного и т.д.), а философское суждение ищет за дистинкциями некоторого единства (в том числе единства хорошего и дурного как слепого пятна любого морализаторства, единства истины и ложности как слепого пятна научного наблюдения).
- Философия не подчиняется требованиям интимности (дружбы и любви), а также дистинкциям веры в религиозной коммуникации.

Этот список рефлексивных самоограничений можно было бы продолжить. Однако и без того представляется очевидным, что философия ограничена самой собой, но именно благодаря этому не ограничена в своих наблюдениях. Ведь ни одна из перечисленных дистинкций (власти, любви, веры, даже истины) не ограничивает ее наблюдений, не принуждает следовать за какой-то одной стороной соответствующей дистинкции (истины, веры, власти и т.д.); не принуждает отказываться от проти-

суждения формулируют ученые, но именно философия на них специализируется (парадокс), когда выносит свои универсальные суждения.

воположной стороны (ложности, неверия, оппозиции), поскольку такое следование системной программе не обещает философского успеха в обосновании универсального философского суждения. Из этого «рефлексивного самоограничения» как своего рода негативного самоопределения философии вытекает ряд позитивных черт философской коммуникации.

Вместо заключения.

Позитивные черты философского наблюдения

Итак, философия есть наблюдатель в высшей степени независимый и в то же время выступает социальным релятивистом. Она утверждает, что для нее не существует ни авторитетов, ни вечных ценностей. В этом смысле философия выступает протестом против реальности, прежде всего против реальности наличных (политических и иных социальных) институтов. Это потенциальное несогласие с сущим роднит ее как с коммуникативной системой искусства, так и с коммуникативной системой (ныне, главным образом, сетевого) протеста. Но в отличие от протеста философ, как публичный интеллектual или блоггер, поставляет в распоряжение социальной сети отрефлексированную информацию, которая потом процессируется в искусственных нейронных сетях интернет-сообществ, подготавливая нерелексивное, но скоординированное коллективное действие.

Однако, при всем этом, философия остается наукой, поскольку формулирует законы и теории, использует и радикализирует стандарты предметной и содержательной критики. Но в отличие от науки философия способна релятивировать и истину; способна увидеть и за истиной ее характер коммуникативного медиума, а не синонима (и избыточного индекса) обоснованного знания, каковым истина представляется ученому.

Наконец, обнаруживаются и позитивные отличия философии от искусства. Искусство, как и философия, отвергает наличные формы и институты, например, мир

естественных движений и звуков; искусство ищет новые формы этого мира (например, танцевальные движения или музыку). Но, однажды материализовав эти новые формы, тотчас полагает их устаревшими, а их воспроизводство более не считает искусством [Беньямин, 1996]). Философия в отличие искусства продолжает считать философией свои прошлые тексты и не считает их устаревшими. Ведь в противном случае она отказалась бы от своего прошлого и свою утратила наблюдательную универсальность.

Библиография (3.3):

- Антоновский А.Ю. *О науке Макса Вебера: рецепция и современность* // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 4. С. 174–188.
- Бараиш Р.Э. «Истина» и «власть» как категории социальной философии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 5. С. 120–134.
- Бараиш Р.Э. *Хьюэлл против Конта: возможна ли коммуникация между априоризмом и позитивизмом?* // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 202–208.
- Беньямин В. *Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости*. М.: Медимум, 1996. 240 с.
- Вебер М. *Наука как призвание и профессия* // Избр. произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.
- Гидденс Э. *Устроение общества. Очерк теории структуризации*. М.: Академический проект, 2003. 528 с.
- Касавин И.Т. *Рождение философии науки из духа Викторианской эпохи* // Эпистемология и философия науки. 2019а. № 1. С. 23–33.
- Касавин И.Т. *Дилемма ученого после Макса Вебера* // Вопросы философии. 2019б. № 7. С. 18–22.
- Луман Н. *Эволюция науки* // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 215–233.
- Луман Н. *Медиа коммуникации*. М.: Логос, 2005. 200 с.
- Никифоров А.Л. *Наука глазами ученых* // Вопросы философии. 2019. № 7. С. 23–27.
- Ньето М. *Закон Тициуса—Боде*. История и теория. М.: Мир, 1976. 192 с.
- Патнем Х. *Разум, истина и история*. М.: Праксис, 2002. 296 с.
- Пружинин Б.И. и др. *Коммуникации в науке: эпистемологические, социокультурные, инфраструктурные аспекты* // Вопросы философии. 2017. № 11. С. 23–57.
- Тухватулина Л.А. *Рациональность в праве: подход Н. Лумана*

- // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 175–190.
- Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. 542 с.
- Шлейермахер Ф. Из сочинения «Нечаянные мысли о духе немецких университетов» // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 1. С. 215–235.
- Barker P., Goldstein B. R. Theological Foundations of Kepler's Astronomy // *Osiris*. 2001. Vol. 16. Science in Theistic Contexts: Cognitive Dimensions. P. 88–113.
- Bloor D. *Durkheim and Mauss Revisited* / Ed. by N. Stehr. Society and Knowledge: Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge & Science. London: New Brunswick, 2005. P. 51–75.
- Foucault M. Truth and Power: an Interview with Michel Foucault // *Critique of Anthropology*. 1979. Vol. 4. Iss. 4. P. 131–137.
- Fuller S. *Humanity 2.0: What it Means to Be Human Past, Present and Future*. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. 265 pp.
- González-Bailón S., Wang N. Networked Discontent: The Anatomy of Protest Campaigns in Social Media // *Social Networks*. 2016. Iss. 44. P. 95–100.
- Hempel C. Studies in the Logic of Confirmation // *Mind*. 1945. № 54. P. 1–26.
- Hull D.L. *Science as a Process*. Chicago: University of Chicago Press, 1988. 600 pp.
- Kasavin I.T. Towards Social Philosophy of Science: Russian Prospects // *Social Epistemology*. 2017. Vol. 32. Iss. 1. P. 1–15.
- Kasavin I.T. Science and Public Good. Max Weber's Ethical Implications // *Social Epistemology*. 2019. Vol. 33. Iss. 5. (In print)
- Lundberg G.A. *Can Science Save Us?* Longmans, Green and Co., 1947. 234 pp.
- Merton R.K. *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1973. 636 pp.
- Meyerson, M. *Identity and Reality*. N.Y.: Dover Publ., 1962. 495 pp.
- Miller P.N. *Peiresc's Europe. Learning and Virtue in the XVII Century*. N.Y.: Yale University Press, 2000. 234 pp.
- Railton P. A Deductive-Nomological Model of Probabilistic Explanation // *Philosophy of Science*. 1978. Vol. 45. No. 2. P. 206–226.
- Weber M. *Wissenschaft als Beruf*. Berlin: Matthes & Seitz Verlag, 2017. 188 pp.

В монографии использовались переработанные материалы следующих статей в периодической научной печати:

- Антоновский А. Ю. Зачем науке лузеры? О перепроизводстве научного знания и его функции / А // Эпистемология & философия наук и=Epistemology & Philosophy of science. — 2023. — Т. 60, № 2. — С. 75–93
- Антоновский А. Ю., Погожина Н. Н. Системно-коммуникативная теория: структура, аномалии, применение // Человек. — 2023. — Т. 34, № 5. — С. 7–29.
- Бараш Р. Э., Антоновский А. Ю. Зачем нам в языке частичка не. Эволюция семантических структур и пропозициональные установки // Слово.ру: Балтийский акцент. — 2022. — № 2. — С. 99–121.
- Антоновский А. Ю., Бараш Р. Э. Как возможна социальная онтология с точки зрения эпистемологии и философии языка? // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Философия. — 2022. — № 3.
- Антоновский А. Ю. Несоизмеримость и коммуникация: к эволюционно-коммуникативному повороту в философии науки // Эпистемология & философия науки=Epistemology & Philosophy of science. — 2022. — Т. 59, № 4.
- Антоновский А. Ю. О дегуманизирующей миссии науки // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2022. — № 66. — С. 244–251.
- Антоновский А. Ю. О темпоральном измерении истины // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2022. — № 1. — С. 329.
- Антоновский А. Ю. Эволюционные механизмы научного прогресса // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2022. — Т. 68. — С. 201–209.
- Антоновский А. Ю., Бараш Р. Э. Система социологии Питирима Сорокина и системно-коммуникативный подход // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2021. — Т. 6.
- Антоновский А. Ю. Хотя дерево гнило, да благо нам мило (народная поговорка) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2021. — Т. 60. — С. 228–235.

- Антоновский А. Ю., Бараш Р. Э. Нематериальная консолидация – формы, факторы, ключевые подходы // Человек. – 2021. – Т. 32, № 3. – С. 46–72.
- Антоновский А. Ю., Бараш Р. Э. Парадокс научного прогресса в эволюционном измерении // Вопросы философии. – 2021. – Т. 11, № 11.
- Антоновский А. Ю. Кризис коллегиальности в научной организации и научная политика // Эпистемология & философия науки=Epistemology & Philosophy of science. – 2020. – Т. 57, № 3. – С. 6–22.
- Антоновский А. Ю. От нормальной науки к революционной и vice versa // Вопросы философии. – 2020. – № 12. – С. 45–50.
- Антоновский А. Ю. Системно-коммуникативная теория науки. 30 лет спустя // Вопросы философии. – 2020. – № 9. – С. 127–138.

Contents

Глава 1.1. Место введения: основы системно-коммуникативного подхода	9
Атрибуции каузальности и фундаментальные переменные СКТ	9
Другой переживает – Эго переживает.	13
Другой действует – Эго Действует	15
Другой действует – Эго переживает	17
Другой переживает – Эго действует	17
Эмпирический смысл системно-коммуникативной теории	18
Аномалии в поле СКТ	22
Наука общества: восприятие, знание, истина, эволюция науки	23
Наука: инореференция через самореференцию	27
Политическая коммуникация: самореференция без инореференции	30
Библиография (1.1):	33
Глава 1.2. Теория социальных взаимодействий Питирима Сорокина как прообраз системно-коммуникативной теории	34
Битва за предмет и автономию социологии	36
Теорема Петражицкого, наблюдение второго порядка и понятие трансдисциплинарности	40
Структура теоретической социологии	42
Депсихологизация «внутренних состояний» и социологический «антигуманизм»	49
«Проводники взаимодействия» или теория генерализированных медиа коммуникации	53
1. Символическая функция проводников	54
2. Генерализирующая (социально-обобщающая) функция проводников	55
Дифференциации форм взаимодействия в зависимости от формы медиа	56
Библиография (1.2):	62
Глава 1.3. Критика проекта социальной онтологии Брайана Эпштейна из перспективы системно-коммуникативной теории	64
Структура уровней социальных фактов – эпистемологический взгляд	67
Супервентные и каузальные связи социальных фактов	68
Можно ли говорить о детерминации в отношении комплексных и простых социальных фактах?	70
Лингвоаналитическое понимание социальных фактов	72
Фиксации социальных фактов как их классификации	76
Социальная онтология – философский или социологический проект?	77
Заключение: социальная онтология: социальные и природные виды	81
Библиография (1.3):	83
Глава 1.4. Альтернативные проекты системно-теоретического описания общества	85
Понятие консолидации –	

обоснование и семантические трудности.	86
Классические подходы к проблеме нематериально-обусловленной социальной консолидации	92
Логика массовизации нематериальных факторов консолидации общества	94
Социальный капитал и доверие как нематериальные факторы консолидации общества	97
Информация – нематериальный фактор общественной консолидации	99
Коммуникативная замкнутость как нематериальный фактор консолидации	101
Публичная сфера как нематериальный фактор общественной консолидации	102
Общественная консолидация новых коллективных идентичностей	106
Двойная герменевтика как фактор общественной консолидации	108
Дуальность структур	110
«Абстрактные системы знания» и доверие к ним как условие общественной консолидации	111
Габитус и культурный капитал как условие общественной консолидации	113
Библиография (1.4):	115
Глава 1.5. О ключевых понятиях системно-коммуникативной теории общества	117
Коммуникация как социальный атом	117
Понятие системы и сложность внешнего мира	120
Структура коммуникативного акта	121
Эволюция коммуникативных структур и общественная дифференциация	122
Коммуникативные медиа как способы редукции сложности внешнего мира	125
Библиография (1.5):	127
Глава 1.6. К системно-коммуникативному пониманию исторической памяти	128
Библиография (1.6):	143
Глава 1.6. Системно-коммуникативный анализ языка: функция отрицания	145
Отрицание и языковая вариативность	148
Языковые парадоксы: функциональна ли фикциональность языка и нужно ли от нее очищаться?	149
Проективная функциональность языковых отрицаний	153
Миро-референции Юргена Хабермаса	157
Языковые правила: аргумент Крипкенштейна	160
Различение нормативных и когнитивных диспозиций (ожиданий) как решение парадокса Крипкенштейна	162
Аргумент Крэйга Деланси: стабилизация языковых правил на третьем эволюционном уровне	166
Рабочая гипотеза	169
Библиография (1.7.):	172
Раздел 2: СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ	175

Глава 2.1. Научная коммуникация: эволюционный контекст	177
Парадокс научного прогресса как проблема философии науки	180
Пять проблем эволюционного решения парадокса научного прогресса	184
Индивидуация научной теории: семантическая и каузальная	186
Каузальный прогресс в эволюции научной теории (Дэвид Халл)	188
Круговой характер теории Халла и трудная проблема научного прогресса	190
Расширительное толкование эволюции науки (Майкл Руз)	193
Семантическая индивидуация научной теории	195
Критика эволюционных концепций Д. Халла и С. Гулда	196
2. Второе улучшение теории Халла: от «естественного отбора» к эволюционным механизмам (варьирования, селекции, стабилизации).	199
3. Третье улучшение: континуальность теории зависит от наблюдательной позиции.	201
Системно-коммуникативный подход: от проблемы референции к самовоспроизводству в многомерной внешней среде	204
Сознание ученого как «случай-сортировочная машина» и решение проблемы ограниченной вариативности научной эволюции	208
Библиография (2.1):	212
Глава 2.2. Критика социально-эпистемологической версии научной коммуникации	214
Наука как общественное благо	214
Кто бенефициар «научного пирога»?	214
Экономика и мораль	215
Критическая установка как условие социальной «дефляция истины»	220
Парадокс науки как производителя экономического блага	221
Дегуманизированная коммуникация в науке и политике	224
Наука как политический субъект	232
Наука как дар	235
Обращение к абсолюту. Должна ли наука основываться на морали?	238
Обоснование рациональности и само рационально	238
Тезис об иллюзии этического кодекса, противоречащего индивидуальному выбору	241
Тезис о разрыве внутренней и внешней истории и этики науки	242
Наука и утопия	245
Прогресс теории и коммуникативная ситуация	247
Как оценить успех или не успех притязания теории на успех?	248
Есть ли общезначимый критерий научного прогресса?	249
Эволюционная теория как решение проблемы научного прогресса	252

Библиография (2.2):	255	СКТ и сравнительный анализ	
Глава 2.3. «Наука общества» Никласа Лумана. Системно-коммуникативный поворот в исследованиях научной коммуникации	257	коммуникативных систем	346
Наука и комплексность	259	Рабочая гипотеза: верификация СКТ и решения проблемы научного перепроизводства знания	347
Гёделизация: общественные условия современной науки vs. наука как предпосылка современного общества	259	Библиография (3.2):	350
Наука и ее общественный внешний мир	261	Глава 3.3. Философия в коммуникативном измерении	352
Свобода от политических воздействий на науку	263	О способности философии	
Авторитет ученого в полицентричной модели системно-коммуникативных автономий	266	к универсальному суждению	352
Системно-коммуникативная теории науки в 21 веке: переход от «мирознания»		Философия и ее смыслообразующий коммуникативный контекст	354
к коммуникативному успеху	272	Дифференциация полицентричного мира	
Коррекция системно-коммуникативного подхода	273	как условие его жизнеспособности	357
Библиография (2.3):	276	Полицентричные идеологии	358
Глава 2.4. Классические подходы философии науки (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд).		Новый наблюдатель	
Системно-коммуникативный взгляд	278	в современном полицентричном мире	359
Методология: понятие коммуникативных измерений и эволюционных механизмов	278	Миссия философа в смыслоопределяющем контексте системы науки	361
Томас Кун и социальное измерение научной коммуникации: несоизмеримость методологическая и семантическая	282	Самообоснование философии. Принцип «значимой тавтологии», или Как возможно универсальное суждение?	366
Социальные измерение науки		Парадокс Гемпеля. О чем говорит квантифицированное научное суждение?	370
в системном-коммуникативном подходе	298	«Философия есть только философия»	
Предметное измерение научной коммуникации и «регресс экспериментатора»	301	есть «значимая тавтология»	371
Темпоральное измерение научной коммуникации как дихотомия аккомодации / предикции	303	Вместо заключения.	
Библиография (2.4):	306	Позитивные черты философского наблюдения	374
Коммуникативные границы между организациями и «долины смерти» в движении научного знания	320	Библиография (3.3):	375
Социально-сетевая катастрофа и научная коммуникация	324		
Вместо заключения:	325		
Библиография (3.1):	329		
Глава 3.2. Избыточное знание и социально-сетевая эволюция науки	331		
К формулированию проблемы: сложность vs. рациональность	331		
Коммуникативные потери и монополизация публикационного рынка	336		
Эволюция эволюционных механизмов научной коммуникации	338		
СКТ и сложность	341		
СКТ и новообразованные медиа распространения коммуникаций	341		
СКТ и анонимизация коммуникации	342		
СКТ и научная рациональность	343		
СКТ и эволюция науки	344		
СКТ и бинарное кодирование в медиуме истины	345		
СКТ и структурные сопряжения между системами	346		

Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.

Введение в системно-коммуникативную философию науки

- Москва : Изд-во «Логос»/«Гнозис», ООО «НПТ», 2023. – 384 с.

Редакторская подготовка – издательство «Логос» (Москва).

Дизайн обложки - А. Ильичёв

ISBN 978-5-6046631-9-6 (серия socium.txt)

Подписано в печать 18.12.2023 г.

Объем - 24 п.л.

Книжный магазин – ИТДГК “Гнозис”, тел. +7-499-2557757;

Москва, Турчанинов пер., д.4 стр. 2; www.gnosisbooks.ru

e.mail: letterra.pro@yandex.ru

Тираж - 500 экз. Printed by ООО «НПТ».